КАДЕМИЯ НАУК СССР

П. Н. БЕРКОВ

ЛОМОНОСОВ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА ЕГО ВРЕМЕНИ 1750·1765



Ю АКАДЕМИИ НАУК СССР – МОСКВА-ЛЕНИНГРАД

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ

П. Н. БЕРКОВ

ЛОМОНОСОВ
И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА ЕГО ВРЕМЕНИ
1750—1765

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1936 ЛЕНИНГРАД



Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Март 1936 г.

Непременный секретарь академик *Н. Горбунов*

Редактор издания академик А. С. Орлов

Техн редактор Л. А. Федоров Ученый корректор В. А. Завотновский

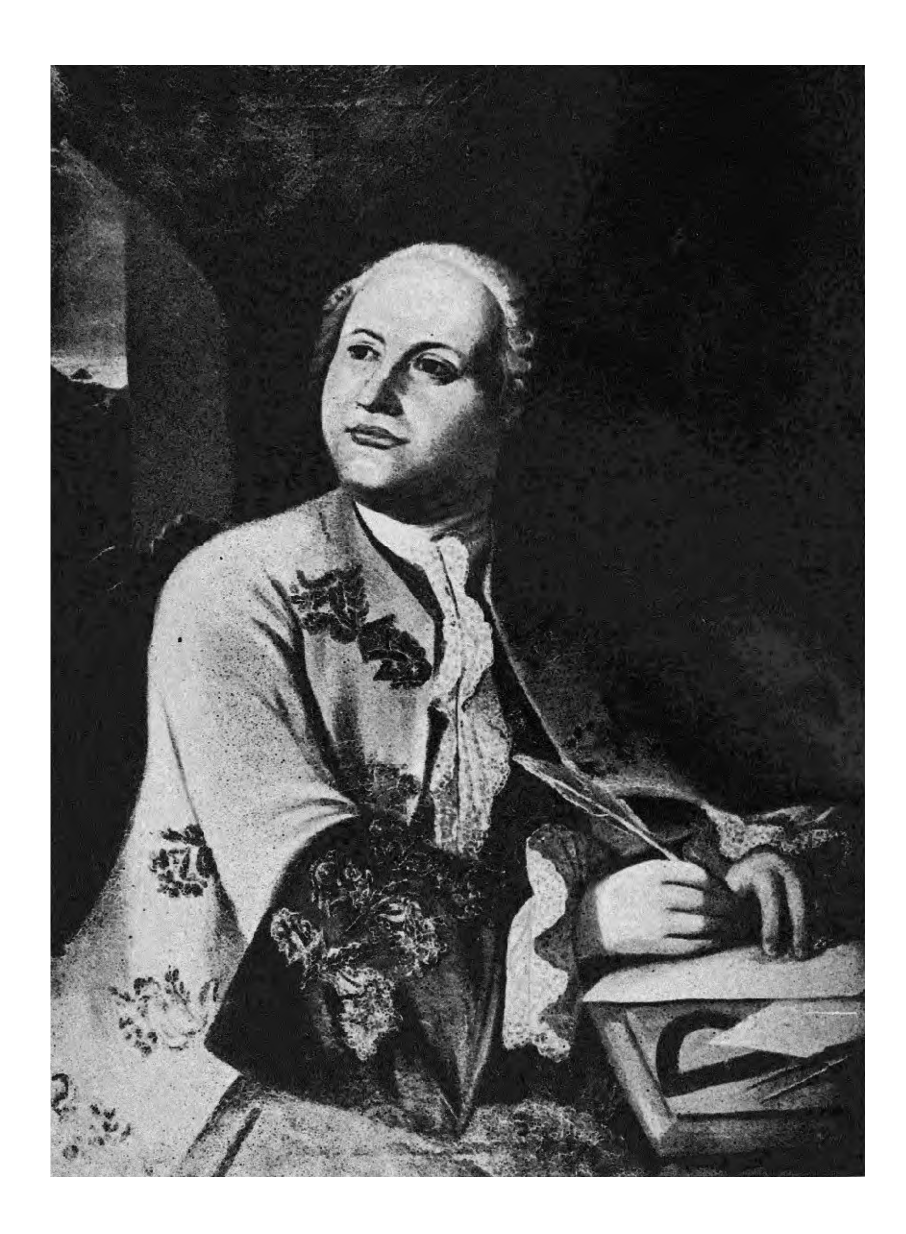
Сдано в набор 19 июля 1935 г. Подписано к печати 7 марта 1936 г.

4 нен. + 324 стр. (14 фиг.) + 6 вкл. илл.

Формат бум. 62×94 см. — $21^{5}/_{8}$ печ. л. — 21 48 авт. л — 39730 печ. зн. в л.

Ленгорлит № 7699. — АНИ № 888. — Тираж 3170. — Заказ № 5784.

Типография «Советский печатник», Ленинград, Моховая, 40.



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые обзоры русской литературы XVIII в. появились в конце 1760-х годов и принадлежали тогдашним дворянским писателям (А. Волков, М. Херасков). Представители дворянского дилетантизма, авторы эти, естественно, больше внимания уделяли современной, по тогдашним понятиям, и преимущественно дворянской литературе, продукцию же предшествующего периода, созданную в основном писателями-недворянами, писателями-«разночинцами», обзоры эти излагали скупо и бегло, ограничиваясь в сущности упоминанием имен одних только Тредиаковского и Ломоносова. Эта чисто-историческая особенность работ по литературе XVIII столетия не была, однако, осознана как результат определенных условий; наоборот, предполагалось, что таково было действительное положение вещей. В итоге у последующих историков русской литературы сложилось традиционное представление о том, что настоящая литературная жизнь в XVIII в. возникает лишь в 1760—1770 гг. и что до этого времени имеют место только личные интриги Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова (в разных комбинациях). Столкновения этих писателей между собой выводили из их личных свойств: тщеславия, завистливости, неуживчивости, вспыльчивости, скверного характера и т. д. Социальных причин за этими «личными дрязгами» не видели, может быть, и не хотели видеть. Не замечали различного понимания задач искусства у отдельных спорщиков, не решались провести разграничительные линии между ними, предпочитали всех их относить к одной группе: писателей елизаветинской поры.

Даже те материалы полемического характера, которые были опубликованы три четверти века назад и позднее, не внесли больших изменений в историко-литературные представления. Лишь в книге Г. А. Гуковского «Русская поэзия XVIII века» (1927) сделана была попытка осознать полемику между Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым как борьбу литера-

турных группировок, а не как персональную склоку. Впрочем, на том этапе своего историко-литературного развития Г. А. Гуковский не ставил целью выяснение социальных корней этой полемики, и, кроме того, предметом его исследования в названной работе было рассмотрение литературной продукции послеломоносовского периода.

Настоящая работа не ставит себе задачей полностью охватить все известные факты полемики между Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым. Автору представлялось необходимым для более правильного понимания литературного процесса второй трети XVIII в. вновь проанализировать только важнейшие материалы, частью известные, частью накопленные им самим во время различных изысканий в области литературы этого периода, показать каждого из полемистов на фоне той литературной среды, наиболее крупным выразителем которой он был; наконец, попытаться определить те социальные силы, которые создали и использовали в своих интересах как Тредиаковского, так и Ломоносова и Сумарокова.

Ставя себе подобную узко историко-литературную задачу, автор настоящего исследования считал нецелесообразным вдаваться в экскурсы собственно-исторического характера, которые обычно предпринимаются литературоведами «для обрисовки фона» историко-литературного процесса. Поэтому в «Ломоносове и литературной полемике его времени» внимание автора было сосредоточено на изложении и интерпретации фактов историко-литературных, а не каких-либо иных.

Это не означает отсутствия определенной исторической концепции в настоящей работе. Наоборот, все исследование построено на исторической основе.

Что касается дискуссии о «русском историческом процессе в XVIII в.», которая имела место на страницах наших историко-литературных и общих журналов и других изданий и в которой приняли участие В. А. Десницкий, Д. П. Мирский, Г. А. Гуковский и др., [1] то автор считает нужным отметить, что в дан-

[1] Десницкий, В. А. О задачах изучения русской литературы XVIII в.— в сб. «Ирои-комическая поэма» Л. 1934, стр. 9—87 (ранее в сокращенном виде в журн. «Литературная учеба», 1932, № 7—8, стр. 37—67); Мирский, Д. П. О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII в. «Литературное наследство», 1933, № 9—10, стр. 501—509; Сергиевский, И. В. По поводу статьи Д. Мирского. Там же, стр. 510—512; Гуковский,

ном вопросе он занимает особую позицию, не солидаризируясь в полной мере ни с кем из дискутировавших товарищей. Отчасти объясняется это тем, что его внимание было сосредоточено в настоящей работе преимущественно на первой половине XVIII в., тогда как предметом дискуссии была главным образом вторая.

Исходным пунктом для концепции русского исторического процесса в XVIII в., положенной в основу настоящей работы, служит ряд высказываний Ленина и Сталина о новейшей истории России, в частности в XVIII в.

Самое важное указание Сталина в данном вопросе состоит в том, что необходимо раз навсегда покончить с легендой об особом характере русской истории и «изучать весь процесс исторического развития России и отдельные его этапы в международном аспекте как часть мировой истории».[1] Таким образом, при изучении истории русской литературы XVIII в. нужно «исторический фон» представлять себе не как специфический русский, а как часть общеевропейского: международные политические, экономические и культурные связи России с западными буржуазными и дворянско-буржуазными государствами отражались и в историческом и в литературном процессе. Основной, характеризующей эпоху, чертой было создание в России в XVII-XVIII веках национального государства.

«Только новый период русской истории (примерно с XVII в.)— говорит Ленин, полемизируя с Михайловским,—характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих

Г. А. О поэзии XVIII в. «Звезда», 1934, № 7, стр. 167—174; Берков, П. Н. Доклады, прочитанные в учреждениях Академии Наук. Институт русской литературы (ИРЛИ). «Вестник Академии Наук», 1934, № 6, стр. 49—52. (Отчет о дискуссии о литературе XVIII века в ИРЛИ 6 апреля 1934 г.).

Панкратова, А. За большевистское преподавание истории. «Большевик» 1934, № 23, стр. 44.

национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных».[1] В этом указании Ленина дается ключ к пониманию всех важнейших фактов нового периода русской истории и специально—XVIII в. Еще детальнее развивает эту точку зрения Сталин. На вопрос о роли Петра Великого, Сталин подчеркивает, что «Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев».[2] Таким образом, содержание русского исторического процесса в XVIII в. соответствовало содержанию исторического процесса на Западе, начавшегося и закончившегося в одних странах ранее (Англия, Франция), в других позднее (Италия, Германия),—именно это был процесс формирования национального государства.

Создание «национального государства помещиков и торговцев» в XVIII в. вырабатывает такую политическую систему, которую Ленин в одном месте характеризует как «чиновничьи-дворянскую монархию XVIII в.»,[3] в другом—как «самодержавие XVIII в. с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма"».[4]

Процесс образования «национального государства помещиков и торговцев» протекает при этом в таких формах классовой борьбы, при которых «переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке».[5] В дополнение к этим словам Ленина Сталин отмечает, что «возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры».[6]

Таким образом, русский исторический процесс в XVIII в. представляется как формирование национального рынка и со-

---

[1] Ленин. Соч., изд. 3, т. I, стр. 73.

[2] Сталин, И. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом (13 декабря 1931 г.). «Большевик», 1932, № 8, стр. 33.

[3] Ленин. Соч., изд. 3, т. XV, стр. 83.

[4] Там же, т. XIV, стр. 18.

[5] Там же.

[6] Сталин, И. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. «Большевик», 1932, № 8, стр. 33.

здание национального государства при возвышении дворянства, росте буржуазии и укреплении той политической системы, которая обеспечивала этим классам безграничную эксплоатацию крепостного крестьянства, — чиновничьи - дворянской монархии.

Отсюда оказываются возможными отдельные элементы буржуазности в политике дворянской России XVIII в. (просвещенный абсолютизм, промышленные предприятия, проблема «третьего сословия»), в особенности в ее идеологии (национализм, деистические и вольтерьянские настроения), в частности в литературе (Ломоносов). Но эти элементы буржуазности, обычно проводившиеся верхним слоем правящего дворянства, вызывали отпор со стороны основного дворянского массива, среднего аграрного дворянства. Это существование двух тенденций внутри дворянства представляет содержание внутриклассовой борьбы в дворянской литературе XVIII в. Но единым фронтом выступают разные группы дворянства пред лицом общего врага—революционного крепостного крестьянства. В литературе первой половины XVIII в. «крестьянская» тема не выступает так отчетливо, как во вторую половину века. Значительно отчетливее представлена в ней внутриклассовая борьба высшего и среднего дворянства. Этой теме и посвящена настоящая работа.

* * *

В заключение автор считает нужным отметить орфографические особенности настоящей работы. Здесь приводится большое количество текстов—по печатным и рукописным источникам—из произведений писателей XVIII в. И сами писатели, и их переписчики, и типографские работники (за исключением Академической типографии) были в XVIII в. очень неустойчивы в отношении правописания. Однако, отказаться от применявшейся ими орфографии, по крайней мере в тех пределах, которые допустимы общепринятым в настоящее время правописанием, значило бы разрушить в некоторой мере архаизирующее впечатление подлинника. Поэтому в настоящей работе в цитатах и приложениях в основном сохраняется орфография источника, в частности, в родительном падеже единственного числа прилагательных и местоимений женского рода сохранялось окончание «ыя», «ия» или «ея», равным образом—удержаны написания «ево» «тово» и т. д., прописные буквы в начале некоторых слов,

знаки ударений, слитное или раздельное употребление предлогов и отрицаний, расходящееся с обычными сейчас орфографическими нормами.

Примечания к основному тексту и приложениям даются в настоящей работе в двух видах: под строкой и в конце книги. Последние принадлежат автору и имеют сплошную нумерацию (арабскую) в пределах каждой главы; первые (кроме подстрочных примечаний в настоящем предисловии) даются только при цитатах и составляют их часть, поэтому они — в отличие от авторских—отмечаются звездочками.

Одновременно с настоящей книгой печатается в издательстве «Советский писатель» однотомник «Стихотворения Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова» под редакцией автора данной работы и Г. А. Гуковского. Во вступительной статье, принадлежащей автору этих строк, затронут ряд проблем, не нашедших в силу некоторых причин освещения в «Ломоносове и литературной полемике его времени». На одну из подобных проблем автор считает нужным указать хоть в предисловии: это вопрос о роли церковной политики Елизаветы в процессе «славянизации» русского языка в 1740-х годах.

В процессе работы автору оказали помощь советами и указаниями М. П. Алексеев, Г. А. Гуковский, М. К. Клеман, А. И. Малеин, К. К. Михайлов, Л. Б. Модзалевский, акад. А. С. Орлов Б. Г. Ревзов, Р. М. Топкова, А. Г. Фомин и В. П. Чернышев Выражением признательности им позволяет себе автор закончить свою работу.

1 марта 1935.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НАЧАЛЬНЫЙ УСПЕХ ТРЕДИАКОВСКОГО

Как почти все приглашенные на работу в Петербург академики-иностранцы, советник Академии Наук Шумахер не слишком высоко ценил способности русских к науке. Поэтому в толпе малокультурных и униженно пресмыкавшихся академических переводчиков не было ни одного, к кому бы он благоволил. Впрочем, когда в конце 1730 г. в Петербурге появился вернувшийся из чужих краев «студент» Василий Тредиаковский, дальновидный Шумахер не мог не обратить на него внимания. О Тредиаковском было известно, что он был некоторое время в Голландии, учился затем и закончил образование в Сорбонне, что ему оказывал покровительство и доверие крупный вельможа-дипломат князь А. Б. Куракин, что за границей Тредиаковский приобрел основательные сведения в философии и поэзии и хорошо овладел французским и латинским языками и несколько хуже немецким; последнее, впрочем, особенной роли не играло. Учитывая все это, тонкий политик Шумахер счел нужным наладить хорошие отношения с новоприбывшим. А отношения эти налаживать пришлось уже по одному тому, что по приезде в Петербург Тредиаковский обратился в Академию Наук с просьбой напечатать переведенную им в Гамбурге в 1729 г. повесть Поля Тальмана (Paul Tallement) «Езда в остров любви» («Voyage de l'isle d'Amour»).

Обращение это не было заурядным явлением в ту эпоху. Светской литературы на русском языке в то время почти не было, в особенности печатной. Вся она состояла из церковной публицистики — проповедей и догматико-полемических сочинений, из тяжеловесных торжественных, неудобочитаемых вирш и маловразумительных переводных драматических произведений, составлявших репертуар театра петровской поры.

Кроме того, по рукам любителей ходили «повести», преимущественно переводного происхождения, иногда, впрочем, приноровленные к местным условиям; бывали среди них и туземные—о сластолюбивой купеческой жене, о разбитном подьячем, обесчестившем дочь боярина и не только избежавшем наказания, но даже породнившемся с оскорбленным и, благодаря этому, попавшем в честь. Все это была литература, которая выросла из конкретной действительности и, по содержанию и по бытовым обстоятельствам, не могла быть предана тиснению.

Академия Наук в первые годы своего существования не напечатала ни одной беллетристической книги, и это было не результатом злой воли академических заправил—немцев, а явилось следствием соответствующего состояния русской литературы.

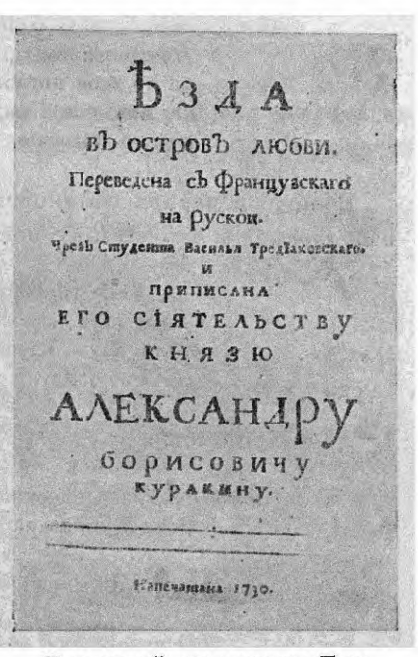
На фоне сюжетной и чуть ли не анекдотической эротики в старомосковском вкусе и новой рыцарски-галантной «повести» переведенная Тредиаковским «Езда в остров любви» не могла не произвести сильного впечатления. Для русского, преимущественно дворянского, читателя того времени были еще внове тонкие нюансы любовных переживаний. Любовная лирика начала XVIII в. была лишена изящества и вкуса. Эта область чувства лишь впервые становилась объектом художественного воплощения; для выражения новых ощущений, новых понятий нехватало слов и оборотов. Старинные ласкательные термины — лапушка, дружочек, — казались мало подходящими для сентиментально-эротического словаря.[1] Приходилось заимствовать терминологию и фразеологию у соседей — поляков и украинцев, «так как своя фразеология — по словам исследователя — еще не успела выработаться». С другой стороны, авторы лирической любовной песни того времени прибегали к церковнославянскому языковому резервуару и черпали материал и здесь. Исследователь отмечает «в тех же стихотворениях довольно обильные случаи церковнославянизмов и тяжелых, вычурных книжных выражений и слов, без которых было трудно обойтись первым авторам песенок, пытавшимся совместить новые мысли и чувства со старой литературной формой».[2]

Вот образцы этой ранней лирики:

Моя милийша, паванька красна.
Личенько твое — зоря ясна.
Власы златы на главе

Мне в сердце раны задали,
Черные очи, черные брови,
Уста сахарны, зубочки перловы.[3]

В этом отрывке и в отборе слов, и в ударениях, и в характере рифм ощутимо его украинское происхождение. Но значительно чаще встречается в этой лирике влияние школьной церковно-славянской фразеологии. Авторы этих песенок, преимущественно украинские семинаристы, а позднее и их великорусские коллеги, подражавшие товарищам, уснащали свои лирические излияния именами античных богов и богинь, щеголяли иностранными словами, придававшими особый оттенок изысканности их речи, и практически осуществляли в этом своем творчестве рецепты, преподанные им при прохождении курса в «классах риторики и поэзии».


Ѣзда
въ островъ любви.
Переведена съ Францускаго
на руской.
Чрезъ Студента Василья Тредиаковскаго.
и
приписана
его сіятельству
князю
Александру
борисовичу
куракину.

Напечатана 1730.

Титульный лист книги „Езда в остров любви“.

Вот два-три отрывка из песенок этой категории:

На что мы прежде любовь совершали,
Сердце ковати Волкана не звали,
Лучше бы Перзефона нас умертвила,
Очеса песком гробным покрыла.
Лучше б в нас Марсу меч свой утопити,
Билиону стрел кровию упоити;
А ныне мы друг друга ни в очи не видаем,
Но в верных сердцах всегда пребываем.
О Венеро, к тебе прибегаю,
К тебе я прозбу свою простираю:
Яви нам ныне своей благодати.
Пошли Купиду нас паки собрати.
Да мы друг друга зряще веселимся
И в верной любви до гроба насладимся.[4]

Вот еще образец подобного рода песенок, заимствованный из одного особенно старого рукописного сборника:

О проклятый Купидо,
что мя так оскорбляешь?
вся во мне оулементы
мелко раздробляешь.
Смотри ж ты проклятый
аз от тебе погибаю.
От внезапной разлуки
весьма погибаю. (Из сб. «Куранты» 1733 г.)[5]

Вообще в песнях семинарских поэтов особенно часто в разных формах и по разному поводу упоминается «Купида»:

Ах, боже [просит один из авторов], дай милости,
Узри мя в жалости;
Убий злую Купиду
За мою обиду.[6]

Другой плачет:

Ах, рана смертная в сердцы застрелила:
Злая Купида насквозь мя пробила.[7]

А вот третий, исполненный веселья, поет:

О коль велию радость аз есмь обретох:
Купида венерину милость принесох —
Солнце ли свет свой на мя опустило
И злу печаль в радость мне обратило?..[8]

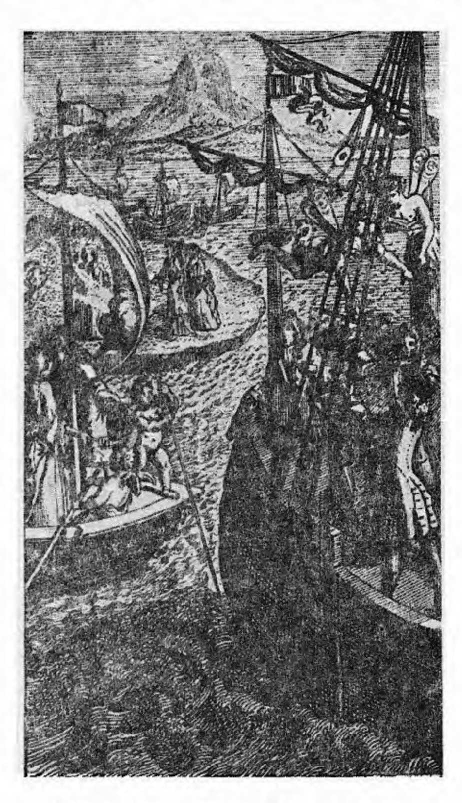
Такова была эта ранняя, неопытная и неяркая лирика безыменных русских поэтов начала XVIII в. Конечно, это была уже не условно называемая «народная» песня, «безличная» и не индивидуальная: здесь во всем — и в искусной рифме, и в школьном классицизме, и в языковой щеголеватости — ощущался писатель-индивидуальность. И все же поэзия эта оставалась бледной и незначительной.

«Езда в остров любви» была по своему содержанию и исполнию явлением совсем иного порядка. Повесть Тальмана,[9] перемежающаяся стихами, распадается на две части, связанные одним общим героем Тирсисом; каждая из них посвящена описанию различных видов любви.

В первой части герой после длительного плавания в океане попадает на остров Любви. Хор «маленьких Купидинчиков» приглашал путников сойти на берег острова:

Все хотящие с желанием полным
Насладиться здесь в животе радости,
Приставаите к нам с сердцем все любовным:
Без любви нет никакои радости.[10]

Будучи еще на корабле, герой повести Тирсис заметил на берегу острова девицу, которая, — говорит он, — «была посреде красот и статеи, у которых она затмевала ясность чрез блистание прекрасного своего лица, и, — продолжает он, — я вам признаваюсь, что она тотчас меня в восхищение привела».[11]



Фронтиспис книги «Езда в остров любви».

На берегу острова Любви Тирсиса и его спутников встречает «един бог любезныи и умам чувствительным всегда он полезныи, Разум», который тщетно пытается отговорить новоприбывших путников от посещения острова.[12] Разыскав на берегу свою «покланяемую красоту», Аминту, Тирсис заметил вблизи нее спутников—Почтение и Предосторожность, которые всякий раз останавливали Тирсиса, когда им овладевала безрассудная страсть, толкавшая его на рискованные действия.[13] Удалившись от Аминты, Тирсис проводит ночь в замке Беспокойности, затем на следующее утро «един купидинчик», который с самого прибытия героя на остров Любви «пристал, по словам Тирсиса, ко мне, чтобы за мнои ему следовать всюду

в моем пути, и дабы мне россказывать все, что надобно», приводит его в «другое местечко, которое называется Малые Прислуги» (Petits Soins), где «другова ничего не видно, как только что везде любовные потехи. Чистота, богатой убор, снисходительство, угождение, девичьи игры, веселье, и разговоры сладкие никогда не отлучаются от сего места, но и все с пристойностию удивителною там чинится».[14] Но следующую ночь герою «надлежало паки возвратиться спать в Беспокоиность, потому, что нет постоялых домов в Малых Прислугах». «И тако — продолжает Тирсис — нетерпеливность, дабы мне еще видеть Аминту, учинила, что я почти всю без сна пробыл и в ту ночь...» Впрочем, он «заснул на час места, и в сем усыплении виделся (ему) приятной и сладкой сон»:

Виделось мне, кабы тая
в моих прекрасная дева
Умре руках вся нагая,
не чиня ни мала зева

* * *

Но смерть так гибель напрасну
видя, ту в мир возвратила
В тысячю раз паче красну;
а за плачь меня журила.

* * *

Я видел, что ясны очи
ее на меня гледели,
Хотя и в темноту ночи
и ни мало не с мертвели.

* * *

Ах! вскричал я велегласно,
схвативши ея рукою
Как бы то на яву власно:
вас было, Мила, косою

* * *

Ссечь жестока смерть дерзнула!
Ох! и мне бы не миновать
Колиб вечно вы уснула!
Потом я стал ту обнимать.

* * *

Я узнал как пробудился,
что то есть насмешка грезы.
Сим паче я огарчился
многи проливая слезы.[15]

Некоторое время Тирсис проводит попеременно то в Малых Прислугах, где Аминта обходится с ним все дружественней, то в Беспокойности. Затем Аминта переезжает в «другое местечко, которое называют Доброи прием», а герой ночует в «Надежде, городе зело великом, красном, словущем и многолюдном... Превеликая часть того города создана на песке и без основания, чего ради часто онои в прах разваливается. Другая его часть очень твердо основана, и почитаи всегда в своеи целости пребывает. Сеи город стоит при реке, которая называется Претенциа... Оная река хотя есть весьма преизрядная, но иногда не безбедственно плавать по неи случается: от чего и домы, которые по неи построены, часто со всем обваливаются». Когда герой возымел желание искупаться в реке Претенции, его старые знакомые, Почтение и Предосторожность, разубедили его в этом намерении, говоря, что «надлежит мне — рассказывает Тирсис — доволну быть только Надеждою. А в Претенцию пускаться недовлеет».[16] Побывав после этой встречи в замке княгини Надежды, Тирсис собирался итти «во Объявление», но ему на пути вновь попался знакомец, Почтение, «котоpои почитаи с сердца [ему] представлял, что ненадлежит туда спешить так скоро». Сдавшись на советы Почтения, Тирсис со своим постоянным спутником Купидинчиком отправляются в крепость Молчаливость, губернатором которой было Почтение. «Очесливость (Modestie), Молчание и Таина стерегут тоя крепости вороты, которые [Тирсису] показалось менше самои маленькои комнаты».[17] Через некоторое время Аминта, «чрез все, что [Тирсис] ни чинил, узнавши [его] любовь к себе немедленно ушла в пещеру Жестокости». Герой намерен был проникнуть силой в пещеру, но владелица ее, чудовищно-безобразная старуха Жестокость, отпугнула его, и он убежал и стал бродить по берегу превеликого источника. «Сеи источник окружен лесом пребезмерно дремучим и темным, на всех корках древес оных вырезаны плачевные гистории многих любовников, и по всему тому лесу слышятся везде крик, пени и укоры. Эхо неповторяет там как слова печалные и весьма рыдателные. На конец, все дышет смертью в сем печалном месте. Там то и [Тирсис] отчаявшися выручить из рук Жестокости [свою] Аминту, в горком рыдании вопил следующее:

Увы, Аминта жестока!
Немогуль я при смерти вас моеи смягчити?

Сеи лес, и все не может без жалости быти.
Ах, Аминта жеще рока!

Сеи камень, ежели бы имел столько мочи,
Восхотел бы утереть мои слезны очи.
Ах, Аминта! без порока

Можетель вы быть смерти моея виною?
Пока щититься, увы! вам зде жестотою?
Ах, Аминта! нетли срока?[18]

После скитаний на берегах озера Отчаяния Тирсис «внезапу увидел преизрядную собои девицу, которая мимо [него] шла и плакала на [него] смотря, и казалося с ея взглядов, что она оплакивала [его] нещастие». Это была Жалость. Ей удалось разжалобить Аминту и увести из пещеры Жестокости. «Но Жалость не удоволившися тем, что она вывела Аминту из оного премерзского жилища, привела еще оную даже до Искренности», которая, «по прямому сказать нечто другое, как прохладнои загороднои дом (maison de plaisance),... наивеселеншии всех в тои земли... При замке [Искренности] все находятся Сходбища, которые нечто иное, как малые часники (petits bocages) удаленные от дорог и в которые вход есть потаеннои, и где никакова помешателства никому нечинится».

После некоторого пребывания в замке Искренности Тирсис вознамерился вести Аминту в храм Купидона, но им на пути встретилась Должность, которая «сильною рукою нагло у [него] вырвала Аминту». Потеряв свою возлюбленную, герой отправляется в пустыню Разлуки, при которой безотходно живет Задумливость. «Там время очюнь долго длится, так что ни в каком другом месте того неслучается; всякая минута за час кажется, и всякои час за день, а день за целои год. Много там везде попадается Скук, которые суть пребезмерно великого возраста жонки, о ч ю н ь смрадны (fort dégoûtans). В протчем нелзя ни по какои мере обоитись, чтоб их невидать: ибо там их превеликое множество находится».[19]

Наконец, Аминта, освободившись из рук Должности, вызвала Тирсиса из пустыни Разлуки. Они прибывают в место, называемое Свояки (Rivaux). Видя Аминту окруженной множеством поклонников, «которые бледнели с лихости для [его] прибытия, также и недопускали [его] с неи говорить», Тирсис удаляется в палату Ревнивости. «Сия палата есть из всех там мест наинеприятнеишая: ибо Разлука и Жестокость в половину не

скучат любовников против Ревнивости». При входе в эту палату стоят Ярость, Привидение и Смущение (l'Emportement, les Visions et les Troubles). «Все сии лицы дали [герою] там выпить один напиток, которои зараз [его] учинил со всем и во всем иным человеком». Некоторое время Тирсис мучает Аминту своей ревностью; когда Аминта «сначала усмехивалася, а потом за то на [него[очюнь рассердилась», герой спознался с Досадой, но Жалость вновь примирила любовников. «Наконец, — продолжает Тирсис, — по многим трудам и нуждам прибыли мы в столичнои город тоя земли, которои называется именем всего того острова, Любовь». Здесь герой убедился в искренности любви Аминты. «Но — говорит он — сего всего недовольно с меня было: конечно я захотел вести ее в замок Прямыя Роскоши (le vrai Plaisir)». Но путь им был прегражден женщиной, по имени Честь, а сопровождал ее Стыд. Хотя Аминта склонна была уступить их увещеваниям, однако, Купидинчик, сопровождавший Тирсиса, переубедил ее. Даже постоянные благоразумные советники Тирсиса — Почтение и Предосторожность, вновь повстречавшиеся им, — на этот раз не чинят им препятствий. Почтение произносит даже уместные стихи:

Ступаите любовники, друг другом любимы,
Насыщаитесь сладости неисповедимы:
Вам дана есть отвсюду свобода всецела.
Почтению при Таиных Роскошах нет дела.[20]

Покинув Почтение и Предосторожность, Тирсис и Аминта повстречались на пути в замок Прямыя Роскоши с одним человеком, который «прямо к [ним] шол весьма статен собою и весь нагохонек, у которого толко по всему переду распущены были свои волосы, а с зади весь был гол, и которои бежал очюнь резко. Потом — продолжает Тирсис — я много людеи при нем увидел, из которых иные его пренебрегали, а другие небыстро гнались за ним; но однако можно было мне приметить, что они все печалились для того что его опустили». Этот нагой человек был Случай, один имевший власть впускать в замок Прямыя Роскоши. Попав в этот замок, любовники некоторое время безмятежно наслаждались, пока, наконец, не появилась безобразная «девка Холодность» (une fille assez laide — Tiédeur), которая всех приводит к озеру Омерзелости. Однако герой не последовал за нею; зато через некоторое время, — говорит он, — «посреде моих утех будучи, увидел

я в одно утро приходящего к нам человека, которои бесстыдно помешательство учинил нам в нашем наичювствителнеишем веселии». Это был Рок, «которого уставы суть непременны, и которои без всякого замедления вырвав из рук моих увел от меня Аминту». Вновь оставшийся без возлюбленной, Тирсис удалился на гору, называемую Пустыня Воспомяновения (le Désert du Souvenir). Здесь герой вспомнил о своем друге Лицидасе или, как он именуется в переводе Тредиаковского, Лициде, и пишет ему письмо с изложением всех своих приключений.[21]

Этим заканчивается первая часть «Езды в остров любви». Вторая посвящена дальнейшим приключениям Тирсиса. Он убеждается в измене Аминты, покидает Пустыню Воспомяновения и возвращается в общество людей, где начинает одновременно волочиться за двумя красавицами, Сильвией иИрисой. Описывая внешность последней, Тирсис отмечает, что «всякая черта лица ея была совершенно правилная, румянец играл на том [т. е. на лице] весьма живои и очюнь светлои; глаза она имела черные и превеликие, нос как Орлинои, уста невеликие и сахарные».[22] Анализируя свое «чювство» к обеим красавицам, Тирсис признается, что оно «весма несходное с тем, которое [он] обычаино имел». Желая охарактеризовать отличие этого вида любви — флирта — от настоящего чувства, он пишет: «Вы изволите видеть, любезныи мои Лицида, с описания моего, что то есть Глазолюбность (Coquetterie) хотя и многие с неучтивои ненавистью называют оную Честным Блядовством».[23] И в этой части приключения героя описываются с тою же обстоятельностью, что и в первой. Заканчивается повесть тем, что Тирсису прискучило пребывание на острове Любви, его увлекает уже Слава, для которой он покидает гостеприимный, но причинивший ему много страданий остров:

Я уже ныне нелюблю, как похвалбу красну:
она толко заняла мою душу власну.
Я из памяти изгнал
всех моих ныне Филис
и яко бы я незнал
ни Аминт ниже Ирис.
И хотя страсть прешедша чрез нечто любовно
услаждает мне память часто и способно;
Однак сие есть толко
как Сон весма приятныи,
Кого помнить не горько,
хоть обман его знатныи.[24]

Из более или менее подробного изложения повести Тальмана в переводе Тредиаковского, из обширных цитат «Езды в остров любви» можно составить себе представление о содержании и стиле этого произведения. Если считать «повести», ходившие по рукам читателей первой трети XVIII в., вроде «повести о Фроле Скобееве», «О молодце и девице», «О Василии Кориотском», «Архилабоне», «Александре» и др., так сказать, арифметикой любви, изображающей конкретные случаи эротических отношений, то «Езду в остров любви» можно назвать алгеброй любви, излагающей в схематически-отвлеченном виде все возможные случаи таких же отношений. Но абстрактно и аналитически рассказанная любовь Тирсиса к Аминте и его флирт с Сильвией иИрисой, все эти психологические персонификации, заполняющие повесть Тальмана, при всей их холодности и натянутости, были для дворянского читателя начала тридцатых годов XVIII в. притягательным чтением. В самом деле, галантная, учтивая Франция, с давних пор привлекательнейшая из европейских стран для полуазиатов-московитов, выступила в повести Тальмана во всей своей пресловутой светской утонченности, «политичности». Спешно европеизировавшийся российский дворянин находил в переводе Тредиаковского образец для усвоения и подражания, ему давались здесь готовые формулы для выражения тех самых «чювствий», которые принесла новая эпоха. В переводе Тредиаковского петербургский царедворец и вообще русский дворянин обретал то, чего ему не давали ни «повести», ни «петровская драма», ни даже семинарская любовная лирика. «Езда в остров любви» была «приписана», то есть посвящена князю Александру Борисовичу Куракину; по странной случайности отец этого мецената Тредиаковского, Борис Иванович Куракин, был одним из первых русских вельмож, столкнувшихся на Западе во время путешествия в 1707—1708 гг. с новыми для московита приключениями и ощущениями. Желая описать свое душевное состояние, Б. И. Куракин не мог найти на русском языке соответствующих слов и писал:

«И в ту свою бытность был инаморат [в] славную хорошеством однqю читадинку, называлася signora Francescha Rota, которую имел за медресу во всю ту свою бытность. И так был inomarato, что не мог ни часу без нее быть, которая коштовала мне в те два месяца 1000 червонных. И расстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из сердца

моего тот amor не может выдти и, чаю, не выдет. И взял на меморию ее персону, и обещал к ней опять возвратиться, и в намерении всякими мерами искать того случая, чтоб в Венецию, на несколькое время, возвратиться жить». [25]

Итак, перевод Тредиаковского имел большое значение для современного ему читателя, не только потому, что знакомил не владевших французским языком с алгеброй любви, с энциклопедией салонного «обожания», но и потому, что делал это на сравнительно новом языковом материале, очищенном от полонизмов и украинизмов и церковнославянской витиеватости, отличавшей литературную речь того времени. Сам Тредиаковский хорошо понимал особенности своего перевода и предупреждал об этом читателя: «На меня, прошу вас покорно, не изволте погневаться (буде вы еще глубокословныя держитесь славенщизны), что я оную не славенским языком перевел, но почти самым простым Русским словом, то есть, каковым мы меж собои говорим». Перечисляя причины такого выбора, Тредиаковский ссылается, во 1), на то, что славянский язык церковный, а «Езда» книга мирская; во 2), говорит он, «язык славенскии в нынешнем веке у нас очюнь темен, и многие его наши читая не разумеют; а сия книга есть сладкия любви, того ради всем должна быть вразумителна»; наконец, в 3), причина, «которая, — продолжает он, — вам покажется может быть самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть, что язык славенскои ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего я не толко им писывал, но и разговаривал со всеми: но за то у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым речеточцем хотел себя показывать». [26]

Но переводчик чувствовал, что при новизне и оригинальности его попытки отношение читателей к этому нововведению может быть не вполне благоприятно, что, впрочем, могло относиться к читателю, воспитанному на «глубокословной славенщизне». Едва ли, однако, имел в виду Тредиаковский эту категорию читателей. Наоборот, он очевидно рассчитывал на нового, отчасти уже европеизировавшегося, во всяком случае, «секуляризировавшегося» читателя, которому «язык славенскии очюнь темен» и «жесток ушам слышится», то есть, читателя из великосветского круга, сильно затронутого западными влияниями. У этого читателя переводчик считает даже нужным

просить снисхождения: «Ежели вам, доброжелателныи читателю покажется, что я еще здесь в свойство нашего природного языка не уметил, то хотя могу толко похвалиться, что все мое хотение имел, дабы то учинить; а коли не учинил, то бессилие меня к тому недопустило, и сего, видится мне, доволно есть к моему оправданию». [27]

Тредиаковский был несомненно прав, когда упоминал в предисловии о своем бессилии как переводчика. Перед ним стояли громадные трудности. Приходилось передавать на русском языке не только отвлеченные понятия, которые, при всей их сложности и абстрактности, все же можно было выразить, хотя бы создавая неологизмы путем использования славянских корней и суффиксов, напр. очесливость, задумливость, привидение, глазолюбность. [28] Приходилось передавать названия предметов, вещей, явлений конкретной действительности, которых на русской почве или еще не было, или для которых не было своих названий, а у Тредиаковского в «Езде в остров любви» почти нет варваризмов, вошедших в русскую разговорную и литературную речь со времени петровских реформ. [29] Переводчик поступал в тех случаях, когда ему приходилось встречать такие казусы, довольно непрямолинейно: он избегал создания неологизмов в отношении конкретных предметов и явлений и передавал их описательно. Так, вместо «серенада» он писал «вечерние песни», вместо «фонтаны»—«воды в верх биющие» [30] и т. д. Иначе говоря, он пользовался в таких случаях «простым Русским словом, то есть, каковым мы меж собои говорим».

В самом деле, элемент русский в «Езде» значительно преобладает. Это сказывалось даже в таком важном для той эпохи вопросе, как окончание родительного падежа единственного числа имен прилагательных женского рода — *ой, ей* или, постаринному, *ыя, ия*. [31] Тредиаковский, при всем своем стремлении к выдержанному употреблению *ыя* и *ия*, довольно часто,— и не только в стихах, где приходилось брать для счета слогов более краткую форму дательного падежа, замещавшую родительный, — но и в обыкновенной прозе пользовался тем, что подсказывала ему языковая практика — то есть, писал *ой* и *ей*.

«Русское» влияние сказывалось и в ряде оборотов, идущих из «народной» словесности [так, Тредиаковский пишет, что у Аминты «ясные очи», у Аминты и Ирисы «уста сахарные» [32] и т. д.], в употреблении (в предисловии) пословиц и т. п.

Славянский элемент, конечно, еще достаточно силен — он проявляется и в лексике, и в этимологии, и даже в синтаксисе. Так, например, один раз встречается даже применение дательного самостоятельного. [33]

Таким образом, перевод Тредиаковского был по тому времени явлением очень свежим и интересным и, конечно, не мог не привлечь внимание любителей чтения.

Академический советник Иоанн-Даниил Шумахер не входил, конечно, во все эти подробности и тонкости издания Тредиаковского, но счел нужным все же поддерживать с переводчиком дружественные отношения. Впрочем, свою позицию Шумахер обнаружил лишь тогда, когда обозначилось достаточно явственно сочувственное отношение придворных кругов к литературной новинке и ее автору. До этого времени Шумахер воздерживался от ответа на обращенные к нему письма Тредиаковского и в свою очередь испрашивал у президента Академии Наук Л. Л. Блюментроста разрешение на выпуск из типографии повести Тальмана. «Прилагаемую при сем грамматику— писал Шумахер в отношении от 11 января 1731 г. —велел напечатать г. Имбер, французский виноторговец, на свой счет». [34] В ней не заключается ничего особенного, и потому не упомянуто об Академии. Также не указано место печатания хотя и по другим причинам, в переводе Тредиаковского Езды в остров любви. Имела ли она честь понравиться вам и можно ли ее пустить в обращение согласно желанию автора. Вы о том вовсе не говорите, а нам это нужно знать, потому что г. камергер, князь Куракин писал ныне о выдаче ее». [35] Повидимому, положительный ответ президента был передан изустно, так как в делах Академии письменного распоряжения не сохранилось.

Книга Тредиаковского вышла в самом начале 1731 г., когда императрица Анна Ивановна и весь двор ее находились в Москве. Камергер А. Б. Куракин и покровительствуемый им Тредиаковский также были в Москве. В самом начале 1731 г. Тредиаковский пишет Шумаxеру письмо, о котором тот косвенно упоминал в своем рапорте президенту Академии; сообщая о своем приезде в Москву. 3 января, Тредиаковский переходит к вопросу о своей книге: «Я не смел даже предполагать о том успехе, который снискала книга моя у его высочества (т. е. князя Куракина). Все люди со вкусом желают читать

ее... Уповаю быть представленным ее величеству». Далее он просит прислать ему 150 экземпляров «Езды в остров любви» и песню («Да здравствует днесь императрикс Анна»), напечатанную одновременно с книгой Тредиаковского. [36]

На это письмо, полученное 9 января 1731 г., Шумахер отвечал 11 того же месяца и, очевидно, излагал свои опасения относительно распространения книги Тредиаковского. Последний немедленно же ответил Шумахеру: «Не бойтесь распространять мою книгу среди публики; было бы очень хорошо напечатать еще 500 экземпляров, но оставляю это на ваше благоусмотрение». [37]

В том же письме от 17 января Тредиаковский дает живую картинку приема, оказанного его книге в Москве:

«Суждения о ней различны согласно различию лиц, их профессий и их вкусов. Придворные ею вполне довольны. Среди принадлежащих к духовенству есть такие, кто благожелательны ко мне; другие, которые обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу где он рассуждает об искусстве любить; говорят, что я первый развратитель русской молодежи, тем более, что до меня она совершенно не знала прелести и сладкой тирании, которую причиняет любовь.

Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мною эти ханжи? Неужели они не знают, что сама Природа, эта прекрасная и неутомимая владычица, заботится о том, чтобы научить все юношество, что такое любовь. Ведь, наконец, наши отроки созданы так же как и другие, и они не являются статуями, изваянными из мрамора и лишенными чувствительности; наоборот, они обладают всеми средствами, которые возбуждают у них эту страсть, они читают ее в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, такие, какие очень редки в других местах.

Но оставим этим Тартюфам их суеверное бешенство; они не принадлежат к числу тех, кто может мне вредить. Ведь это — сволочь, которую в просторечии называют попами.

Что касается людей светских, то некоторые из них мне рукоплещут, составляя мне похвалы в стихах, другие очень рады видеть меня лично и балуют меня. Есть однако и такие, кто меня порицает.

Эти господа разделяются на два разряда. Одни называют меня тщеславным, так как я заставил этим трубить о себе, и это, по их словам, свойственно человеку, предубежденному в свою пользу, который выставляет свою суетность пред публикой. Вот это прекрасно. Но посмотрите, сударь, на бесстыдство последних; оно, несомненно, поразит вас. Ведь они, винят меня в нечестии, в нерелигиозности, в деизме, в атеизме, наконец во всякого рода ереси.

Клянусь честью, сударь, будь вы в тысячу раз строже Катона, вы не могли бы остаться здесь твердым и не разразиться грандиознейшими раскатами смеха.

Да не прогневаются эти невежи, но мне наплевать на них, тем более, что они люди очень незначительные...»[38]

Не входя в детали этой любопытной переписки, нужно все же отметить, что и в следующем письме Тредиаковский касался успеха «Езды в остров любви»:

«Подлинно могу сказать, что книга моя вошла здесь в моду, и к несчастию, или скорее к счастию, и я сам вместе с ней. Клянусь, милостивый государь, не знаю, что мне делать; меня повсюду разыскивают, везде спрашивают у меня мою книгу; когда же я говорю, что у меня ее вовсе нет, они обижаются в такой степени, что я боюсь вызвать их неудовольствие».[39]

Итак, «Езда в остров любви» была первой книгой в русской литературе, создавшей сенсацию и вызвавшей живой и сочувственный интерес как себе, так и своему автору. Круг социального воздействия книги Тредиаковского был отчетливо очерчен в приведенной выше характеристике отношения к «Езде» придворных и духовенства.

Но в этой характеристике восприятия современными читателями книги Тредиаковского следует отметить еще одно — именно указание на наличие какой-то группы читателей, которая не только отнеслась положительно к «Езде в остров любви», но даже приветствовала ее появление стихами. Если вспомнить, что и Феофан Прокопович, и кн. А. Д. Кантемир находились в это время в Москве, возникает предположение, едва ли безосновательное, что именно из этого кружка и исходили стихи, о которых писал Тредиаковский Шумахеру.

О поэтических группировках конца 20-х, начала 30-х годов XVIII в. сохранилось очень немного сведений. В общем, картина представляется в следующем виде. Основной контингент поэтов этого времени составляли лица духовного звания, большей частью преподаватели Московской Славяно-греко-латинской академии, Харьковского коллегиума и ряда провинциальных семинарий. Эти поэты из духовенства строго придерживались теории поэзии, изложенной Мелетием Смотрицким в его «Грамматики славенския правилном синтагме» (1619; первое русское издание 1648, второе 1721). К этой же группе поэтов принадлежал в известной мере и кн. А. Кантемир, по крайней мере, по формальным приемам.

Вторая группировка поэтов этой эпохи была связана с Академией Наук. Поэты эти не были оригинальны. Это были

в большинстве случаев чиновники-переводчики, обслуживавшие нужды новоорганизованного высшего научного учреждения страны. Среди поручений, возложенных на Академию Наук, академический устав предусматривал также и сочинение поздравительных стихотворений на разные торжественные случаи придворной жизни. Стихи эти писались академиками-немцами и, конечно, на немецком языке. Однако, придавая этой официальной поэзии большое значение, академические власти считали необходимым печатать не только самые подлинные оды, но почти всегда и их русские переводы; поэтому эти поздравительные оды печатались обычно на немецком и русском языках, причем русский перевод, рабски точный, неуклюжий и мало выразительный, передавался силлабическими стихами. Как ни слабо было распространено в те годы между академиками и другими сотрудниками Академии—немцами знание русского языка, однако сохранились данные о том, что неблагозвучие русских вирш, представлявших переводы немецких од, написанных, большей частью, александрийским стихом, вызывало замечания со стороны академиков и переводчиков-немцев и даже попытки применить к русскому языку правила немецкой версификации. [40] Факты эти уже не раз привлекали внимание исследователей, в особенности в связи с тем, что они непосредственно связаны с вопросом о введении в русскую поэзию тонического стихосложения и приоритетом в этом введении Тредиаковского.

Впрочем, деятельность немецких академиков-стихотворцев представляет также интерес и со стороны идеологической: в стихах этих выходцев из бюргерства проводится довольно отчетливо буржуазная линия, прославляется протекционизм торговле и промышленности, восхваляются монархи — просвещенные самодержцы, — словом, осуществляется поэтическая программа, аналогичная обычным в то время западноевропейским. Можно даже поставить вопрос, вполне ли бесследной оказалась деятельность немецких стихотворцев-академиков для развития русской литературы, не отразилась ли она в какой-то мере хотя бы в идеологии Ломоносова. Пока, однако, этот вопрос должно оставить открытым.

Кроме этих двух групп поэтов, в середине 1730-х годов возникает еще одна — это кружок поэтов, учеников Сухопутного шляхетного корпуса. Некоторые сведения об этом кружке сохра-

нились в связи с биографией А. П. Сумарокова, но обычно считают, что деятельность поэтов Сухопутного корпуса падает на вторую половину 30-х годов и начало 40-х XVIII в. Между тем, есть данные о том, что еще в первую половину 30-х годов кружок этот работал. О составе и внутреннем укладе этой поэтической группировки сведений в литературе не сохранилось. Единственным результатом и вещественными следами деятельности кружка являются печатавшиеся с 1735 по 1740 г. в типографии Академии Наук оды от имени «юности рыцерской академии» и подносившиеся императрице Анне Ивановне в день ее рождения, 20 января. Так, 20 января 1735 г. у императрицы Анны Ивановны состоялся обед; «в числе поздравителей были представлены императрице кадеты Олсуфьев и Розен, которые говорили приветственные, сочиненные ими стихи. Первый говорил по-русски, а последний по-немецки».[41] Печатная ода Олсуфьева сохранилась; впрочем, имя автора на ней не указано. Заглавие ее, согласно традициям эпохи, длинное и витиеватое. Кроме того, оно рифмованное:

Еже Россиа ныне восклицает
и чим входящу на трон поздравляет
    царствующу Анну
    от бога нам данну.
Тожде шляхетна тщится зде творити
Юность, да матерь может ублажити
    в купе с похвалами
    краткими стихами.

В Санктпетербурге. Печатан при Императорской Академии Наук в типографии генваря 19 дня 1735 году.[42]

Как это стихотворение, так и последующие оды, подносившиеся от имени «Шляхетной Академии Наук юношества», «юности рыцерской академии», «шляхетной юности», написаны силлабическим размером. Язык их представляет пеструю смесь церковно-славянизмов с бытовым русским языком современной эпохи. По содержанию своему оды эти любопытны как памятники начального периода дворянской поэзии, имевшей тогда большую тенденцию к публицистичности.[43]

Такова, в основных чертах, была та литературная среда, на фоне которой начала развиваться и развивалась поэтическая и литературно-научная деятельность Тредиаковского.

Как он писал Шумахеру, и переведенная им книга и сам он сделались модными; но возможно, что это был успех скандала. На эту мысль наводит сообщение акад. Г. Ф. Миллера о том, что Тредиаковский впоследствии разыскивал и уничтожал экземпляры «Езды в остров любви». [44] Вообще же Тредиаковский почти не упоминает в дальнейшем об этом своем литературном дебюте.

Тем не менее, «Езда в остров любви» послужила началом длительных и тяжелых для Тредиаковского отношений с Академией Наук.

Начав вскоре по возвращении из Москвы в 1731—1732 гг. работать в Академии Наук, Тредиаковский с 1733 г. уже окончательно входит в состав работников Академии, обязуясь, как писал он в договоре, «чинить, по всей своей возможности, все то, в чем состоит интерес ея императорского величества, и честь Академии; вычищать язык руской пишучи как стихами, так и не стихами; давать лекции, ежели от него потребовано будет; окончить грамматику, которую он начал, и трудиться совокупно с прочими над Дикционарием руским и т. д.» [45]

Пункт о «вычищении языка руского» представляет особый интерес: здесь намечалась программа той деятельности Тредиаковского, которая развернулась в последующие десятилетия. Первые работы Тредиаковского, поступившего в Академию Наук «под титлом секретаря», т. е. исполняющего обязанности секретаря, состояли в переводах. Он переводил с немецкого, несмотря на сравнительно слабые познания в нем, с латинского и, главным образом, с французского языка как научную, так и изящную литературу; впрочем, преимущественно приветственные стихи академиков-немцев. Повидимому, ему же принадлежала идея организации Российского собрания, чего-то аналогичного Académie Française по ее заботам о языке, о грамматике, словаре и т. п. С деятельностью Французской академии Тредиаковский был безусловно знаком еще со времени своего пребывания в Париже. Конечно, документально установить принадлежность идеи организации Российского собрания ему — невозможно. Но в пользу этого говорит тот факт, что вступительную речь 14 марта 1735 г. произносит именно он, что сведения о деятельности Российского собрания даны были именно им в «Lettre d'un Russien à un de ses amis écrite au sujet de la nouvelle versification russienne». [46] Если нигде он не называл себя инициато-

ром этого начинания, то это объясняется, повидимому, тем, что, с одной стороны, такие притязания на первенство могли повлечь за собой осложнения с высшими академическими инстанциями, а с другой, по той малоэффективной роли, которую сыграло в развитии русской литературы и литературного языка Российское собрание.

Российское собрание было организовано в начале 1735 г. и состояло из переводчиков Академии Наук: Ивана Ильинского, Василия Адодурова, студента Тауберта, Тредиаковского и ректора Шваневица. [47] Вступительную речь, как известно, произнес Тредиаковский. Она представляет собой развитие тех его идей, которые были уже изложены им в предисловии к «Езде в остров любви».

В дальнейшем придется коснуться более подробно содержания этой речи; сейчас же будет достаточно отметить, что наиболее важным местом в «Речи к членам Российского собрания» для целей настоящей работы является то, где он касается вопросов версификации: «Из основательныя Грамматики, и красныя Реторики не трудно произойти восхищающему сердце и ум слову пиитическому, разве только одно сложение стихов неправильностию своею утрудить вас может; но и то, Мои Господа, преодолеть возможно, и привесть в порядок; способов не нет, некоторые же — с ударением прибавляет он — и я имею». [48]

В самом деле, еще в сентябре — октябре 1734 г. Тредиаковский приветствовал назначение бар. Корфа президентом Академии Наук особой одой, где впервые применил изобретенное им тоническое стихосложение, представлявшее упорядоченный, «тонизированный» традиционный тринадцатистопный стих. Как бы ни защищали сторонники теории самостоятельности Тредиаковского в вопросе «изобретения» тонического стихосложения его оригинальность, фактом остается то, что проблема введения в русскую поэзию немецкой версификации стояла на повестке дня, этого требовала — настойчиво и властно — оформлявшаяся в те годы дворянская эстетика, секуляризировавшаяся, отталкивавшаяся от феодально-церковной славенщизны и связанного с ней силлабического стихосложения. Сам Тредиаковский сознавал, что немецкий перевод его силлабических стихов «по всему красняе и осанковатее», он не мог не знать исканий и попыток немцев и шведов в отношении

приложения к русской поэзии немецкого стихосложения; ему несомненно приходилось беседовать на эти темы с немцами-академиками и переводчиками. А их отношение к русской поэзии было достаточно отрицательным. Не лишена интереса следующая деталь. В оде барону Корфу Тредиаковский писал:

Зде сия, достойный муж, что ти поздравляет,
. . . .
Есть Российска муза, всем и млада и нова.

Однако академик Юнкер, переводивший оду Тредиаковского на немецкий язык, передал эти стихи в следующей, характерной форме:

. . . .
Würdigster, die, so Dir hier ihren treuen Eifer zeiget,
Ist die Russin, meine Muse, die in allem schwach und neu. [49]

Сравнение перевода с подлинником обнаруживает, что в близком, почти буквальном переводе слово «млада» переведено не «jung», хотя это вполне допускалось размером стиха, а «schwach» (слаба); этой заменой Юнкер характеризовал свое отношение в этой Muse-Russin.

Как, впрочем, ни была «млада и нова» Российская муза Тредиаковского, он, выступая 14 марта 1735 г. в Российском собрании, уже считает возможным ссылаться на свою деятельность в вопросе о реорганизации нашего стихосложения: сделать это он мог по той причине, что у него был уже готов «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий». Книга эта вышла в том же 1735 г. и, несомненно, явилась событием в своем роде.

Принято думать, что русская поэзия родилась, так сказать, с деятельностью Тредиаковского. Конечно, в такой обнаженно-прямолинейной форме этой точки зрения сейчас никто защищать не станет. Однако едва ли представляют себе ту конкретную обстановку, в которой развивалась деятельность Тредиаковского, в особенности на первых порах. Обстановка эта была, автор «Оды на здачу Гданска» действовал не в безвоздушном пространстве. Еще в «Известии к читателю» в «Езде в остров любви» он указывает, что печатает «стихи [своей] работы» по совету приятелей, «ведущих в стихах силу.» [50] Очевидно, он имел здесь в виду академического студента, а затем переводчика В. Е. Адодурова, у которого жил первое время по приезде из-

за границы, и др. Хотя имена этих и иных тогдашних ценителей поэзии и поэтов неизвестны, их было, надо полагать, не мало. Не даром уже в посвящении своей книги Тредиаковский обращается ко «всем высокопочтеннейшим особам, титулами своими превосходительнейшим, в российском стихотворстве искуснейшим и в том охотно упражняющимся». [51] Это были, конечно, те группировки поэтов, о которых сказано было выше. Это были те поэты и пииты, которые прочно и безраздумно восприняли и строго исполняли поэтические наставления Мелетия Смотрицкого и его украинско-русских продолжателей. Они не могли не заметить, что книга Тредиаковского, хотя и вышла из старой традиции, связь с которой он настойчиво подчеркивает, [52] но в определенном смысле направлена против нее, против украинско-польской основы этой традиции и против практиковавшихся ее последователями нарушений русского «употребления». В особенности заметно это в заключительных строках XIV прибавления «Нового способа»; прибавление это явно полемизировало с украинизмами, бытовавшими в практике великорусских поэтов: «И так, кажется мне — пишет Тредиаковский — что те Стихотворцы, хотя с другой стороны и достойны похвалы, весьма великую и нашему языку противную употребляют вольность, когда кладут вместо, например, из глубины души, з глубины души; вместо имею способ, мею способ». [53]

Эта борьба с украинизмами не должна пониматься как шовинизм, а как продолжение той же секуляризационной линии дворянской эстетики. Это понятно, поскольку носителями и вводителями украинизмов в русский литературный язык были поэты из духовенства, и преимущественно выходцы из Киевской духовной академии и вообще из Украины. Таким образом, основная тенденция «Нового способа» была обращена к усилению светского начала в противоположность религиозному и к укреплению русского «употребления» в противовес украинско-славянскому. В этом состояла, кроме введения тонического принципа, не менее существенная, не менее важная сторона трактата Тредиаковского.

Первыми последователями новой версификация системы Тредиаковского оказались «студенты Рыцерской академии», т. е. Сухопутного шляхетского корпуса. В помещенной в № 9—10 «Литературного наследства» статье «У истоков дворянской поэ-

НОВЫЙ И КРАТКІЙ

СПОСОБЪ

КЪ СЛОЖЕНІЮ РОССІЙСКИХЪ СТІХОВЪ

СЪ ОПРЕДѢЛЕНІЯМИ

ДО СЕГО НАДЛЕЖАЩИХЪ ЗВАНІЙ.

ЧРЕЗЪ

ВАСІЛЬЯ ТРЕДІАКОВСКАГО

С. ПЕТЕРБУРГСКІЯ ІМПЕРАТОРСКІЯ

АКАДЕМІИ НАУКЪ

СЕКРЕТАРЯ.

Печатано въ Санктпетербургѣ при Імператорской
Академіи Наукъ
MDCCXXXV.

Титульный лист книги В. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов...»

зии XVIII века. Поэт Михаил Собакин» сообщены основные сведения о деятельности одного из этих первых по времени, известных последователей Тредиаковского. [54] В той же статье были приведены обширные выдержки из поэмы Собакина: «Совет Добродетелей», напечатанной в конце 1737 г. и поднесенной императрице Анне Ивановне ко дню рождения, 20 января 1738 г. Между прочим, в той же статье было сообщено что Собакину принадлежит еще одно произведение, именно, «панегирические стихи на въезд ее императорского величества императрицы Елизаветы Петровны 22 декабря 1742 г.», отпечатанные в типографии Академии Наук и не сохранившиеся ни в одном книгохранилище и не зарегистрированные ни в одной библиографии. [55]

Между тем, оказывается, что неотысканное в печатном виде произведение Собакина сохранилось в двух рукописных копиях и по одной из них было даже перепечатано, впрочем, без указания автора. Так, в «Заметках и материалах для истории песни в России I-VIII», помещенных в «Известиях Отделения русского языка и словесности» и вышедших также и отдельно, В. Н. Перетц перепечатал из рукописного сборника № 16, хранившегося в библиотеке римско-католической церкви св. Екатерины в Ленинграде, два стихотворения — одно «Элегию на смерть Петра Великого» Тредиаковского и другое неизвестного автора, представляющее оду в честь императрицы Елизаветы по случаю ее торжественного въезда. [56]

Характеризуя первое стихотворение как «ученическую работу, отличающуюся большим усердием и еще большей бездарностью», В. Н. Перетц отмечает: «Совершенно обратное впечатление получается при ближайшем ознакомлении со вторым из названных стихотворений. Уже первые стихи показывают умелого и способного автора и притом такого, который умеет уже приспособить силлабический стих к требованию русского ударения и сделать его стройным и благозвучным. Стихи в роде:

Стогнет воздух от стрельбы, ветры гром пронзает

или такие

Вот идет Елисавет, свет наш и денница,
Победительница, мать и императрица... и т. п.

представляют вполне обычное явление, а неуклюжие встречаются лишь как редкое исключение. Кое-где следует отметить мало-

русскую рифму: пробити — посмотрити, хотя подобное произношение не чуждо и некоторым местным великорусским говорам. Следы местной простонародной речи: нрав, ганяли».

Далее В. Н. Перетц пишет: «Признать оба стихотворения принадлежащими одному автору кажется нам затруднительным... настолько они разнятся друг от друга по стилю и строению стиха». Указав, что автор первого стихотворения — Элегии — Тредиаковский, В. Н. Перетц прибавляет: «Второе из найденных стихотворений трудно приписать кому-либо из известных писателей, а менее всего—Тредиаковскому». [57]

В. Н. Перетц был, конечно, прав, предполагая, что автор оды в честь Елизаветы и Тредиаковский — разные лица. В самом деле, в одном из рукописных сборников, хранящихся в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина в Москве, имеется стихотворение «Радость столичного города Санктпетербурга при торжественном въезде ея императорского величества, всемилостивейшия державнейшия великия государыни Елисаветы Петровны, самодержицы всероссийския декабря 22 дня 1742 году, описана стихами через Михаила Собакина, государственной коллегии иностранных дел ассессора». [58] Стихотворение это представляет более точный, хотя и не имеющий конца список тех же самых стихов, которые были опубликованы В. Н. Перетцом.

Стогнет воздух от стрельбы, ветры гром пронзает,
Отзыв слух по всем странам втрое отдавает.
Шум великий от гласов слышится всеместно,
Полны улицы людей, в площадях им тесно.
Тщится всякой упредить в скорости другова
Друг ко другу говорят, а не слышат слова.
Скачут прямо через рвы и через пороги,
Пробираяся насквозь до большой дороги.
Всяк с стремлением бежит в радостном сем стоне
Посмотрить Елисавет в лаврах и короне.
Старость, ни болезнь, ни пол, ни рост не мешают,
Обще с удовольством зреть въезд ее желают. [59]

Уже по одному этому отрывку можно составить представление, насколько основательно усвоил М. Г. Собакин наставления «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского. При сравнении же «Радости столичного города Санктпетербурга» с первым опытом Собакина в духе Тредиаков-

ского, с «Советом Добродетелей», делается явственным значительный прогресс этого кадетского поэта.

Достаточно сопоставить два следующих отрывка:

Не стоял бы свет,
а паче держава,
Правды бы когда
не употребляли,
Друг бы друга все
часто обижали,
Не боясь отнюдь
никакого права [60]

А вот отрывок из «Радости»:

Солнце похвалы ничьей в честь себе не просит,
но, однако, всяка тварь ту ему приносит.
Равно слава и твоя без похвал всем зрима
и не требует от нас быти возносима.
Но не можно умолчать славить вещь такую,
кая движет в речь язык чрез себя самую.
Сердце радостью когда полно пребывает,
то неволею уста к слову растворяет.
Да и в жертву принести дар всемерно должно,
каковаго лутше нет, изыскать не можно.
Лявр парнаских хотя нет, ни речей пристойных,
к приношению тебе подлинно достойных.
Но однако есть еще случай нам в подпору,
труд великого Петра плод пришел дать в пору.
Выросли в России здесь лявры и с листами,
кои собственными он насаждал руками.
Из начатков сих венец мы тебе сплетаем
и к победам впредь плести в вышнем уповаем. [61]

Нельзя не согласиться с приведенным выше мнением В. Н. Перетца, что в лице сочинителя «Радости» мы имеем «умелого и способного автора». Впрочем, предположение В. Н. Перетца, что этот автор «умеет уже приспособить силлабический стих к требованию русского ударения», [62] нельзя признать вполне верным: здесь не приспособление силлабического стиха к требованию русского ударения, а совершенно правильное тоническое стихотворение.

Собакин был не единственным кадетским поэтом, усвоившим манеру Тредиаковского. Известны также два ранних тонических опыта (1740) А. П. Сумарокова, не включенные впоследствии

в собрание его сочинений и полностью не перепечатывавшиеся ни разу.[63]

Первая ода Сумарокова была написана не «героическим эксаметром» Тредиаковского, а пентаметром, и, очевидно, это отступление от обычного размера Тредиаковского заставило акад. А. А. Куника утверждать, что эта ода «написана еще старым силлабическим размером». [64] Этот пентаметр уже был применен Тредиаковским в «Оде в похвалу цвету розе», помещенной в «Новом и кратком способе»:

Красота весны! Роза о прекрасна.
Всей о Госпожа румяности власна.[65]

Пентаметром же был написан и приведенный выше отрывок из «Совета Добродетелей» Собакина («Не стоял бы свет, а паче держава»)

Такова же и первая ода Сумарокова:

Как теперь начать Анну поздравляти.
Не могу когда слов таких сыскати,
Из которых ей похвалу сплетати,
Иль неволей мне будет промолчати. [66]

Вторая ода написана обычным размером Тредиаковского, «героическим стихом» или «эксаметром»:

О Россия! веселись монархиню видя,
Совершенную в дарах на престоле сидя. [67]

Сумароков был в это время не простым, рядовым последователем Тредиаковского, а энергичным его сторонником. Лет через двадцать Ломоносов вспоминал по одному поводу о Сумарокове: «Стихосложение принял сперва развращенное от Тредиаковского и на присланные из Фрейберга сродные нашему языку и свойственные написал ругательную эпиграмму». [68] Что это за ругательная эпиграмма, сейчас сказать трудно, так как ее нет ни в собрании сочинений Сумарокова, ни вообще в печатной и известной рукописной литературе о Ломоносове. Но факт, не подлежащий сомнению, тот, что сторонники Тредиаковского приняли систему Ломоносова с недоброжелательством и на первых порах вели с ней литературную борьбу. Сдались они не сразу.

Поэтому не вполне правильно утверждение, что одного появления Ломоносова было достаточно для посрамления и

уничтожения влияния Тредиаковского. Тредиаковский продолжал быть авторитетом в вопросах поэзии в течение сороковых и, вероятно, и пятидесятых годов, но, главным образом, на периферии, а не в центре.

Известно первое провинциальное подражание Тредиаковскому, „Эпиникион, то есть Песнь победительная в честь и славу оружию ея императорского величества самодержицы всероссийския“ Стефана Витынского, профессора философии в Харьковской славенолатинской Коллегии (1739). [69]

Чрезвычайная летит (что то за премена)
Слава носящая ветвь финика зелена.
Невянущий лавр главу у ней окружает,
Знак победу таковый токмо украшает. [70]

Стихи Витынского Тредиаковский не только подправлял и способствовал их появлению в печати, но и считал нужным пропагандировать, очевидно, не совсем бескорыстно, имея в виду присвоить себе некоторую долю славы своего последователя, именно, как учитель и зачинатель. Так, в письме к кн. А. Д. Кантемиру от 16/27 мая 1743 г. Тредиаковский упоминает о посылке листка со стихотворением Витынского и о своем ответе Витынскому, пересланном Кантемиру для ознакомления и отсылки харьковскому поэту. [71]

Но Витынский был не одинок. [72] В 1740 г. некий Петр Суворов, каптенармус Измайловского полка, издает «Песнь торжественную о состоявшейся оружия тишине», не дошедшую до нашего времени и известную только по имени. Не может быть сомнений, что эта «Песнь» также принадлежит последователю Тредиаковского. [73]

Последователи Тредиаковского объявлялись в сороковые годы в разных местах России: были они в Вологде, были в Киеве, в Троицко-сергиевской лавре и даже за рубежом, во Львове.

В статье «Неизвестные подражатели кн. А. Д. Кантемира» [74] В. Н. Перетц приводит два таких стихотворения: во-первых, «Сатиру на скупого человека, сочиненную героическими русскими шестистопными стихами»:

Что так, друже, смутен стал, в знаках весь печали.
С брюхом отчего глаза так глубоко впали.
Где цветуща красота, очей нежны взгляды,
Что печален, смутен весь, без всякой отрады[75] и т. д.

Во-вторых, сатира на болтуна, точнее, упражнение в стихах на тему (Кто не умеет молчать, не умеет и говорить):

Пусть природа остротой ум твой одарила,
Пусть всю красоту свою в тебе истощила.
Пусть языком мнения в мелки делишь части,
Описуешь протчих всех пороки и страсти,
Пусть твой ум науками выяснен доволно,
Всяк могл б о тебе сказать, хоть кому как полно,
Но когда обуздовать не можешь языка
И когда он над тобой, а не ты владыка [76] и т. д.

Подражатели Тредиаковского нашлись и в Киеве. Так, в рукописи 1746 г. «Cursus philosophicus», написанной в Киево-могило-заборовской академии и находившейся затем в библиотеке Иркутской духовной семинарии (сейчас это собрание передано в библиотеку Иркутского университета) есть тонические стихи, начинающиеся так:

Ах, толь человек слеп есть, на̀предь не взирая,
Яко и не чает зол, разве видит кая [77]

Можно предположить, что и приводимая В. Н. Перетцом в цитированной статье также киевская сатира на пьяниц по замыслу автора должна была быть выдержана в «героическом эксаметре», но после первых строк, где это с трудом удавалось неизвестному поэту, он оставил свою попытку и перешел на обычный силлабический тринадцатисложник:

Человече, усмотри и вразуми спешно,
Не вжасайся, глаголи сие дело грешно,
Яко грешный человек, имеяше крепость,
Тверд великую себе, вражию свирепость,
Иже именем своим от человек бяше.
Нарицаемый Бахус; сий хотя слышаше [78] и т. д.

В 1744 г. при посещении Елизаветой Троицко-сергиевской лавры она была приветствована стихами на русском, латинском и славянском языках. Русские стихи также были написаны по правилам Тредиаковского.

Кую радость ныне наш Радонеж имеет,
Точно не явит перо, слово не довлеет.
Разве бы уста сердцам, и язык был данный.
Лучше бы сказать могли, день тот коль желанный.
День тот, в оньже к нам грядет, к нам грядет мать наша!
Юже мысли и сердца всех давно желаша.
С ней и Петр, доброта всех, к нам грядет поспешно,
Жребий нам се свыше дан, нам дан коль утешно! [79]

Для характеристики языка этих приветственных стихов не лишне привести еще один отрывок:

Аггелов четыри, суть стран четырех стражи,
На Россию помысл те разрушают вражий...
Аггел посреде, храняй от навета вредна,
Собственно Елисавет и Петра наследна.
Мирох Владимир владый, с ним же благородных,
Отраслей его супруг, молятся о сродных
Кавалеров красота Александер чудный,
К вышнему о вас мольбы лиет неоскудны...
Лейбкомпания сия, будет с Вами вечно,
Вас покрыет, вас хранить, станет непресечно. [80]

Вот еще отрывок с политическими намеками на эпоху «бироновщины»:

Что, о славо наших лет! коль в тебе исправно
Кротость, милость к всем твоя, всем гремит преславно.
Может подлинно наш век тя сравнить Эсфире.
Ты отерла слезы нам, соблюла нас в мире,
Всем Аманы нам конец умышляли краткий,
Не един уже стенал Мардохей в Камчатки.
А за что? что верны вси [81] и т. д.

Авторем этих стихов был, повидимому, Феодор Александрович Ляшевецкий, учитель риторики и пиитики в Троицкой семинарии, впоследствии Кирилл, архиепископ Черниговский. [82] Любопытно, однако, что приветствия от учеников написаны были «краткими» стихами, то есть обычным леонинским стихом южно-русских панегиристов:

Днесь Россия зрит благия
дни Петрова века,
Умащенны, упоенны
от меда и млека,
Зрит победы, и вси следы
в вас Петровым равны,
Слово зрело, здраво дело,
ум светл, дух державный, [83]
и т. д.

Очевидно, сам Ляшевецкий счел нужным писать уже в новом стиле, хотя язык его стихов значительно архаичнее, чем язык од и прочих произведений Тредиаковского. Впрочем, вышедшие в том же году «Стихи и канты», написанные по поводу второго посещения Елизаветой лавры, [84] выдержаны в старом стиле. Это наводит на мысль о том, что попытка при-

менить систему Тредиаковского не встретила в соответствующих кругах одобрения и поэтому была оставлена.

Такую же попытку применить новый размер сделал другой представитель приспособлявшейся к условиям дворянского государства церкви, подвизавшийся в качестве поэта киевский иеромонах Михаил Козачинский. В истории русской литературы М. Козачинский, префект семинарии, известен как автор Панегирика в честь посещения Елизаветой Петровной Киево-печерской лавры в 1744 г.[85] Не представляя интереса со стороны художественной или идеологической, М. Козачинский обыкновенно рассматривался исследователями (Н. П. Петров[86], Л. И. Тимофеев[87]) как автор, приноравливавший традиционные «южнорусские» леонинский и обычный тринадцатисложный силлабические стихи к тоническим размерам. Исходили при этом исследователи только из материалов, заключавшихся в упомянутом выше Панегирике, именно — трех «Рифмах» и «Журнале или описании лет Петра Великого». Между тем, Козачинскому принадлежало еще одно сочинение, «Философия Аристотелева по умствованию перипатетиков», изданное, по указанию м. Евгения, в Киеве в 1744 г.,[88] а по Сопикову в 1742 г.[89] На самом деле, это произведение Козачинского не столько философское, сколько опять-таки панегирическое, что видно из подзаголовка его — «о шляхетной енеалогии благородных господ Розумовских»,— было издано, как сказано на последнем листе, во Львове в 1745 г. Повидимому, это издание имел в виду Тредиаковский, когда писал в 1755 г. в «Ежемесячных сочинениях» о «леонинских» стихах, «каковы, и в нынешнее недавное время, сподобились мы читать печатанныи нашим языком не у нас в России, не без смеха впрочем внутреннего составу сему».[90]

«Философия Аристотелева» содержит, кроме прозаических частей, также и стихи. Некоторые из них — традиционных размеров — «леонинские», тринадцатисложник и пр. Но есть здесь и ряд то более, то менее удачных попыток применить «героический российский эксаметр». Нужно, однако, отметить, что М. Козачинский, в отступление от требований «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского, позволял себе, как и цитированная выше киевская рукопись, перед цезурой применять не усеченный хорей, а дактиль; этот прием применял он очень часто.

Стихи подобного рода поставлены, кстати, в начале книги, позднее они сменяются обычными размерами; не потому ли, что Козачинский чувствовал, что ему не вполне удалось овладеть новым размером. Вот образцы этих стихов, печатающихся ниже с передачей курсивом ударений, проставленных в оригинале:

Благор*о*дие списк*а* добродетель равну
Паче благор*о*дия род*и*тельска сл*а*вну

С пр*о*ста мн*о*зы сказуют людей и их пр*а*вы,
Как*и*е был*и* спрежде, зак*о*н и уст*а*вы.
Ч*и*слят поб*е*ды, гербы; прежних вир*а*жают
За чт*о* мн*о*зы простачк*ы* хвалич*и* быв*а*ют.

Имеем мы *и*стие пр*а*ведни д*о*воды
От ко*и*х род*и*телей произийшлы в р*о*ды.[91]

В той же манере написаны «На преславный герб благородных господ Розумовских стихи»:

Яко зл*а*то людием, ил*и* во горн*и*ле
Огнем искуш*а*ется, т*а*ко в р*а*вной с*и*ле
Добродетелей проба Розумов быв*а*ет
Егд*а* сю*д*у, и сю*д*у стрел*а* щ*и*т пронз*а*ет[92] и т. д.

Наконец в «Доводе первом о линии благородных господ Розумовских», сплошь написанном в том же размере, стремление выдержать «эксаметр» особенно отчетливо: встречаются явные искажения языка в угоду размеру:

Любоп*и*тному не так скорб и жал безмерный
Как сему, кто жел*а*тел, да еще ж и верный
Имеется, что вр*е*мя в ск*о*рости сне*д*ает
Старобытние вещи, и след загл*а*ждает.
Не за много лет *я*ко, но *о*чень за м*а*ло
За ед*и*но сто сказ*а*ть (буди бы дост*а*ло
И се *е*ще щ*а*стие кому получ*и*ти
Даб*ы* сто лет в свете сем можно п о п о ж *и* т и)
Як*о*е им*я* отц*а* был*о*, едва м*о*же
И сын родный припомнеть, а другиіі никт*о* же.[93]

Не останавливаясь далее на «Философии Аристотелевой» Козачинского, можно все же отметить, сопоставляя его опыт применения нового размера с аналогичной попыткой Ляшевец-

кого, что как у названных двух авторов, так и у более раннего последователя Тредиаковского С. Витынского, результаты получаются мало удовлетворительные, и за новым «героическим российским эксаметром» сплошь и рядом выглядывает старинный тринадцатисложник. Однако пройти мимо этих исканий нельзя: мало ценные в историко-литературном отношении, совсем ничтожные в художественном, опыты эти представляют значительный интерес, как памятник приспособления церковных пиит к условиям «нового феодализма», к условиям чиновничьи-дворянского государства.

Гораздо успешнее оказались дворянские последователи Тредиаковского. Подражатели ему нашлись и среди «песнописцов»,[94] поэтическое творчество которых развивалось в конце 40-х и начале 50-х годов. В чулковском песеннике есть ряд стихотворений — песен, написанных «героическим российским эксаметром» и представляющих, повидимому, продукцию последователей Тредиаковского. Вот одна из таких песенок, написанная довольно чистым языком:

Хочешь мною ты владеть, я тебе подвластна,
Без тебя я и сама так, как ты, нещастна.
Без тебя мне уже нет, нет нигде покою,
Пастушок [мой] дорогой, будь всегда со мною.

При тебе милее мне красных дней ненастье,
Быть с тобою завсегда, все мое в том щастье.
На тебя как я смотрю, всем тогда довольна,
Но тобою веселясь, стала, ах, невольна.

Не жалею о себе, о тебе вздыхаю;
Вижу, что ты страждешь сам, как и я страдаю.
Разрывая грудь свою страстью нам полезной
Будем жити мы с тобой, пастушек любезной.[95]

Повидимому, приведенными материалами далеко не исчерпывается круг подражателей Тредиаковского и репертуар их произведений. Как бы то ни было, и приведенное с достаточной отчетливостью говорит о том, что Тредиаковский был не одиночкой, а представлял явление значительное и выступил опять-таки не в качестве одиночки, а как личность, возглавлявшая целое движение. Тем больший интерес приобретают его литературно-теоретические взгляды, к рассмотрению которых надлежит сейчас обратиться.

Если за Тредиаковским как поэтом укрепилась очень скверная, хотя и не вполне заслуженная репутация, то о его литературно-теоретических работах со времени Пушкина [96] сложилось, наоборот, скорее преувеличенно-высокое мнение. Несомненно, заслуги Тредиаковского перед русской поэзией исключительно велики, вклад его в разработку стихосложения, литературного языка, расширение репертуара переводной литературы значителен, но, при всем том, у него нет той глубины и математической ясности, которая характеризует аналогичные работы Ломоносова. Тредиаковский во всем остается фигурой противоречивой, неустойчивой, склонной к гротеску. Он, несмотря на свой европеизм, на свою огромную культуру, на исключительную эрудицию и чисто бенедиктинское трудолюбие, остается каким-то, говоря его же словами, «диковатым».

Сопоставляя литературно-теоретические взгляды Ломоносова со взглядами Тредиаковского, нельзя не отметить того характерного обстоятельства, что художественная система Ломоносова, сложившаяся к началу 40-х гг. XVIII в., в дальнейшем почти не обнаруживает признаков развития, тогда как позиции Тредиаковского в целом ряде вопросов менялись и нередко очень значительно. Таково, например, отношение Тредиаковского к проблеме языка, к отдельным вопросам версификации и орфографии и т. д. Впрочем, в ряде вопросов, повидимому, тех, которые он считал основными и существеннейшими, позиция его оставалась неизменной от начала и до конца, он охотно возвращается к одним и тем же проблемам, нередко формулирует их почти в одинаковых выражениях и любовно нанизывает детали по отдельным частным и далеко не основным вопросам.

В отличие от Ломоносова Тредиаковский чрезвычайно много писал по вопросам теории литературы и литературного языка.

Предпринимая какой-нибудь перевод, например, «Езды в остров любви», поэмы Джона Барклая «Аргенида», комедии Теренция «Евнух», Тредиаковский предпосылает своим переводам обстоятельные предисловия «К читателю» или «Предуведомление от трудившегося в переводе», в которых всегда поднимает ряд принципиальных вопросов и предлагает свои, нередко любопытные, решения. Он всегда опирается на мнения авторитетов — античных теоретиков литературы (Аристотель, Гораций, Квинтилиан, отчасти Цицерон), еще чаще на авторов нового

времени, преимущественно французов — Буало, Рапена, Брюмуа, в особенности Ролена.

Касаясь какой-либо литературной или языковой проблемы — жанра (оды, комедии, эпопеи), системы версификации, орфографии, — Тредиаковский всегда дает обзор истории вопроса, и, таким образом, стремится поставить изучение его на рельсы исторического, а не умозрительного анализа.

При всем том он неутомимый искатель, исследователь, экспериментатор, — в области языка, в области стихосложения, в области орфографии. Многое его не удовлетворяет, и он отбрасывает первоначальные опыты, переходя нередко к точкам зрения, против которых сам ранее выступал. В особенности заметно сказалось это на позиции Тредиаковского в вопросе о литературном языке.

В 1730-х годах Тредиаковский начал свою деятельность с отрицания традиционного литературного языка той эпохи, условного славяно-русского «диалекта». Позиция его в этом вопросе в «Езде в остров любви» была показана выше как в теоретической части (предисловие), так и в практике перевода. Но не только в тридцатые годы XVIII в. стоял Тредиаковский на этой точке зрения: еще в начале 40-х годов он продолжал занимать ту же позицию. По поводу своего ненапечатанного «Слова о терпении и нетерпеливости» он писал, что оно сочинено «притом и для сего дабы самым делом показать, что истинное витийство может состоять одним нашим употребительным языком, не употребляя мнимо высокого славянского сочинения». [97]

В соответствии с этим, отмечая в «Речи к членам Российского собрания» (1735), что этому учреждению «вручается, чтоб, по скольку возможно, в совершенство приводить наш язык», [98] он указывает источники для обогащения словаря: это исключительно языковая практика высших слоев общества, «употребление»: «Украсит оной [т. е. язык] в нас двор ея величества в слове наиучтивейший, и богатством наивеликолепнейший. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшие ея Министры, и премудрейшие Священноначальники, из которых многие, вам и мне известные, у нас таковы, что нам за господствующее правило можно бы их взять было в Грамматику, и за наикраснейший пример в Реторику. Научит нас и знатнейшее и искуснейшее дворянство. Утвердит оной нам и собственное о нем рассуждение, и восприятое от всех разум-

ных употребление». [99] Набрасывая далее программу занятий Российского собрания, Тредиаковский перечисляет разделы предстоящих работ — это грамматика, риторика, пиитика; создание их хотя и представляет трудность, но она «не из таковых, чтоб не возмогла быть преодоленна». [100] Однако, есть раздел, особенно его беспокоящий: «Вся трудность состоит в дикционарие». [101] Убеждая своих слушателей в том, что наличие словарей на других языках является достаточным доказательством того, что и эта трудность может быть преодолена, Тредиаковский, упомянув попутно о переводах, заключает, что «труд, труд прилежный все побеждает». [102]

Итак, труд, с одной стороны, и «употребление», т. е. языковая практика высших слоев общества, с другой, являются для Тредиаковского условиями создания нового литературного языка. Говоря о «министрах» Анны Ивановны и «священноначальниках», Тредиаковский имел в виду, конечно, конкретные личности, повидимому, Артемия Волынского и его кружок, [103] а также и Феофана Прокоповича, считавшегося лучшим духовным оратором того времени и, вместе с тем, обмирщавшего язык своих проповедей и писаний. [104]

В 1752 г. в перепечатке «Речи к членам Российского собрания» Тредиаковский поясняет свое понимание термина «употребление»: «Не может, — говорит он, — общее, красное, и пишемое обыкновение не на разуме быть основано, хотя коль ни твердится употребление, без точныя идеи об употреблении». [105] То есть, он полагает, что языковая практика («употребление»), хотя и не осознающая себя как языковая практика («без точныя идеи об употреблении»), освящается тем, что она не может не иметь рационального обоснования. Однако, как ученый, обслуживающий верхи дворянского государства, Тредиаковский ограничивает «общее, красное, и пишемое обыкновение» только придворно-аристократической сферой.

К вопросу о роли двора в языковой практике возвращается Тредиаковский в «Письме некоего россиянина к своему другу»; он говорит о возложенном на Российское собрание поручении создать грамматику, «каковая должна быть основана на наилучшем употреблении двора и людей искусных». [106] Тут же и сообщает, что для собрания словарных материалов выделено особое лицо, которое, бывая в разных местах, находит технические термины, свойственные каждому искусству и науке.

Однако от этой ставки на языковое «употребление» в дальнейшем Тредиаковский отходит. Перепечатывая в 1752 г. эту самую «Речь» 1735 г., он подвергает ее систематической обработке, и как раз в сторону от языкового «употребления». Сопоставление текстов «Речи» по изд. 1735 г. и по перепечатке 1752 г. показывает, что в последнем случае Тредиаковский сознательно славянизировал и архаизировал свой язык, во всяком случае изгоняя из него элементы «просторечия». Вот примеры:

Изд. 1735 г.	Изд. 1752 г.
Польза даст способ и прославить, и его ублажить (стр. 4)	...и прославить, и почтить его прилично (т. II, стр. 8).
к славе Российской... (там же)	...к славе Росской... (там же)
...пред мои представляют очи... (там же)	...мысленному зрению моему представляют... (там же)
...вношу уже ту любезну, прибыточну, честну... (там же)	...вношу ее уже любезну, плодоносну, похвальну... (там же)
...и по которой от меня... (там же)	...и по коей от меня... (там же)
...толь мало тупости моего... (стр. 5)	толь мало с тупостью моего ума сходственна... (там же)
..вашего сообщества, которого токмо таковой быть может достоин... (там же)	...вашего содружества, которого токмо такой быть достоин может... (стр. 9)
...Однако, с стороны разума... (там же)	...Впрочем, что до разума (там же)
...нахожуся ниже... всячески потщуся... (там же)	...нахожусь ниже.. всячески постараюсь... (там же)
...не будет никаковыя отговорки... (там же)	...не будет отнюд отречения... (там же)
...требовать от меня будет... (там же)	...взыскивать с меня будет (там же)
...достойным меня несколько быть вашего общества найдет... (стр. 6)	...несколько меня достойным изобрящет вашего сообщества (там же)
..не о едином тут... (там же)	...Не об одном здесь... (там же)
..которые прежде вас трудилися в том, и вам самим, которые ныне трудятся... (там же)	..которые прежде вас трудились в том, и вам самим, кои упражняетесь ныне (стр. 10)
...о Грамматике доброй и исправной, согласной мудрых употреблению, и основанной на оном... (там же)	.. согласной во всем мудрых употреблению, и основанной на том... (там же)
...много есть нужды... (там же)	.много потребности... (там же)
...о дикционарие..., который в имеющих трудиться вас... (там же)	...о лексиконе..., кой в вас... (там же)
...один все хотя вскатить... (стр. 7)	..один токмо хотя вскатить...(там же)
..что все чрез меру... (там же)	..а сие все безмерно... (там же)

В особенности сказывается поворот Тредиаковского от «простого русского слова, то есть каковым мы меж собою говорим» в сторону «глубокословныя славенщизны» в критической статье о Сумарокове, озаглавленной «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол» (1750).[107] Он всячески упрекает Сумарокова в незнании славянского языка, демонстрируя на десятках примеров отступления от славяно-русской грамматики, настаивая на том, что в оде должно удаляться «обыкновенных народных речей» и, издеваясь над своим противником, что «у Автора и сельское употребление есть правильное и красное».[108] Отмечая, что Сумароков «многие речи составляет подлым употреблением»,[109] Тредиаковский утверждает, что «толикие недостатки, и толь многие как в речах порознь, так и вообще в сочинении, проистекают из первого и главнейшего сего источника, именнож, что не имел в малолетстве своем Автор довольного чтения наших церковных книг; и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к правильному составу речей между собою».[110]

Таким образом, от идеи «употребления», основанного на разуме, Тредиаковский переходит к пропаганде ранее отрицавшейся им «славенщизны» и тезису о необходимости чтения «церковных книг».[111]

Проблема языка представляла для Тредиаковского явление не только, а может быть, и не столько теоретического, сколько практического порядка. Не случайно в «Речи к членам Российского собрания» 1735 г. Тредиаковский от «дикционария» сразу переходит к вопросу о переводах. Для его эпохи и для специальных целей Академии Наук проблема языка — это прежде всего была проблема приспособления русской литературной речи к усвоению богатств европейской дворянской и отчасти буржуазной культуры, которую жадно усваивали верхи русского дворянства аннинского и елизаветинского времени, то-есть, проблема перевода. Не даром Тредиаковский еще в предисловии «К читателю» в «Езде в остров любви» останавливается на вопросе о переводах и переводчиках». Для него «переводчик от творца только что имяном разнится», „ежели творец замысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть». «А буде кто тому неверит, — прибавляет Тредиаковский, — тому я способно могу доказать Математическим Методом, что я правду сказал».[112]

В дальнейшем он неоднократно возвращается к проблеме перевода. Он сознает, что «перевод, хотя и труден, но бывает, хотя скучен, но к окончанию приходит» («Речь» 1735).[113] По его словам, «переводчик дышет, чтобы так сказать, токмо что Авторовой душою» («Аргенида»).[114] Размышляя над проблемой перевода, Тредиаковский в предисловии «К читателю» в своих «Сочинениях и переводах» 1752 г. предлагает «Главнейшие Критерии, то есть неложные знаки доброго переводу стихами с Стихов».[115] Критерии эти сводятся к следующему: «надобно, чтоб Переводчик изобразил весь разум содержащийся в каждом Стихе; чтоб не опустил силы находящияся в каждом же; чтоб тож самое дал движение переводному своему, какое и в подлинном, чтоб сочинил оный в подобной же ясности и способности; чтоб слова были свойственны мыслям; чтоб они не были барбарисмом опорочены; чтоб Грамматическое сочинение было исправное, без Солецисмов, и как между Идеями, так и между словами без прекословий; чтобы на конец состав Стиха во всем был правилен, так называемых Затычек, или пустых бы добавок не было; гладкость бы везде была; вольностей бы мало было, ежели невозможно без них обойтись; и сколько возможно чащеб богатая Рифма звенела полубогатыя, без наималейшего повреждения смыслу; и ежели находятся еще какие поспешествующие доброте перевода. Впрочем, — заключает этот раздел Тредиаковский, — к сему не всеконечно требуется, чтоб в переводе быть тем же самым словам, и стольким же; сие многократно, и почти всегда, есть выше человеческих сил; но чтоб были токмо равномернее, и конечно, с теми самыми Идеями».[116]

Из этой пространной цитаты явствует, как основательно и всесторонне обдумывал Тредиаковский проблему языка в качестве средства перевода. Поэтому и удалось ему в «Слове о мудрости, благоразумии, и добродетели»[117] дать прекрасные образцы русской философской терминологии, во многом удержавшейся и до наших дней, но в основе своей — переводной.

Но деятельность Тредиаковского как переводчика, хотя он и ставил ее высоко, все же, повидимому, меньше его привлекала, нежели самостоятельные работы литературного характера. В «Известии читателю» («Езда в остров любви»), он, предлагая «несколько стихов своей работы», пишет: «ежели, охотливый читателю, оные [стихи] вам покажутся [т. е. по-

нравятся], то обещаюся и другими со временем увеселять, а буде непонравятся, то я вовсе замолчю, и больше вам скучить не буду».[118] Поэтическая деятельность нового поэта пришлась, очевидно, по вкусу «охотливому читателю», и, продолжая свои занятия стихотворством, Тредиаковский, склонный к анализу, поискам и эксперименту, стал под несомненно сильным воздействием академических поэтов-немцев нащупывать пути к созданию тонического стихосложения.

В 1735 г. он издает «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». В обращении во «всем высокопочтеннейшим особам в российском стихотворстве искуснейшим и в том охотно упражняющимся» он уже подчеркивает, что предлагает «несколько Стихов здесь до ныне в России не виданных»[119] и высказывает убеждение, что «не не полезен правилами своими быть уповает».[120] Теория Тредиаковского, как известно, сыграла крупную роль в развитии тонического стихосложения, но претерпела заметные изменения при этом. Эти изменения сказались и на самом Тредиаковском. Так, например, он в «Новом способе» 1735 г. возражал против ямбического стиха как несвойственного русскому языку; в дальнейшем Тредиаковский не только отказался от этой точки зрения, но даже многократно сам применял в своей практике ямбы. Затем в «Новом способе» 1735 г. он принимал рифму без всяких оговорок как нечто данное и не вызывающее сомнений. «Рифма — пишет он — наибольшую красоту наших Стихов делает», она «нечто нуждное».[121] Позднее же он применяет белый стих (в переводе «Аргениды») и мотивирует это принципиальными соображениями: «Привыкшие, к рифме, да благоволят быть уведомлены, что она есть игрушка, выдуманная в Го̀тические времена, и всеконечно постороннее есть украшение стихам. Простых наших людей песни все без рифмы, хотя идут то Хореем, то Иамбом, то Анапестом, то Дактилем; а сие доказывает, что коренная наша Поэзия была без рифм, и что она Тоническая» («Аргенида»).[122] В том же «Новом способе» 1735 г. Тредиаковский восставал против сочетания стихов, то есть смены стихов с женской и мужеской рифмой. Он приводит в данном случае сравнение, которое впоследствии служило объектом издевательств со стороны Ломоносова.[123] В предуведомлении же к «Аргениде» он откровенно указывает, что применяет попеременно женскую и мужескую рифму, и заявляет: «Не могу не признаться, сердце мое

тем Сочетанием несказанно любуется, всем прочим оставляя, каждому из них, свое чувствие. [124]

Таким образом, в целом ряде пунктов Тредиаковский-теоретик был побежден литературной практикой своей эпохи. Это показывает, что пресловутый педантизм и упрямство Тредиаковского преувеличены, что, наоборот, он очень живо откликался на различные новые явления в области русской поэзии. Не однократно возвращаясь к изложению своей системы русского стихосложения, подвергая ее различным поправкам, дополнениям и уточнениям, иногда совсем видоизменяя ее, Тредиаковский все же не скрывал ни от себя, ни от читателей, что «которая система простле, та и лучше; довольно трудности — поясняет он — при стихах и от сыскания мыслей» («Аргенида). [125] К этой идее он часто возвращается. «Стих дело не великое, — пишет он там же, — а пиит в человечестве есть нечто реткое» [125] Для него «прямое понятие о Поэзии есть не то, чтоб Стихи составлять, но чтоб творить, вымышлять и подражать» («Мнение о начале поэзии и стихов вообще»). «Иное есть Поэзия, а иное со всем Стихосложение» (там же). [127] Считая, что поэзия есть «внутреннее», а стих «токмо наружное», Тредиаковский, вместе с тем, подчеркивает, что «стих есть человеческое изобретение в различие обыкновенному их слову» (там же). [128]

В соответствии со своим склонным к историзму мышлением, Тредиаковский пытается, опираясь, впрочем, на работы западных авторов, объяснить как происхождение поэзии, так и зарождение стихов. Начало первой он, ссылаясь на авторитет античных философов и поэтов, а также и учителей церкви, выводит с небес. [129] Зато происхождение стиха он связывает с земными источниками и, что весьма характерно, с социальными причинами. Нестроения первобытного жития, — указывает Тредиаковский, — вынуждали «разумнейших» «совокуплять» враждовавшие друг с другом «фамилии» „в едино Общество“. При меняя при этом «слово, и слово еще такое, которое было б совокупно и сильно, и сладосно», организаторы общества, «политики» натолкнулись на «различение в речениях долгих и кратких слогов, меряющихся Временем, при их Ударении возвышением звона; а через то на некоторый немерный род Стихов». [130] В «Рассуждении о комедии вообще» (1751) Тредиаковский рисует эволюцию античной комедии опять-таки, в связи с политическими обстоятельствами. С очевидной симпатией



В. К. Тредиаковский.

характеризует он, впрочем, опираясь на исследование иезуита Брюмуа о греческом театре, так называемую «старую» комедию. «В области, где народ был властелином, и обличал все, что имело вид Честолюбия, Огменности, и Плутовства, Комедия зделала себя Провозвесницею, Исправительницею, и такою Советницею, которая способно могла прекланять Народ. Не-было никому пощады в городе толь вольном, или лучше своевольном, каков был Афины. Полководцы, Градоначальники, Правление, Самые их боги, все было предано Сатирической желчи Пиитов; да и все сие было заблаго приемлемо, только б Комедия была забавна, и приправлена Аттическою солию».[131]

Переходя к изображению «средней» комедии, Тредиаковский объясняет ее характер новой политической обстановкой, новыми социальными условиями. «Демократия уничтожена, народ ее не имел больше участия в Правлении; не мог уже он давать своих мнений о государственных делах, и не смел оглашать ни сам собою, ни услугою Пиитов дела своих Господ. Итак, зделалось запрещение, чтоб никого не называть на Театре прямым именем. Но хитрость Пиитическая нашла способ прехищрять силу устава».[132]

Точно так же излагается Тредиаковским судьба «новой» аттической комедии. Иными словами, он ставит развитие литературных жанров и литературы в целом в зависимость от политического момента. Взгляд его на эволюцию поэзии в общем безотрадный. Не имея возможности прямо высказать свою мысль, Тредиаковский изъясняется окольным путем. В статье «Письмо к приятелю о нынешней гражданству пользы от поэзии», Тредиаковский противополагает древнюю пользу от поэзии пользе нынешней. «Сия многодельная должность Стихов в Древности, и получаемая тогда от них несказанная польза, былаб и в наши времена равныя важности толикогож почтения; ежелиб не отняты у Поэзии были все оныя толь высокие преимущества».[133] Не поясняя, кем отняты «толь высокие преимущества Поэзии», Тредиаковский, как бы полагая, что читатель, знакомый с его методом историко-политической интерпретации развития литературы, сам найдет ответ, не данный им, — приходит к констатированию печального факта: «Прежде Стихи были нужное и полезное дело; а ныне утешная и веселая забава; да к тому ж плод богатого мечтания к заслужению не того вещественного награждения, которое есть нужно к пре-

провождению жизни, но такова воздания, кое часто есть пустая, и скоро забываемая похвала и слава».[134] Маскируя этот безотрадный вывод ссылкой на то, что эпические произведения о подвигах монархов представляют известное оправдание поэзии в новое время, Тредиаковский, впрочем, тут же прибавляет, что «чаятельно, и сие толь важное дело возьмет на себя История [т. е., проза]».[135] В конце концов он доносит «прямо, как обстоятельства времен советуют, что нет поистине ни самыя большия в них [стихах] нужды, ни от них всемерно знатныя пользы».[136] И тут Тредиаковский неожиданно прибавляет: «Однако и притом утверждаю, что они надобны, и надобны по скольку между науками украшающими разум и слово, по скольку между отгоняющими всякую воздушную обиду, или правее, между защищающими от оныя поселянскими хижинами, покойные, красные, и великолепные знаменитых и пресловутых городов палаты; или уже, потолику между Учениями словесными надобны Стихи, поколику Фрукты и Конфекты на богатый стол по твердых кушаниях»[137] Эту мысль, почти в тех же выражениях, повторяет он в предуведомлении к «Аргениде»; хваля прозу Барклая, Тредиаковский пишет: «Читатели больше в нем сладости имеют от прозы, так что многие из них небольшие его стишки, хотя они как бутто вместо конфектов представлены, пропускают».[138]

Таким образом, традиционное мнение о том, как невысоко ценил поэзию Тредиаковский, следует решительно отвергнуть: видя подчиненное и униженное положение поэзии, придатка придворного этикета в дворянском самодержавном государстве, Тредиаковский естественно давал ей «прямую» цену. Но, вместе с тем, он утверждал, что «Стих дело не великое, а Пиит в человечестве есть нечто реткое».[139]

Для Тредиаковского совершенно очевидно, что у каждого писателя свой индивидуальный стиль: «Каждый автор свой собственный характер сочинения имеет, который токмо в сем долженствует быть согласен, чтоб был по природе того языка, которым кто пишет» («Аргенида»).[140]

Задаваясь вопросом о критерии художественности, Тредиаковский переносит рассмотрение проблемы в плоскость суждений о красоте стиля: «Прежде надобно определить, в чем состоит природная красота стиля. А по моему, — отвечает он, — после многих мудрых мужей, прямая там красота, где точно

все части между собою пропорциональны, и где они прилично соединены и расположены; так что всяк, видя ту вещь, не может не сказать, что она хороша».[141]

Такое суждение о красоте стиля находится у Тредиаковского в полном соответствии с его пониманием сущности поэзии, которую он расчленяет на творение, вымышление и подражание. «Творение есть, — поясняет он, — расположение вещей после оных избрания»;[142] т. е. исходным пунктом для него является внешний, реальный мир, из него берутся вещи, и творчество заключается именно в организации (расположении) взятого из природы материала. Вымышление — по Тредиаковскому — это есть «изобретение возможностей, то есть не такое представление деяний, каковы они сами в себе, но как они быть могут, или долженствуют».[143] Иначе говоря, вымышление противополагается протокольному воспроизведению действительности («не такое представление деяний, каковы они сами в себе»). Наконец, «подражание, есть следование во всем естеству описанием вещей и дел по вероятности и подобию правде».[144] Опять-таки, беря материал из мира вещественного, но воспроизводя его не в том виде, в каком он дан в природе или обществе, поэт все же должен располагать его так, как если бы этот факт происходил на самом деле, «по вероятности и подобию правде».

Отводя возможные упреки поэту, что он лжец, поскольку творит, вымышляет и подражает, Тредиаковский утверждает: «Творить по Пиитически, есть подражать подобием вещей возможных истинных образу»,[145] т. е. создавать вероподобные ситуации и факты в соответствии с ситуациями и фактами подлинными. Таким образом, Тредиаковский признает существование внешнего, реального мира, законами которого руководствуется поэт в своем творчестве. Признавая внешний мир, то есть становясь на точку зрения, ведущую к материалистической философии, Тредиаковский делает еще один шаг в том же направлении. Разбирая оду Сумарокова (1743), Тредиаковский по поводу стиха:

Как ветер пыль в ничто преводит —

писал следующее: «Здесь соврано против общия Философическия правды. Кто Господина Автора научил, что ветер пыль в ничто преводит? Сим бы способом, по седми тысяч лет от

сотворения света по нашему счислению, давно уже вся земля в ничто была превращена. Ветер пыль только с одного места на другое преводит, а не в ничто обращает: от количества сотворенныя материи, по мнению знатнейших Философов, — заключает Тредиаковский, — ничего не пропадает; но токмо она инде прибавляется, а инде потомуж убавляется». («Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворения, но ныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол» 1750).[146]

Такие рассуждения не были у Тредиаковского случайными обмолвками. Едва ли безосновательно писал о нем Ломоносов в эпиграмме «Зубницкому»:

Безбожник и ханжа...[147]

Не случаен, повидимому, и приводимый П. П. Пекарским эпизод из первых лет жизни Тредиаковского по возвращении из-за границы. Во время посещения им архимандрита Заиконоспасского монастыря в 1731 г. зашел разговор о курсах, прослушанных Тредиаковским в Париже. «И Тредиаковский-де сказывал, что слушал он философию. И по разговорам о объявленной философии во окончании пришло так, яко бы бога нет. И слыша-де о такой отейской [т. е. атеистической] философии... [монахи пришли к заключению]..., что и оный Тредиаковский, по слушанию той философии, может быть во оном не без повреждения. .»[148]

И этот самый Тредиаковский «может быть во оном отействе не без повреждения», печатно выражавший ведущие к материализму взгляды, отзывавшийся о духовенстве как о «сволочи», видевший в развитии литературных фактов историко-политическую, материальную основу, оказывался, в то же время, автором доносов в синод, упрекая своих противников в безбожии и т. д. Противоречивый, неустойчивый, одновременно «безбожник и ханжа», по слову Ломоносова, Тредиаковский и в своей литературной системе сохранял такую же двойственность. Поэзия, как он утверждал, происходит с неба, стих — продукт земных отношений. Эта дуалистическая точка зрения характерна для Тредиаковского во всем, даже в таком вопросе, как «природа стоп». Он неоднократно и настойчиво утверждал, что «никоторая из Стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности; но что все сие зависит от изображений, ко-

торые Стихотворец употребляет в свое сочинение» (Предисловие к «Трем одам парафрастическим псалма 143» 1744).[149] И, вместе с тем, с неменьшей настойчивостью он утверждал, что «Хореический Стих есть сроднее нашему языку»,[150] иными словами, отходит от своих как бы позитивных воззрений и переходит к нормативной точке зрения. Впрочем, в данном случае Тредиаковский ссылался на изучение языкового материала, в частности на изучение «народной словесности».

В несомненную заслугу ему нужно причесть тот исключительный для первой половины XVIII века факт, как интерес к устной словесности. Обращался он к ней не один раз (это показывают эпитеты его стихотворений 1731—1735 гг.) и, повидимому, терпел за это незаслуженные обиды; на эту мысль наводят его замечания в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском»: «Незнающие, и суетно строптивые люди зазирают неосновательно, ежели кто народную старинную Песню приведет токмо в свидетельство на-письме, хотя и с извинением в необходимости, о первоначальном нашем Стихотворении».[151]

Тредиаковский был неудачником и в жизни, и в литературе, и в науке. На него многие и до сих пор смотрят сквозь морозные стекла лажечниковского «Ледяного дома». Но есть и другая опасность, опасность слишком пристрастной положительной оценки. Едва ли нуждается Тредиаковский в подобной не объективной переоценке. И для читателя, и для истории литературы гораздо важнее знать Тредиаковского таким, каким он был: трудолюбивым эрудитом, умело использующим источники, настойчивым экспериментатором, но всегда противоречивым и нецельным.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ДЕБЮТЫ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЛОМОНОСОВА

В то самое время, когда Тредиаковский приобретал общее признание, когда его «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» проникал в далекие от Петербурга пункты, теоретико-литературной новинкой заинтересовался один из студентов Московской славяно-греко-латинской академии, которые были вытребованы по распоряжению «главного коммандира Академии Наук» бар. И. А. Корфа из Москвы в академический университет и прибыли в Петербург в первый день нового 1736 г. По обычаю, кажется, неистребимому среди учащихся, студент расписался на приобретенной книжке и поставил свое имя: «M. Lomonosoff. 1736. Jan. 29. Petropoli» (см. снимок на стр. 55).

Книгу Тредиаковского Ломоносов внимательно и длительно изучал. Принадлежавший ему экземпляр сохранился до наших дней и лишь в очень незначительной степени изучен. [1]

Внимательный анализ пометок и записей Ломоносова на приобретенном им экземпляре трактата Тредиаковского позволяет сделать следующие наблюдения:

Проработка «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» производилась Ломоносовым очень основательно; он не только детально изучал текст, но даже исправил ряд типографских погрешностей, таково, напр., исправление опечатки на стр. 49 в стихе «Отдается, наконец, вихрей тех на волю» (было «Отдается, но конец...»). Впрочем, может быть, сделано это было в соответствии с имеющимся в некоторых экземплярах «Способа» листком «типографских погрешений».

Записи делались Ломоносовым на русском, латинском, немецком и французском языках. Применение последних двух, в особенности немецкого, заставляет предположить, что трактат Тредиаковского прорабатывался Ломоносовым не в один прием, то есть, не только сразу после приобретения книги в начале

1736 г., а и позднее, когда в Марбурге он достаточно овладел немецкой речью. Повидимому, все же пометки эти относятся к 1736—1737 гг. Проработка книги Тредиаковского отмечалась Ломоносовым тремя способами: а) простым подчеркиванием отдельных слов и фраз прямой или волнистой линией; б) заменой текста Тредиаковского своим; в) замечаниями оценочного или иронического содержания (см. снимок на стр. 59).



а

б

Подпись Ломоносова на принадлежавшем ему экземпляре книги «Новый и краткий способ...» Тредиаковского (*а*) и его же надпись на внутренней стороне задней доски переплета (*б*).

Общий характер замечаний и подчеркиваний Ломоносова таков, что какой-то читатель XVIII в., познакомившись с ними, не мог удержаться от того, чтобы не квалифицировать эти пометки так: «Уж так он зол, как пес был адский» (запись на внутренней стороне нижней доски переплета).

Обращаясь к анализу пометок Ломоносова, следует указать, что все эти пометки могут быть сгруппированы в несколько разделов:

а) о языковой стороне работы Тредиаковского;

б) о смысловой стороне отдельных выражений;

в) о самой теории стихосложения Тредиаковского;

г) о фактическом материале, приводимом автором трактата.

Язык

Наблюдения над подчеркиваниями и записями Ломоносова, касающимися языка, позволяют сделать следующие выводы:

а) Систематически проводилось подчеркивание славянизмов и вообще отступлений от языковой практики эпохи в сторону архаизации речи, напр., *надлежит* (стр. 2 ненум.), *посвящаю* (стр. 3 ненум.), *предприемлет* (стр. 1), *ти* (стр. 29, 33, 60), *тя* (стр. 59, 60), *мя* (стр. 41, 49, 53, 54, 55, 57), *такожде* (стр. 48), *токмо* (стр. 49), *тако* (стр. 49), *ибо* (стр. 58, 62 — во втором случае сбоку приписано: «*яко, понеже и то писано*»), *ныне* (стр. 55), *вем* (стр. 53 — иронически прибавлено *веси, весть*), *буде зришь* (стр. 56), *паче* (стр. 56), *бо* (стр. 26, 49 — в последнем случае ироническое прибавление: *свене, бохма*).

В конце книги на внутренней стороне нижней доски переплета имеется относящаяся сюда же заметка Ломоносова: «*NB. Новым словам ненадобно старых окончаниев давать, которые неупотребительны н[а] п[ример] пробуждена in accusativo вместо пробуженово; лутче сказать возбужденна*» (см. снимок на стр. 55).

б) В некоторых случаях делались попытки заменить славянские слова русскими, напр. *на земли* (стр. 12) заменено: *на земле* [у Куника это место — согласно листку «типографских погрешений», — исправлено, равно как и приведенная выше опечатка «*на конец*» и указываемое ниже «*двосложных*»); *должен*, (стр. 25) заменено: *обязан; бо* (стр. 26), заменено *вить* (слева сбоку поставлено: *убо*); *двосложных* (стр. 25) заменено: *двусложных*, *утре* (стр. 26) заменено: *завтра* (сбоку слева поставлено: *во утрие*).

в) Систематически отмечались неправильные ударения; напр. *расширенна* (стр. 33) подчеркнуто и поставлен знак ударения над «*и*» (*расширенна*); *подаренна* (там же) — *подаренна*, *украшенна* (там же) — *украшенна; самыя* (стр. 37) подчеркнуто; *пременится украсится* (стр. 43) подчеркнуто и поставлены знаки ударения* в первом случае на слоге «*ме*», во втором на «*ра*», *на век* (стр. 48) подчеркнуто и над «*на*» поставлено ударение; то же на стр. 49 (подчеркнуто и справа прибавлено: *бока*), *взволнованном;* стр. 52: *медлею—медлею.*

* В настоящем изложении ударенные (Ломоносовым) звуки отмечены, по типографским условиям, постановкой буквы прямого шрифта (среди курсива).

г) Отмечались неологизмы или неупотребительные в обычной практике слова; напр.: *правость* (стр. 2 ненум.), *менится* (стр. 44), *безнадеждие* (стр. 54) — помечено *inusitatum* [*не употребительно*]; *особый* (стр. 60 — прибавлено: *особливый*); почему-то отмечено: *превосходно краски играли* (стр. 56) и сбоку прибавлено: *inusitatum.*

д) Очень часто отмечались неудачные, неупотребительные выражения, напр., неупотребительные формы множественного числа: *востоки* (стр. 49); непоэтичные слова: *гарфы зыку* (стр. 42 — прибавлено: *реву, вереску, писку,*); несочетаемые понятия: *любви в туке* (стр. 49); см. также: *очи льют что явно* (стр. 31) *столь ума вложенна* (стр. 33); *всячески красящих* (стр. 37); *тот балад клал сильно* (стр. 39); *были в том исправны* (там же); *и в любовь удобно* (стр. 44); *нуждно мне есть течи* (стр. 48); *червиям* (стр. 57); *меда нектар чиста* (стр. 61); *трусил Марс* (стр. 77); *превознесет бог Милу* (там же).

Смысловая сторона

а) Неточный смысл:

«Чрез стих разумеется всякая особливо стиховная строка...» стр. 31) — прибавлено: *sc[ilicet] ignis est quaelibet ignea materia* (то-есть: огонь есть какая-либо огненная сущность).

«Обе превосходно в ней краски те [т. е. белизна и румянец] играли» (стр. 56) — сбоку приписано: *белизна не зовется краска.*

«Разум зрел, весьма и тверд, мысльми же высокий» (стр. 57) — прибавлено справа «*nulla idea*» (никакой мысли).

«Зефир... благовонность всю в воздух распущает» (стр. 60) — приписано слева: *Zephyrus n[on] e[st] aer* (зефир — не воздух).

«И торжествовать той [правде], нет дива» (стр. 65) — подчеркнуто прерывистой линией.

б) Неясность или двусмысленность:

«Сокрушения себя быть не зрит в упатке» (стр. 50) — подчеркнуто первое и последнее слово.

«Неповинну мне за что кажешь ты немилость» (стр. 54) — прибавлено: *sensus anceps* [двоякий смысл] и исправлено: *неповинному за что кажешь мне немилость.*

Стихосложение

а) **Подчеркнуты рифмы — слова, происходящие из одного корня:**

Имею — умею (стр. 54 — прибавлено: *бо — убо);* вольно — довольно (стр. 55); благородно — сродно, приятно — внятно (стр. 57); дышет — пышет (стр. 62), прямо — упрямо (стр. 64), известно — вестно (стр. 64 — прибавлено: *ходит — приходит*); станет — перестанет (стр. 75); народы — роды (стр. 76).

б) **Неблагозвучие:**

«Чрез затей» (стр. 50) — подчеркнуты оба *«з»*.

«Красн бы... честн бы» (стр. 59) — подчеркнуты *«снб»* и *«стнб»*.

«Власы соболю подобны» (стр. 56) — первые слова подчеркнуты.

«В жизни всем здесь» (стр. 56) — подчеркнуто и над сочетаниями «зн», «вс» и «зд» поставлены цифры 1, 2, 3.

Рифма «также — слабже» (стр. 50) — подчеркнута, и сбоку приписано *«цоско»*. [2]

в) **Внесение лишних слогов для заполнения стиха** — в таких очень частых случаях Ломоносов подчеркивал соответственную частицу, а иногда приписывал: *«затычка»*; ниже приводятся только эти случаи.

«То не могут и тобой всяко мук избыти» (стр. 31) — «всяко» подчеркнуто и прибавлено сбоку: *«затычка»*;

«Мысли, зря смущенный ум, сами все мятутся» (стр. 53) — «сами все» подчеркнуто, прибавлено: *«затычка»*.

«Нада ровный мне ея возъиметь ум всяко» (стр. 57) — «всяко» подчеркнуто, приписано *«затычка»*.

г) **Инверсия:**

«Чрез Виргилия в стихах князя толь преславна» (стр. 37) — подчеркнуто «в стихах князя».

«В сей падение, в сей звон стопу чрез приятну» (стр. 41) — подчеркнуто и приписано: *«как на гладкой дороге камень»*.

«За родную мя себе иль не признаваешь» (там же) — подчеркнуто «мя» (как архаизм) и «иль не» (как инверсия).

«Так до рифмы стих веду глатку чрез дорогу» (стр. 42) — последние пять слов подчеркнуты.

«Наглость о любви моей толь неутолима» (стр. 55) «наглость» подчеркнуто.

д) **Отношение к версификационной теории** Тредиаковского:

О раза преблагополучна!
О побѣда! О слава звучна!
Пропала уже ложь спесива!
ПРАВДА торжествуетъ извѣстно,
Торжество всюду стало вѣстно;
И торжествовать ТОИ, нѣтъ дива.

* * *

Еще Торжества видны слѣды,
Послѣ преславной той побѣды;
Слѣдуютъ за ПРАВДОЮ многи,
А всѣ добры сердца имѣютъ,
Восклицаніями сипѣютъ,
Провождая ПРАВДУ въ чертоги.

* * *

То весело видѣть всѣмъ было,
То всю радость, то имъ чинило.
Коль горько тогда ЕЙ терпѣти
Отъ лжи велику злость напрасно;
Толь торжество славно и красно,
Радостно нынѣ ПРАВДѢ пѣти.

ДОКА-

Стр. 65 «Нового и краткого способа...» Тредиаковского с пометками Ломоносова.

Против слов: „Сочетание стихов, каково Французы имеют, и всякое иное подобное, в наше стихосложение введено быть не может» (стр. 24) Ломоносов справа написал: *Herculeum argumentum ex Arcadiae stabulo* (Геркулесово доказательство из конюшни в Аркадии). Очевидно здесь Ломоносов имел в виду следующее: подобно тому, как Геркулес доказал на деле возможность очистки авгиевых конюшен, так, его, Ломоносова, стихотворная практика доказывает возможность сочетания стихов на русском языке, то-есть, смены мужской и женской рифмы.

В фразе «Стопа наша есть совокупление двух слогов (либо одного тонически долгого, а другого короткого, и та Стопа есть наилучшая; либо одного короткого, а другого долгого, и та Стопа есть наихудшая)» — последние пять слов подчеркнуты. Надо полагать, уже тогда Ломоносов пришел к выводу о «благородстве» ямб.

Заметки оценочного порядка

а) Пометки, выражающие согласие с Тредиаковским: К словам «тугой лук», «бел шатер» (стр. 18) приписано: «*калена стрела, зеленая дубрава*».

«И буде желается знать, по мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела» (стр. 24) приписано: «По загуменью игуменья идіот, За собою мать черна быка ведіот». Впрочем, последнее может быть и ирония.

б) Выражение несогласия:

«Всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства нашему стиху приличного» (стр. 24) — приписано справа: «*это правда, из тово, что сквозь внутренности проходит*».

Против стихов «Красота весны! Роза о прекрасна! Всей о Госпожа руммяности власна [т. е. настоящая]» (стр. 59 — последнее слово подчеркнуто) Ломоносов приписал: «*Die Rose hat den andern Blumen gar nichts zu befehlen*» (Роза не является повелительницей других цветов).

В том месте, где Тредиаковский приводит сперва начальный стих первой сатиры Кантемира, затем «перемененный» им (стр. 86—87), Ломоносов надписал графическую схему первого стиха и прибавил: «*Честной пентаметер дактилико-хореический*», против слов «а перемененный» — «*а испорченный*».

в) **Оценка** отдельных стихов и оборотов.

К стиху «Не велишь хотя слезам, самовольно льются» (стр. 53) приписано: *Affectatum et frigidum* (аффектировано и холодно).

В стихе «Ах, невинное мое в лютость ту попало» (там же)—надписано: «*ineptum*» (нелепо, пошло).

К стиху «В преглубокую за что вводишь мя унылость» (стр. 54) — «мя» как архаизм подчеркнуто и прибавлено: *Socordia* (оплошность).

Против стиха «Убежавшу проводил, ей кричя словами» (стр. 52) отмечено: «*Monsieur Pléonasme*» (Господин плеоназм).

К стихам «Само цветников солнце, не зарницу» и „Лилеи б молчать с белостью немалой„ (стр. 59) приписано: «*trop las*» (слишком вяло).

«*Изрядно*» приписано к стиху «Восклицаниями сипеют» (стр. 65).

Против стихов «То весело видеть всем было, То всю радость то им чинило» Ломоносов приписал: «*Paraphrasis frigida*» (холодная парафраза).

г) Указание **заимствования**:

О «Мадригале» (стр. 81) Ломоносов заметил на полях: «Переведен из Марциала, только персона и вещь переменены», и далее приводится соответствующий стих римского поэта с указанием, из какой именно книги.

д) **Насмешливые** замечания:

Против стиха «Ей, мой господи! грехи что мои довольны!» (стр. 31)—прибавлено «*Нет еще мало*».

К стихам «А Нейместера, при нем Шмолка толь духовна» (стр. 40) и «Научивши ты сестру толь мою немецку» иронически приписано: «*О! коль!*»

Под фразой «И хоть в них [элегиях] ничего не находится, которое б и малые хвалы достойно было; однако за новость Стиха, и за новость свою самую, несколько приятства к себе у читателей пускай покорно просят» (стр. 47) подписано: «*Willkommen!*» (Милости просим!).

К стихам «О изволь... Ту из сердца вынять всю, в мыслях же оставить!» (стр. 56) прибавлено «*вынь*».

Стих «Илидара здесь жила вся белейша снега» (там же) — вызвал два замечания: к слову «здесь» приписано: «*не здесь*», к слову «вся» — «*а то черно пятно брат было*».

Против слов «Слагателей стихов..., которые не знали в том ни складу, ни ладу» (стр. 89) приписано: «*как ты*».

К стихам «Чудовище... Тремя сверкает языками» (стр. 62) прибавлено: *«с чесноком»*, в слове «языками» над «ы» поставлено ударение.

В том же стихотворении к стихам «Ложь... Вышла вся из ада безденна» (стр. 63) — против слова: «вся» — сделана приписка: *«я думаю, что половина»*.

Против стиха «Задавит тебя [Ложь — правду], мышлю верно» (там же) приписано: *«побожись»*.

К стиху «Та ругает ложно словами» (стр. 64) сделана пометка: *«и за правду»*.

Стих «О раза преблагополучна!» (стр. 65) сопровожден припиской: *«О!!! велелепнейшая оплеуха»* Не намек ли это на «высочайшую оплеушину»?

Две приписки носят печать семинарского остроумия. В том месте, где Тредиаковский сообщает, что едва ли издал бы в свет свои элегии, ежели б, говорит он, «некоторые мои приятели не нашли в них, не знаю, какова, духа Овидиевых элегий» (стр. 46), Ломоносов к подчеркнутому слову «духа» кратко и решительно приписал: *«бзд.ху»*. Против стиха: «Не молчит и правда устами» (стр. 64) — к подчеркнутому «устами» сделана приписка: *«я думаю, что ж..ою»*.

Заканчивая этим рассмотрение пометок и приписок Ломоносова, которые почти полностью были приведены здесь, можно притти к выводу, что уже в эти годы (1736—1737) у марбургского студента сложилось прочное убеждение в возможности применения на русской почве системы немецкой версификации, затем определилась твердая позиция в вопросе о пределах допустимости славянизмов в литературную речь, наконец, оформилось достаточно резкое мнение о труде В. К. Тредиаковского. Некоторые замечания Ломоносов развил позднее более обстоятельно в своей первой теоретико-литературной работе, также относящейся к заграничному периоду его биографии. Об этой статье подробнее будет сказано ниже. Сейчас же, после рассмотрения ранних теоретических суждений Ломоносова, надлежит обратиться к поэтической практике того же периода, от которой, к сожалению, сохранились ничтожные и случайные фрагменты.

В результате критического изучения «Нового способа» Тредиаковского, а также в связи с непосредственным знакомством Ломоносова с лучшими образцами тогдашней немецкой поэзии и

немецкими работами по поэтике (Готшед, 1730) у него сложилось твердое убеждение в ложности системы автора «Способа» и в полной возможности применить на русском языке немецкую версификацию.

Ранние произведения музы Ломоносова сохранились в весьма незначительном объеме, это все фрагменты, вкрапленные в одну из его теоретических работ по стихосложению и в изданные им в сороковых годах «риторики».

Впрочем, и по этим отрывкам можно составить представление о характере поэтической продукции студента Ломоносова.

По тематике это любовная лирика немецких поэтов 1720—1730 гг., то идиллическая, то элегическая. Вот образец идиллии:

Нимфы окол нас кругами
Танцовали поючи,
Всплескиваючи руками,
Нашей искренней любви
Веселяся привечали,
И цветами нас венчали

Сюда же нужно отнести перевод из Анакреона: «Ночною темнотою...»

А вот фрагмент элегической песни, романса:

Весна тепло ведîот,
Приятный Запад веет,
Всю землю солнце греет;
В моем лишь сердца лîод,
Грусть прочь забавы бьiот. [3]

Или:

Уж солнышко спустилось
И село за горой,
И поле окропилось
Вечернею росой.
Я в горькой скуке трачу
Прохладные часы... [4]

Были у молодого Ломоносова и мадригалы:

Одна с Нарциссом мне судьбина.
Однака с ним любовь моя!
Хоть я не сам тоя причина:
Люблю Миртиллу, как себя. [5]

Или:

Чем ты дале прочь отходишь,
Грудь мою жжет большей зной.
Тем прохладу мне наводишь,
Естьли ближе пламень твой. [6]

Приведенные отрывки представляют более или менее законченное целое. Но сохранился ряд отдельных строк, дающих лишь некоторые указания на характер стихотворений, из которых они взяты. Это все та же песенно-любовная лирика.

Цветы, румянец умножайте.[7]

Белеет, будто снег, лицом[8]

Свет мой, знаю, что пылает.[9]

Мне моя не служит доля.[10]

А вот образец из какого-то эпического произведения:

Щастлива красна была весна, все лето приятно
Только мутился песок, лишь белая пена кипела.[11]

Особенный интерес по лексике и образам представляет отрывок какого-то произведения символического характера:

На восходе солнце как зардится,
Вылетает вспыльчиво хищный Всток,
Глаза кровавы, сам вертится
Удара не сносит Север в бок,
Господство дает своему победителю,
Пресильному вод морских возбудителю.
Свои тот зыби на прежни возводит,
Являет полность силы своей,
Что южной страной владеет всей,
Индийски быстро острова проходит.[12]

Здесь уже можно угадать будущего «громкого лирика елизаветина века», но первые образцы поэзии Ломоносова поражают исключительной чистотой языка, совершенно свободного от славянизмов.

В 1738—1739 гг. в поэтической деятельности происходит некоторый отчетливый поворот в сторону одической лирики. Он переводит оду Фенелона «Montagnes de qui l'audace», правда еще хореем.[13]

Находясь в 1739 г. во Фрейберге, Ломоносов приготовил оду на взятие Хотина и прислал ее в Академию Наук, вместе с «Письмом о правилах российского стихотворства», обращенном к членам Российского собрания и содержавшем теоретическое обоснование его, Ломоносова, поэтической практики.[14]

Предметом «Письма» было, по словам Ломоносова, «о нашей версификации вообще рассуждение».[15] Предлагая свою точку

зрения по этому предмету, он должен был коснуться трактата Тредиаковского, с которым был несогласен во многом. Основные расхождения Ломоносова с Тредиаковским в вопросах стихосложения состояли в следующем:

1. В отличие от Тредиаковского, считавшего все односложные слова в стихе долгими, Ломоносов утверждал, что они могут быть и долгими и краткими, что определяется ударением. [16]

2. Согласно теории Тредиаковского, «эксаметр наш не может иметь ни больше, ни меньше тринадцати слогов»; [17] Ломоносов же возражал против того, что «наши гексаметры и все другие стихи .. [хотят] так запереть, чтобы они ни больше ни меньше определенного числа слогов не имели». [18]

3. Далее, Тредиаковский резко порицал ямбический стих: «тот [стих] весьма худ, которой весь иамбы составляют, или большая часть оных»; [19] наоборот, Ломоносов утверждал, что «чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаяся тихо в верьх, материи благородство, великолепие и высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах». [20]

4. Наконец, в противоположность Тредиаковскому, учившему, что правильная рифма в стихах — только женская, и что мужская может быть допускаема только в стихах комических и сатирических, [21] Ломоносов признавал допустимость всяких рифм «мужеских, женских и тригласных [т. е. дактилических]». [22]

Вообще «Письмо» направлено против Тредиаковского не только в теоретической части, оно содержит ряд выпадов против практики Тредиаковского, в частности, в нем указан, как бы мимоходом, источник, из которого Тредиаковский заимствовал, вернее, перевел свою «Оду на взятие Гданска», — именно «Оду на сдачу Намюра» Буало.

«И хотя французы так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, как видно в первой строфе, которую Боало Депрео на здачю Намура сочинил:

Quelle docte et sainte yvresse
Aujourd'hui me fait la loi?
Chastes Nymphes de Permesse etc.

Однако нежные те господа на то не смотря, почти одними рифмами себя довольствуют». [23]

Затем Ломоносов иронизирует над рифмами Тредиаковского: «красовулях — ходулях», употребленными последним в «Эпиграмме на человека, который вышед в честь так начал бы гордиться, что прежних своих равных другов пренебрегал бы»:

Нужды, будь вин жаль, нет мне в красовулях,
Буде ж знаться ты с нискими перестал,
Как к высоким все уже лицам пристал;
Ин к себе притьти позволь на ходулях.[24]

Наконец, Ломоносов смеется над допущенным Тредиаковским образным сравнением «сочетания мужских и женских стихов» с арапом и европейской красавицей: «Таковое сочетание стихов, — пишет Тредиаковский, — так бы у нас мерсское и гнусное было, как бы оное, когда бы кто наипоклоняемую, наинежную и самым цветом младости своея сияющую Эвропскую Красавицу выдал за дряхлого, чорного, и девяносто лет имеющего Арапа».[25]

По этому поводу Ломоносов писал: «Никогда бы мужеская рифма перед женскою не показалася, как дряхлой, черной и девяносто лет старой арап перед наипоклоняемою, наинежною и самым цветом младости сияющею Европейскою красавицею».[26]

Следует отметить, предваряя несколько хронологию, что впоследствии Ломоносов использовал два последних насмешливых выпада против Тредиаковского в своей более поздней стихотворной полемике с творцом «Тилемахиды». Это обстоятельство не лишне запомнить, так как оно может помочь в дальнейшем при анализе некоторых анонимных произведений, в которых можно предположить авторство Ломоносова.

Письмо Ломоносова и в особенности сопровождавшая его «Ода на взятие Хотина» вызвали заметное движение среди петербургских поэтов. Об эпиграмме Сумарокова упоминалось выше. Ответное письмо Тредиаковского до нас не дошло, хотя факт его существования несомненен. Однако, вскоре за тем прибыл в Петербург сам Ломоносов и сразу занял видное место в литературных кругах. Вместо тяжеловесных, «диковатых» од Тредиаковского, к придворным торжествам Академия Наук начинает систематически печатать оды Ломоносова. Равным образом Ломоносову, а не Тредиаковскому, с этого времени поручаются переводы немецких од, подносившихся от имени Академии Наук. Наконец, с осени 1742 г. он начал «обучать в стихотворстве и штиле Российского языка» в академическом университете.[27]

Вообще Ломоносов делается модным поэтом, и Сумароков, еще недавно писавший на него эпиграммы, издает в 1743 г. оду в совершенно ломоносовском духе:

Оставим брани и победы,
Кровавый меч приял покой.
Покойтесь, мирные соседы,
И защищайтесь сей рукой,
Которая единым взмахом
Сильна низвергнуть грады прахом,
Как дерзость свой подъемлет рог,
Пускай Гомер богов умножит
Сия рука их всех низложит
К подножию монарших ног.[28]

В этой оде Сумароков усваивает все важнейшие приемы ломоносовской манеры: четырехстопный ямбический стих, десятистрочную строфу, смену мужских и женских рифм, библеизмы («дерзость свой подъемлет рог»), гиперболические образы и т. п.

Все это не помешало впоследствии Сумарокову отрицать зависимость своего стихосложения от системы Ломоносова.

«Во надгробной надписи г. Ломоносова — говорит Сумароков в «Предисловии» к «Некоторым строфам двух авторов» (1773) — изображено, что он учитель поезии и красноречия: а он никого не учил, и никого не выучил; ибо г. Ломоносова честь... состоит... в одах. Потомки и ево и мои стихи увидят и судить нас будут, или паче письма наши; но потомки могут или должны будут подумати, что и я по сей ему надгробной надписи был ево ученик: а я стихи писал еще тогда, когда г. Ломоносова и имени не слыхала публика. Он же во Германии писати зачал, а я в России, не имея от него не только наставления, но ниже знал его по слуху. Г. Ломоносов меня несколькими летами был постарее; но из того не следует сие, что я ево ученик, о чем я, не трогая ни мало чести сего стихотворца, предуведомляю потомков».[29]

Впрочем, это было значительно позднее: в сороковых годах Сумароков был близок Ломоносову. Об этом он сам неоднократно вспоминал впоследствии. «Г. Ломоносов — пишет Сумароков в предисловии к той же брошюре «Некоторые строфы двух авторов» (1773) — со мною несколько лет имел короткое знакомство и ежедневное обхождение».[30]

Вспоминает Сумароков пору, когда, по его словам, они «с ним [Ломоносовым] были приятели, и ежедневные собеседники,

и друг от друга здравые принимали советы». [31] Повидимому, дружественные эти отношения продолжались до начала 1750-х годов. По крайней мере, так можно заключить из одного места в статье Сумарокова «О правописании». Здесь автор «Хорева» вспоминает время, когда, — говорит он, — «и в Правописании, и в другом касающемся до нашего языка... мы прежде наших участных [личных] ссор и распрей всегда согласны бывали; и... мы друг от друга советы принимали, ругаяся несмысленным писателям, которых тогда еще мало было, и переводу Аргениды». [32] Последнее указание, если только оно отвечает действительности, позволяет уточнить хронологические рамки добрых отношений антагонистов: перевод «Аргениды» Барклая Тредиаковский выпустил в 1751 г.

По всей видимости в только что цитированной записи Сумарокова, хотя она отделена почти четвертью века от времени, которое в ней описывается, противоречий фактических нет. В самом деле, из написанного Тредиаковским предисловия («Для известия») к брошюре «Три оды парафрастические псалма 143 сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждой одну сложил особливо» (1744) явствует, что все три поэта часто встречались около этого времени («Три оды» были сданы в печать в 1743 г.), и что Сумароков в вопросе о характере ямбических и хореических стихов поддерживал Ломоносова против мнения Тредиаковского. В своих отношениях к Ломоносову Сумароков не проявлял в сороковые годы достаточной самостоятельности: в двух эпистолах 1747 г. он ученически повторяет высказанные Ломоносовым мнения. В частности, во многом Сумароков идет тут вслед за Ломоносовым, издавшим в 1744 г. «Краткое руководство к риторике», о которой ниже придется сказать подробнее; так в «Кратком руководстве» проводится мысль о том, что «штиль» в «публичных словах» «должен быть важен, великолепен, силен и, словом, материи, особе и месту приличен». [33] В совершенном соответствии с этим Сумароков писал в «Епистоле о русском языке»:

Слова, которые пред обществом бывают,
Хоть их пером, хотя языком предлагают,
Гораздо должны быть пышняе сложены,
И риторски б красы в них были включены,
Которые в простых словах хоть не обычны,
Но к важности речей потребны и приличны,
Для изъяснения рассудка и страстей,
Чтоб тем входить в сердца, и привлекать людей. [34]

В соответствии с мыслью Ломоносова о том, что «язык, которым российская держава великой части света повелевает, по ее могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает»,[35] Сумароков пишет:

Язык наш сладок, чист и пышен и богат.[36]

Другую епистолу («О стихотворстве») он оканчивает стихом, содержащим ту же идею:

Прекрасный наш язык способен ко всему.[37]

Ему кажется

мысль сия дика,
Что не имеем мы богатства языка.[38]

Наконец, от Ломоносова идет и следующая концепция Сумарокова:

Сердись, что мало книг у нас, и делай пени:
Когда книг русских нет, за кем итти в степени?

. . . .

Имеем сверьх того духовных много книг
Кто винен в том, что ты Псалтыри не постиг,
И бегучи по ней, как в быстром море судно,
С конца в конец раз сто промчался безрассудно.
Коль *аще*, *точию* обычай истребил,
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил.
А что из старины поныне неотменно,
То может быть тобой повсюду положенно.[39]

Не вдаваясь в подробное рассмотрение взглядов Ломоносова на роль славянского элемента в развитии русского литературного языка, так как подробнее об этом будет сказано ниже, сейчас достаточно привести конец § 123 «Краткого руководства к риторике»:

«Стараться должно, чтобы при важности и великолепии своем слово было каждому понятно и вразумительно. И для того надлежит убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но притом не оставлять оных, которые хотя в простых разговорах неупотребительны, однако, знаменование их народу известно».[40]

Конечно, приведенными сопоставлениями не доказывается, что Сумароков во всех этих вопросах зависел от Ломоносова; но это и не нужно: гораздо важнее показать несомненную близость воззрений обоих поэтов в течение сороковых годов XVIII в.

Но можно говорить не только о близости взглядов Сумарокова и Ломоносова. Например, на структуру и характер оды Сумароков в эту пору смотрит глазами Ломоносова и утверждает то, что впоследствии будет отрицать и в теории и на практике:

Гремящий в оде звук, как вихорь слух пронзает,
Хребет Рифейских гор далеко превышает.
В ней молния делит па полы горизонт,
То, верьх высоких гор скрывает бурный понт,
Един гаданьем град от Сфинкса избавляет,
И сильный Геркулес злу Гидру низлагает.
Скамандрины брега богов зовут на брань.
Великий Александр кладет на Персов дань.
Великий Петр свой гром с брегов Бальтийских мещет,
Российский меч во всех концах вселенной блещет.
Творец таких стихов, вскидает всюды взгляд,
Взлетает к небесам, свергается во ад,
И мчася в быстроте во все края вселенны,
Врата и путь везде имеет отворенны. [41]

И поэтому, после такой чисто-ломоносовской оценки оды, понятно, почему, Сумароков в той же епистоле, предлагая воображаемому поэту обратиться к лирическим жанрам, говорит:

возми гремящу Лиру
И с пышным Пиндаром взлетай до небеси,
Иль с Ломоносовым глас громкий возноси:
Он наших стран Малгерб, он Пиндару подобен. [4]

Таково было отношение к Ломоносову в сороковые годы Сумарокова, его будущего противника и вождя враждебной ему литературной группировки. На характеристике этих отношений пришлось остановиться с такой подробностью потому, что здесь имеет место важный факт: оба поэта обслуживали в те годы еще недифференцировавшееся российское дворянство. В начале же пятидесятых годов решительно выдвинулась на политическую арену консолидировавшаяся в это время группа новой знати, возглавлявшаяся Шуваловыми и Воронцовыми и проводившая программу как во внешних, так и во внутренних делах, мало отвечавшую интересам широких масс среднего дворянства. Наличие в те годы двух «дворов» в Петербурге, — Елизаветы и Екатерины, бывшей тогда еще великой княгиней и находившейся в некоторой оппозиции императрице, повлекло за собой

то, что с начала пятидесятых годов среднее дворянство стало группироваться вокруг Екатерины и поддерживавших ее гр. Разумовских. Об этом факте, не касаясь его социальных корней и, очевидно, не догадываясь о них, писал в свое время акад. П. П. Пекарский: «В описываемую эпоху [1753 г.] при дворе Елисаветы уже успели образоваться две партии, одна, более многочисленная и сильная, держалась так называвшегося тогда старого двора, который находился вполне в распоряжении Шуваловых; другая, менее значительная, состояла из приверженцев великой княгини Екатерины Алексеевны и считала своими покровителями графов Разумовских. При чтении тогдашних записок и частных писем не трудно заметить антогонизм между обеими этими партиями и не только между главными их представителями, но и лицами далеко второстепенными. Вследствие ли моды, или действительно была тогда потребность в меценатстве, только и у Шуваловых, и у Разумовских были свои поэты, которым они специально покровительствовали. Первые выпрашивали милости Ломоносову, вторые восхищались и держали в милости Сумарокова. Само собою разумеется, что наши писатели, в подражание своим знатным покровителям, терпеть не могли друг друга; у каждого из них были свои почитатели из незначительных писателей, которые в свою очередь также враждовали между собой по мере своих сил и возможности. Из старческих воспоминаний И. Шувалова, рассказывавшего с простодушным цинизмом, как он потешался, стравливая Ломоносова с Сумароковым, можно легко понять, что эти литературные перепалки служили времяпрепровождением для знатных того времени, и потому они сами нарочно подзадоривали воюющих.» [43]

Таким образом, акад. Пекарский борьбу между Ломоносовым и Сумароковым в пятидесятые годы сводит только к «подражанию знатным покровителям». Однако, совершенно непонятно тогда, почему же именно Ломоносов пошел за Шуваловыми, а Сумароков за Екатериной и Разумовскими, а не наоборот. Между тем, в этом весь центр тяжести вопроса. Не входя в подробности, следует лишь отметить, что Шуваловы и Воронцовы не только поддерживали политику «индустриализации» России, выгодную для крупных землевладельцев, заводивших собственные промышленные предприятия, но и сами энергично перенимали от казны фабрики и заводы, якобы убыточные государству. [44]

Сумароков же был яростным противником насаждения промышленности в России: «В моде ныне суконные заводы; но полезны ли они земледелию. Не только суконные дворянские заводы, но и самые Лионские шелковые ткания, по мнению отличных рассмотрителей Франции, меньше земледелия обогащения приносят. А Россия паче всего на земледелие уповати должна, имея пространные поля, а по пространству земли не весьма довольно поселян, хотя в некоторых местах и со излишеством многонародна. Тамо полезны заводы, где мало земли, и много крестьян».[45]

Если вчитаться в эту аргументацию, ее средне-дворянский, аграрный характер делается совершенно очевидным: Сумароков выражал в отчетливой форме то, что более или менее ясно сознавало среднее помещичье дворянство как свой классовый интерес.

Позиция же Ломоносова в этом вопросе была достаточно определенной еще в сороковые годы; его гимны в честь торговли и промышленности не были просто «заказанным вдохновением», а вытекали из его политико-экономических воззрений, продиктовавших ему на склоне лет знаменитую «записку о размножении российского народа». Таким образом, ориентация Ломоносова на Шуваловых не была случайностью, а вытекала из самой сути его социальной программы.

Но все это определилось к началу пятидесятых годов. В сороковые же годы и Ломоносов и Сумароков в одинаковой мере являлись идеологическими рупорами «чиновничьи-дворянского государства», выразителями того, что Сталин называет «национальным государством помещиков и торговцев».

Для иллюстрации недифференцированности дворянства в конце сороковых годов XVIII в. характерен следующий факт: Н. И. Панин, будущий вождь среднего, поместного дворянства в екатерининскую эпоху, писал в 1748 г. из Стокгольма гр. М. И. Воронцову:

«Ваше сиятельство сообщением оды сочинения господина Ломоносова меня чувствительно одолжить изволили. Есть чем, милостивый государь, в нынешнее время наше отечество поздравить, знатной того опыт оная ода в себе содержит. По моему слабому мнению, сочинителевы мысли с стихотворением [т. е. с поэтическими средствами] равным ступенями в ней идут и едва ли одно перед другими предпочесть возможно".[46]

Это признание средним дворянином Ломоносова выразителем идеологии, перед которой «предпочесть ничего невозможно», может быть понято только, если считать, что в сороковые годы социальная борьба внутри дворянства не размежевала еще «вельможество» и среднее, поместное дворянство.

Возвращаясь к литературной позиции Ломоносова в эти годы, должно отметить, что, кроме Сумарокова, Ломоносову начинают подражать и другие современные поэты, например, Иван Голеневский, который в 1745 г. пишет «Оду на брачное сочетание великого князя Петра Феодоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны», выдержанную вполне в духе Ломоносова, как видно из следующих отрывков:

1

Натура зиждет среди лета
Прекрасный и высокий храм,
Весна где пурпуром одета
Нарциссы сыплет по лугам,
Где Таг волной златою плещет,
Где Ганг с Гидаспом перла мещет,
Где радость всех пленяет зрак;
Не там ли зрю красот Дианну,
С младым героем днесь венчанну
И с ним вступающую в брак.

2

Там бисерны журчат фонтаны
И утешают юных хор,
Цветут пионы и тульпаны,
Пленят левкои светл их взор;
Сапфир, смарагд с ультрамарином
Сияет тамо с кармазыном
При солнечных златых лучах;
В храм, размаринными алейми
Путь услан розами, лилейми,
Любовь в тот в двух спешит сердцах.[47]

Вот вторая строфа из оды Голеневского «На день тезоименитства Елисаветы Петровны 1751 г.»

Титан с востока к нам стремится,
В лазоревый покров одет,
Великолепием гордится
И огнь лучей на землю льет;
Пустил златые колесницы

В восточны радостно границы,
Являя светлый свой поезд;
Ногами топчет мраков праги,
Российские пестреют флаги,
Как небо синее от звезд.[48]

Но, кроме Сумарокова и Голеневского крупных и, главное, выступавших в печати последователей Ломоносова в сороковых годах XVIII в. как будто не было. Можно, например, указать еще анонимные стихи при «Описании фейэрверка 1743 г.», как принадлежащие лицу, отходившему от системы Тредиаковского (героический российский стих) и приближавшемуся к позиции Ломоносова. Но размер этих стихов имеет не органический, а случайный характер и в дальнейшем развитии русской поэзии в 40-е и 50-е, да и более поздние годы XVIII в. не встречается. Вот начало этих стихов:

Утвердительница мира! Славные твои дела!
Если б Петр восстав увидел, как ты славу в плен взяла...[49]

Не исключена, впрочем, возможность, что стихи эти принадлежат самому Тредиаковскому и являются одним из его метротонических опытов, предпринятых, повидимому, уже под влиянием практики Ломоносова.

Таково же анонимное стихотворение, помещенное в № 35 „Санкпетербургских ведомостей“ от 2 мая 1743 г.:

Зри щастие твое, Россия обновленна,
Главою кая днесь короной украшенна.
В сей день, в который ты наследство [вос]прияла
И твой коронный град вторично основала.
Вторично осветив в отеческом престоле,
Взложив на той венец, во век недвижим боле.
Взыграло солнце вновь опять своим восходом,
Отдав твою весну желанную народом.
С надеждою ведет твое преславно племя
Столпов защитный ход в благоприятно время.

Стихотворение это, несмотря на свою тоничность, имеет еще следы старой традиции — насильственные ударения вроде „украше́нна“, сплошную женскую рифму и пр.

К 1744 г. относится перевод французского „Divertissement“, представленного на торжествах по случаю заключения мира с Швецией. Перевод сделан был стихами, четырехстопным и

шестистопным ямбом. Для образца можно привести начало пьески, обращение Аполлона к Миру:

Дражайший Мир' дай жить в покое,
Прийди в убежище драгое
Тебя сюды судьба зовет
И мудрая Елисавет.
Тебя Россия днесь желает,
Победа брани скончевает,
Владеет днесь Елисавет.
Прийди в сие жилище славы,
Внеси веселье и забавы:
Щедрота здесь цветы растит,
Астрея царство обновляет,
Никто в России не вздыхает,
Лишь разве кто в любви грустит.

Перевод этот принадлежит, вероятно, А. В. Олсуфьеву.

Возвращаясь к вопросу о последователях Ломоносова в 40-е годы XVIII в., должно сказать, что вообще материал о поэтах той поры, которым располагает в данное время историк литературы, очень невелик. Так, например, кроме перечисленных выше поэтов, можно назвать еще И. П. Елагина (1728—1795),[50] о котором Ломоносов в 1753 г. писал: «[Елагин] уже больше десяти лет стихи кропать начал».[51] Однако, из поэтической продукции Елагина в сороковые годы ничего неизвестно. Н. И. Новиков указывает, что «в младых своих летах [Елагин] писал весьма изрядные стихотворения, как то: елегии, песни и другое тому подобное; также сатирические письма прозою и стихами, много похваляемые знающими людьми за чистоту стихов и слога, нежность вкуса и хорошее и приятное изображение. Но к великому сожалению сии стихотворении еще не напечатаны; однакож у всех охотников хранятся письменными».[52]

Те же сведения о деятельности Елагина в молодые годы сообщает близко к нему стоявший А. А. Волков: «этот замечательный автор писал уже в юности, с необыкновенным талантом и вкусом, мелкие стихотворения, как то: песни, элегии и т. п., которые все очень хороши».[53]

Приведенные здесь сообщения достаточно хорошо осведомленных Волкова и Новикова представляют значительный интерес, в особенности первое: подчеркивая наличие «у всех охотников» рукописных экземпляров произведений Елагина, составитель «Опыта исторического словаря о российских писателях»,

очевидно, точно знал, что именно в обширной рукописной литературе принадлежало Елагину. Тем больший интерес представляют приводимые им жанровые характеристики произведений Елагина: это элегии, песни и другие тому подобные, а также сатирические письма (т. е. эпистолы и послания) в прозе и в стихах. Если иметь в виду эту жанровую характеристику елагинского творчества, сразу бросается в глаза, что все это жанры, которыми Ломоносов ни в 40-е, ни в 50-е годы не занимался. Да и сам Елагин в одном из своих произведений 1750-х годов, обращаясь к Сумарокову, говорит:

Ты... к стихотворству мне охоту в сердце влил.[54]

Таким образом, ни Елагин, ни одновременно с ним обучавшиеся в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе И. Шишкин,[55] П. С. Свистунов[56], Н. Е. Муравьев,[57] Н. А. Бекетов[58] и другие поэты конца 40-х и начала 50-х годов XVIII в., культивировавшие те же жанры, не могут считаться последователями Ломоносова: все это уже «школа» Сумарокова.

Все же, повидимому, в конце сороковых и начале пятидесятых годов у Ломоносова появляется несколько учеников, и довольно талантливых. Это, в первую очередь, студенты академического университета Н. Н. Поповский (1726—1760)[59] и А. Л. Дубровский (1732—ум. после 1772)[60], затем академические переводчики, и из них наиболее известный И. С. Барков (1732—1768)[61] Впрочем, печататься они начинают уже в пятидесятые годы, как авторы и переводчики приветственных стихотворений при фейерверках и прочих придворных увеселениях; однако несомненно, первые их опыты должны быть отнесены еще к концу сороковых годов.

Возвращаясь снова к рассмотрению деятельности Ломоносова, следует указать, что цитата из предисловия к «Некоторым строфам двух авторов» (1773), в которой Сумароков касался вопроса о заслугах Ломоносова как литературного деятеля, по некоторым соображениям, была приведена не полностью. Сейчас необходимо обратиться к ней снова. «На надгробной надписи г. Ломоносова, — писал в этом предисловии Сумароков, — изображено, что он учитель поэзии и красноречия; а он никого не учил и никого не выучил; ибо г. Ломоносова честь не в риторике его состоит, а в одах».[62] Прежний «приятель», а позднее ярый недруг Ломоносова, не был объективен в приве-

денном только что суждении. Две риторики Ломоносова (1744 и 1748) сыграли в свое время большую роль. В условиях дворянского государства, использовавшего среди прочих средств идеологического воздействия на подданных также и ораторское искусство (церковная проповедь, светская «речь», панегирик, академическое слово и т. д.), «Риторика» Ломоносова, первая не на латыни, а на русском языке, к тому же печатная, то есть обращенная не к узкому кругу цеховых ученых, главным образом из духовенства, а к широкому «светскому» читателю, представляла факт, включавшийся в политику российского абсолютизма, который Ломоносов воспринимал, — или, по крайней мере, хотел воспринять — как абсолютизм «просвещенный».

«Риторика» 1748 г. была неоднократно переиздаваема как при жизни Ломоносова, так и после его смерти. Таким образом, теоретик-Ломоносов был не менее важен, чем Ломоносов-практик. Вообще, литературно-теоретические взгляды Ломоносова имели большое влияние на развитие русской литературы. При этом влияние это было двоякое: прямое и негативное. Ломоносов вызвал к жизни ряд последователей — Поповский, В. Петров, [63] и др. Но в еще большей мере вызвал Ломоносов оппозицию своему направлению. В сущности, все десятилетие с 1750 по 1760 г. и даже несколько позднее было — в сфере литературной — заполнено борьбой средне-дворянских поэтов с литературными воззрениями и иллюстрирующей их практикой Ломоносова. [64] Рассмотрение этой полемики составит содержание следующих глав. А сейчас, для того чтобы предстоящий анализу материал был более понятен, необходимо обратиться к рассмотрению литературных воззрений Ломоносова

Система литературных воззрений сложилась у Ломоносова под влиянием трех элементов: 1) школьных занятий пиитикой и риторикой; 2) изучения античных теоретиков литературы (Аристотеля, Горация, Квинтилиана и др.); 3) основательного знакомства с новыми европейскими работами аналогичного содержания (Буало, Готшед и др.). Поскольку основой для теоретических работ, включенных в первый и третий разделы, являлись «Искусство поэзии» (De arte poëtica) Горация и другие произведения античных авторов, постольку можно считать, что источники теоретико-литературных воззрений Ломоносова в общем были единообразны и выдержаны. Однако, по существу на те же материалы опирались и остальные наши писатели XVIII века,

и таким образом различие их литературно-теоретических позиций объяснялось не различием источников, а, наоборот, несходством интерпретации одних и тех же материалов.

В отличие от Тредиаковского, Ломоносов оставил сравнительно немного работ специально-теоретического характера. Это вполне отвечает его взгляду на свои занятия литературой как на второстепенные и отступающие на задний план по сравнению с работами научными. Не случайно приводит Ломоносов в своей «Российской грамматике» (1755) пример «сопряженных существительных»: «Стихотворство — моя утеха; физика — мои упражнения».[65]

Естественно, что работам теоретического порядка в области литературы он мог посвятить еще меньше времени, чем занятиям собственно литературой, которые входили отчасти в его служебные обязанности. Недосуг не позволил Ломоносову даже закончить предпринятое им издание руководства к «обоему красноречию», которое должно было дать свод правил из области теории литературы.

К работам Ломоносова специально теоретико-литературного содержания следует в первую очередь отнести упомянутое «Руководство красноречия», изданное сперва в 1744 году под названием «Краткого руководства к риторике», и повторенное в 1748 году как «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика». Работа эта задумана была в трех частях: за «Риторикой», анализировавшей «учение о красноречии вообще, поелику оно до прозы и до стихов касается», должна была следовать «Оратория», или теория прозы, преимущественно ораторской, и, наконец, «Поэзия, или пиитика», в которой, по словам Ломоносова, «предлагается о стихотворстве учение с приложенными в пример стихами».[66]

Из этого большого плана осуществилась только одна первая часть, но и в ней взгляды Ломоносова на разные вопросы литературы в целом получили достаточно четкие выражение и формулировку. Дополнением к «Риторике» являются другие немногочисленные работы Ломоносова, которые, в отличие от последней, имеют не догматический, а полемический характер Таковы «Письмо о правилах российского стихотворства» (1739), отрывок «О нынешнем состоянии словесных наук в России» (1755),[67] рассуждение «О пользе книг церьковных в российском языке» (1757).[68] Сюда же нужно причислить статью «О долж-

ности журналистов» (1754), [69] которая не сохранилась в оригинале (написана она была по латыни) и известна лишь во французском переводе. Ломоносову же — о чем ниже — принадлежит анонимная статья «О качествах стихотворца рассуждение», помещенная в журнале «Ежемесячные сочинения» за 1755 год (майская книжка) [70]; основные положения этой статьи, совпадая с другими известными высказываниями Ломоносова, позволяют более отчетливо и подробно представить себе его литературную позицию.

Наконец, к этому же разделу следует отнести «Слово благодарственное на освящение Академии Художеств» (1764), [71] в котором Ломоносов излагает свой взгляд на зависимость развития искусств и наук от деятельности «просвещенных монархов», то есть присоединяется к точке зрения, характерной для западноевропейских буржуазных ученых, обслуживавших дворянские «просвещенно-абсолютистские» монархии XVIII века.

В общей массе вопросов, затрагиваемых Ломоносовым в его литературно-теоретических работах, можно выделить несколько важнейших, которые представляют как бы стержневые проблемы, особенно привлекавшие его. Первая из них — вопрос о характере русского языка и его отношении к славянскому. Второй вопрос — иерархическая система языкового употребления (проблема «штиля»); третий — подготовленность («эрудиция») писателя.

Обращаясь к характеристике взглядов Ломоносова на отдельные из перечисленных выше проблем, необходимо прежде предпослать краткое изложение его воззрений на роль науки и искусства вообще и, в частности, на роль поэзии.

Не повторяя общеизвестного панегирика науке в «Оде на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны» 1747 г. («Науки юношей питают...»), следует напоминать начало стихов «На изобретение графом Шуваловым новых артиллерийских орудий» (1760): «Для пользы общества коль радостно трудиться». [72] или отрывок из письма к Г. Н. Теплову: «За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю...» [77]

Это общественное служение науки распространяет Ломоносов и на изящную литературу, которую он, соответственно воззрениям своей эпохи, называет «словесными науками», видя в ней разновидность науки, а не искусства. Статью свою

«О качествах стихотворца рассуждение» Ломоносов кончает цитатой из Цицерона: «В безделицах я стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу, перстом измеряющего пороки людские».[74] Таким образом, позиция Ломоносова в этом вопросе прямо противоположна точке зрения Тредиаковского, который в «Письме к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии» видит в современной ему поэзии «утешную и веселую забаву» и признает ее raison d'etre в том, что «потолику между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфекты на богатый стол по твердых кушаниях», и Сумарокова, говорившего, что «свобода, праздность и любовь, суть источники стихотворства».[75]

Признавая высокое общественное значение литературы, Ломоносов естественно уделяет большое внимание вопросу о языке, этом «орудии производства» писателя.

В ту эпоху, когда литературный русский язык формировался и боролся с языком славянским, языком культуры феодальной Руси, проблема языка была очень серьезна и злободневна. Ломоносов должен был в сороковые годы XVIII века считаться с тем фактом, что литературным языком по существу оставался еще славянский, что публицистика (хотя и церковная, именно проповеди) и даже панегирическая поэзия, культивировавшаяся в кругах духовенства, попрежнему пользовались славянской или сильно славянизированной речью, и что русский язык еще не был признан в качестве орудия литературы. Вопрос о русском языке стоял в сороковые годы настолько остро, что Сумароков в «Эпистоле о русском языке» (1748) настойчиво доказывал, что

Прекрасный наш язык способен ко всему.[76]

Впрочем, проблема применимости русского языка для литературных целей не исчерпалась в сороковые-пятидесятые годы: еще в 1771 году М. М. Херасков в своем «Рассуждении о стихотворстве российском» писал: «Итак, сказать можно, что язык наш равно удобен для слога важного, возвышенного, нежного, печального, забавного и шутливого».[77] Таким образом, в сороковые годы XVIII века Ломоносов должен был теоретически обосновать допустимость, возможность, и главное, необходимость использования для литературных целей русского языка.

Еще в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) Ломоносов писал: «Я не могу довольно тому нарадоваться, что Российский наш язык не только бодростью и героическим звоном Греческому, Латинскому и Немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную версификацию иметь может» [78]

Касаясь свойств русского языка, Ломоносов в посвящении «Российской грамматики» (1755) наследнику престола, будущему императору Петру III, говорит, что в русском языке есть «великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверьх того богатство и сильная в изображениях краткость греческого и латинского языка... Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем. Кто отчасу далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пределы имеющее море». [79]

Давая такую высокую оценку русскому языку, Ломоносов подчеркивает вместе с тем, что особенная сила русского языка состоит в его родственной близости со славянским, воспринявшем через переводы греческих церковных авторов много черт, свойственных языку греческому. «Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церьковные на славенском языке», говорит Ломоносов в рассуждении «О пользе книг церьковных в российском языке», «Коль много мы... видим в славенском языке греческого изобилия, и оттуду умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно» [80]

Однако, он предостерегает от некритического использования словарных богатств славянского языка. Еще в первом издании риторики (1744) Ломоносов предупреждает, что при сочинении «духовных слов или проповедей» стараться должно, чтобы при важности и великолепии своем слово было каждому понятно и

вразумительно. И для того надлежит убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но притом не оставлять оных, которые, хотя в простых разговорах не употребительны, однако знаменование их народу известно»[81].

Более обстоятельно излагает Ломоносов свою точку зрения на вопрос о соотношении между русским и славянским языками в рассуждении «О пользе книг церковных».

В литературной системе Ломоносова важнейшее место занимала проблема «пышности стиля», торжественной помпезности и усложненной его структуры. Все это нашло особенно полное отражение в «Риторике» 1748 года. «В риторической науке», говорит Ломоносов, «предлагаются правила трех родов... Как изобретать оное, что о предложенной материи говорить должно... как изобретенное украшать... как оное располагать надлежит».[82] В соответствии с этим он делит свою риторику на три части: изобретение, украшение и расположение. Далее Ломоносов подробно характеризует каждый из этих терминов: «Изобретение риторическое есть собрание разных идей, пристойных предлагаемой материи. Идеями называются представления вещей или действий в уме нашем».[83] Очертив круг возможностей создания идей из «общих мест», Ломоносов от главы «О изобретении вообще» переходит к более интересной главе второй «О изобретении простых идей» в которой уже отчетливее проводит свою точку зрения о пышности стиля: «Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу совображения, которая есть душевное дарование, с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные... Сила совображения, будучи соединена с рассуждением, называется остроумие».[84] «Отсюда видно, что чрез силу совображения из одной простой идеи расплодиться могут многие, а чем оных больше, тем и в сочинении слова больше будет изобилия».[85] Подчеркивая, что «сила совображения» есть природная способность писателя, Ломоносов все же отмечает, что «сие душевное дарование... не всегда и не во всяком случае надежно; для этого, — прибавляет он — вспоможение оного должно здесь предложить некоторые правила».[86] Правила эти Ломоносов выводит из упомянутого выше учения об «общих местах»; при этом он чувствует необходимость

высказаться по важному для его эпохи философскому вопросу: обладает ли слово, как таковое, какими-либо мистическими или материальными свойствами, или же оно является только условным знаком. Отвергая учение каббалистов, о «потаенной силе» слова и воззрения так называемых номиналистов («именников») и реалистов («вещественников»), Ломоносов пишет: «Мы учим здесь собирать слова, которые не без разбору принимаются, но от идей, подлинные вещи или действия изображающих, происходят и как к предложенной теме, так и к себе взаимно некоторую взаимную принадлежность имеют».[87]

Это место представляет большой интерес для выяснения того, как понимал Ломоносов философию языка, о которой он говорил в цитированном выше отрывке из посвящения своей грамматики Петру III. Прежде всего он, вслед за своим образцом, аббатом Николя Коссэном (Caussinus, 1580—1651), автором латинской риторики «О красноречии священном и светском», отметает мистическую теорию языка, проповеданную в каббалистической книге «Зогар». Затем, опять-таки вслед за Коссэном, Ломоносов останавливается, правда недостаточно раскрывая свои взгляды, на знаменитом споре номиналистов и реалистов, этих материалистов и идеалистов средневековья. И те и другие в своих философских построениях исходили из платоновского учения об «общих идеях» — «универсалиях». Номиналисты интерпретировали учение Платона в том смысле, что универсалии суть не что иное, как имена, т. е. слова (universalia sunt nomina), иначе говоря, что общие идеи не существуют реально, но заключаются в словах; таким образом, познавая слова, человек познает общие идеи и, тем самым, и вещи. Реалисты же, наоборот, учили, что универсалии это не слова, не имена, а на самом деле существующие общие понятия, отличающиеся, однако, от подлинных вещей, представляющих единичные проявления этих общих понятий. Ломоносов отрицает взгляд Руцелина (или Росцелина), основоположника номиналистической доктрины, но вместе с тем он отвергает и воззрение реалистов. Его собственная позиция еще более материалистична, нежели позиция номиналистов, учение которых являлось, по Марксу, «первым выражением материализма». По видимости приближаясь к реалистам, Ломоносов, вместе с тем, своим утверждением, что «слова... от идей, подлинные вещи или действия изображающих, происходят»,[88] высказывался против

основного принципа схоластической философии, против платоновских общих идей, универсалий. В противовес этим последним он выдвигает термин — «идеи, подлинные вещи или действия изображающие»; если вспомнить приведенное выше ломоносовское определение идеи как «представления вещей или действий в уме нашем» [89], делается очевидным, что позиция его материалистична: сначала идет вещь, затем ее представление в нашем уме, наконец — слово.

Из этого материалистического представления о природе слова проистекают прочие моменты в ломоносовском учении о красноречии: учение о сочинении простых идей, о распространении слова, о изобретении доводов и в особенности о возбуждении, утолении и изображении страстей. Остановимся на последнем пункте.

Констатируя то обстоятельство, что для большого успеха писателю или оратору необходимо действовать не только на разум читателя или слушателя, но и на его чувство, Ломоносов спрашивает: «что пособит ритору, хотя он свое мнение и основательно докажет, ежели не употребил способов к возбуждению страстей на свою сторону, или не утолит противных». [90] И сейчас же он отвечает: «А чтобы сие с добрым успехом произволить в дело, то надлежит обстоятельно знать нравы человеческие, должно самым искусством чрез рачительное наблюдение и философское остроумие высмотрить, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается, и изведать чрез нравоучение всю глубину сердец человеческих» [91]. Предлагая таким образом ритору вступить на путь «экспериментальной психологии», Ломоносов еще детальнее расчленяет свою мысль: «В возбуждении и утолении страстей во-первых три вещи наблюдать должно: 1) состояние самого ритора; 2) состояние слушателей; 3) самое к возбуждению служащее действие и сила красноречия» [92].

Но Ломоносов заботится не только о психологической выучке ритора, он детально инструктирует последнего относительно живописной и музыкальной стороны речи; на этом он подробно останавливается в главе «О изобретении витиеватых речей» и «О вымыслах», а также в разделе «О украшении». В особенности любопытны его наставления касательно эвфонии, благозвучия. Он тщательное перечисляет все те моменты литературной речи, которые нарушают ее музыкальную струк-

туру, предлагает избегать «непристойного и слуху противного стечения согласных», [93] «удаляться от стечения письмен гласных, а особливо то же или подобное произношение имеющих», [94] наконец, «остерегаться от частого повторения одного письмени [буквы]». [95] В своем детализированном инструктаже в области эвфонии Ломоносов идет еще далее: он подробно характеризует «психологическую» окраску отдельных звуков русской речи. «В российском языке», пишет он, «как кажется, частое повторение письмени А способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины, также и внезапного страха; учащение письмен Е, И, Ѣ, Ю, к изображению нежности, ласкательства, плачевных и малых вещей. Чрез Я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; чрез О, У, Ы, страшные и сильные вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль». [96] Не останавливаясь на даваемых Ломоносовым характеристиках согласных звуков, следует все же отметить, что он не рекомендует приносить смысл речи в жертву музыкальности: «Больше», говорит он, «должно наблюдать явственное и живое изобретение идей, нежели течение слова». [97]

Последующие части ломоносовской риторики представляют меньший теоретический интерес и имеют более прикладной, технический характер; они посвящены учению о тропах и фигурах, а также учению о расположении, в которое входят элементы формальной логики (силлогизм). Поэтому, для суждения о литературно-теоретических взглядах Ломоносова можно ограничиться лишь тем из «Риторики» 1748 г., что было приведено выше. Следует, однако, остановиться на одном пункте. Дело в том, что, как было установлено акад. М. И. Сухомлиновым, многие параграфы «Риторики» представляли простые переводы из Коссэна, Готшеда, Помея, Хр. Вольфа и других авторов. Тем самым опорачивается оригинальность ряда мыслей Ломоносова. Однако для суждения о литературно-теоретических взглядах Ломоносова в том виде, в каком они отразились в его специальных работах, существенно не столько, в какой мере они самостоятельны, сколько то, каковы они были вообще и вытекали ли они из его общефилософской позиции. В частности, например, его суждение о происхождении слова, т. е., языка, вполне самостоятельно и в положительной своей части не зависит от Коссэна, которому Ломоносов следовал в критике каббалистов и схоластиков.

Уже при изложении «Риторики» можно было заметить, что Ломоносов предъявляет к «ритору» большие требования. Так, например, считая, что «материя риторическая есть всё, о чем говорить можно, то есть все известные вещи в свете», [98] Ломоносов требует от писателя эрудиции, которая является предпосылкой «изобилия материи к красноречию». [99] Вообще же он полагает, что «к приобретению красноречия требуются пять следующих следствий: первое — природные дарования, второе — наука, третье — подражание авторов, четвертое — упражнение в сочинении, пятое — знание других наук». [100] Еще более подробно останавливается на этом же вопросе Ломоносов в статье «О качествах стихотворца рассуждение». В сущности, эта статья представляет детализацию только что приведенного второго параграфа из «Вступления» к «Риторике».

«В российском народе», пишет Ломоносов в этой статье, «между похвальными к многим наукам склонностьми пред недавными годами оказалася склонность к стихотворству, и многие, имеющие природное дарование, с похвалою в том и предуспевают. Те, которые праведно на себя имя стихотворцев приемлют, ведают, какой важности оная есть наука». [101] Желание распространить правильные взгляды на поэзию и заставило его «предложить рассуждение о том, сколь трудна наука стихотворческая и сколь великое знание во всем тому человеку иметь надлежит, который стихотворцем быть хочет, а притом дарование от бога особливое к изобретению новых мыслей и быстроту разума природную; то самое, что стихотворцы называют огонь стихотворческий». [102]

Настаивая на серьезной и многосторонней подготовке писателя, в частности поэта, Ломоносов особенно подчеркивает необходимость специальной учебы: «Стихотворец, не знающий нижé грамматических правил, ниже риторических, да когда еще недостаточен и в знании языков, а паче в оригинале авторов ежели не читал тех, которые от древних веков образцом стихотворчеству осталися, или новых, которые тем [т. е., древним] точно так, как великие—великим, подражали, то николи до познания прямого стихотворства доступить не может. И чем меньше такой творец рифм о науках прочих познание имеет, тем больше удаляется от тех качеств, которые природный дух в нем стихотворства довершают». [103]

После этих общих положений Ломоносов переходит к более конкретному перечислению знаний, потребных писателю: «Ежели хочешь быть в публике автором, поступи дале во все словесные и во все свободные науки, которых, может быть, не только важность и польза к стихотворству, но и имена тебе неизвестны. Вместо того, что не различаешь еще в грамматике осьми частей слова, и что ее знание, которое педантством называешь, и церьковных славенских книг чтение весьма потребны к доброму слогу и правописанию,—будь не только знаток, но и критик и учитель в том языке, на котором пишешь. Когда хочешь быть автором, будь неотменно в некоторых случаях и педант». [104]

Далее Ломоносов требует подробного изучения риторики, мифологии и других дисциплин, связанных со стихотворством. «Пробеги», пишет он, «все прочие науки и не кажись в них пришельцем». [105] Особенно настаивает Ломоносов на изучении классиков, но предлагает воспринимать их критически. «Когда Сафо, когда Анакреонт, в сластолюбиях утопленны, мысли свои писали не закрыто, когда Люкреций в натуре дерзновенен, когда Люциан в баснях бесстыден, Петроний соблазняет, оставь то веку их, к тому привычному, а сам угождай своему в нежности и в словах благопристойных». [106]

Но одно знание, так сказать, технологии литературы не удовлетворяет Ломоносова: «Ежели из правил политических знаешь уже должность гражданина, должность друга и должность в доме хозяина и все статьи, которых практика в философии поучает, то стихами богатство мыслей не трудно уже украшать, был бы только дух в тебе стихотворческой». [107] Необходимо также и более основательное знакомство с науками историческими: «Сими [т. е. науками философскими] снабден, загляни в историю древнюю, загляни в новую политическую и литеральную». [108] Под последней в XVIII веке разумелась, как известно, история литературы, понимавшаяся тогда как библиографически построенная история наук и искусств, или история просвещения.

Требуя также знания и изучения в оригинале произведений античных теоретиков литературы и поэтов как древних, так и новых, в частности французских, Ломоносов переходит к исключительно важному вопросу—вопросу о языке: «Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собою разнствуют. И для того береги свойства собствен-

ного языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в русском».[109]

Предостерегая писателя от искажения «стиля» иноязычными влияниями, что в те годы формирования русского литературного языка имело актуальное значение, Ломоносов, однако, предупреждает его и относительно опасности подчинения вульгарному языкоупотреблению: «Не вовсе себя порабощай, однакож, употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить».[110] Вместе с тем, Ломоносов восстает и против словесных новшеств, против языкового экспериментаторства: «Не будь притом и дерзостен сочинитель новых».[111] Таким образом, он приходит к окончательной формулировке: «Хотя и свой собственный составишь стиль, однакож, был бы он чист в правописании и этимологии, плодоносен в изобретении слов и речей приличных, исправен в точности их разума, в ясном мыслей изобретении, в непринужденной краткости, в удалении от пустого велеречия, в падении по прозодии, в периодах, не заплетенных союзами, наречиями и междометиями, мысль твою затемняющими».[112]

После подробного анализа свойств подготовленного писателя Ломоносов в заключительной части рассуждения обращается к теме, не переставшей быть актуальной и в наши дни: «От чего бывает, что новый автор, написавши малое число поэм, станет тотчас ослабевать? Не от того ли, что сочинения его от одного чтения и подражания украшаются. Он сам себе хотя и рождает мысли, но ежели бы не имел оригинала, то бы целого составить не мог. Сие то самое есть, что я говорю: без наук человеку две или три пиэсы сочинить удастся, потому что никто или не знает, или не поверяет, кого автор за оригинал себе представляет. Но ежели бы таковый счастливый разум исполнен был литературы, то бы не подражанием только, но и своим собственным вымыслом всегда нечто новое и небывалое рождать мог».[113]

«По сим рассуждениям», резюмирует Ломоносов, «мы видим, что правила одни стихотворческой науки не делают стихотворца, но мысль его рождается как от глубокой эрудиции, так и от присовокупленного к ней высокого духа и огня природного стихотворческого. Ибо кто знает, что—стопа, что цезура, что женская, что мужеская рифма, и с сим бедным запасом в стихотворцах себя хочет числить, тот равно как бы хотел воевать,

имев в руках огнестрельное оружие, не имев ни пуль, ни пороху». [114] «Цицерон», заканчивает Ломоносов, «о стихотворце говорит: „В безделицах я стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу, перстом измеряющего людские пороки“». [115]

Таково в основном содержание этой статьи Ломоносова, проливающей свет на многие пункты его литературно-теоретических воззрений. Основной чертой, характеризующей эти воззрения, является борьба за содержательность и идейность литературы, за серьезную научную подготовку и против поверхностного дилетантизма и полуграмотного подражательства. Совершенно очевидно, что при всей цельности и последовательности своей эта концепция Ломоносова все же находилась в зависимости, хотя и негативной, от тогдашнего состояния русской литературы, иными словами, — что она обращена непосредственно против поэтов-дилетантов из среднего дворянства.

Система литературно-теоретических воззрений Ломоносова шла вразрез с теориями и практикой поэтов среднего дворянства пятидесятых-шестидесятых годов XVIII века; естественно возникает вопрос о классовой природе этой системы, вопрос об идеологическом лице Ломоносова. Выше были отмечены элементы материализма в ломоносовском учении о происхождении слова, затем указывалось наличие в его высказываниях момента национальной гордости, [116] наконец, был освещен настойчиво подчеркиваемый им принцип «научного» отношения к литературе. Все это на фоне отношений середины XVIII века могло бы дать основания охарактеризовать Ломоносова в качестве писателя буржуазного, но это было бы неправильно. Несомненно, в Ломоносове и его литературно-теоретических концепциях были элементы буржуазности, но это, во-первых, были только элементы, а, во-вторых, они были поставлены на службу высшим аристократическим слоям придворного дворянства. Высшее же дворянство в сороковые-пятидесятые годы XVIII века охотно пускалось в промышленные и торговые предприятия, однако не обуржуазиваясь, а, наоборот, используя капитал в борьбе с представителями западной буржуазии, действовавшими в России, и с нарождавшейся тогда в России туземной буржуазией европейского типа, с одной стороны, и со средним поместным дворянством, ведшим полунатуральное, полукапиталистическое хозяйство — с другой. [117]

Таким образом, позицию Ломоносова можно сравнить с аналогичным положением западных буржуазных ученых, обслуживавших многочисленные крупные и мелкие дворянские государства XVIII века, в особенности немецкие. Типичным мировоззрением этих западных ученых и поэтов был рационализм со своеобразным материалистическим уклоном и, вместе с тем, культ «просвещенного абсолютизма».

У Ломоносова этот последний особенно проявился в одах и словах похвальных, в частности в „Слове благодарственном ея императорскому величеству на освящение Академии Художеств, именем ея говоренном“ (1764).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРВЫЕ ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

Из-за границы Ломоносов приезжает в Петербург в начале 1741 г., незадолго до переворота, возведшего на престол Елизавету Петровну. Если не считать двух как бы случайных од императору Ивану Антоновичу и нескольких поздних — Петру III и Екатерине II, прочее творчество Ломоносова в основном приходится на царствование Елизаветы. И это не простое совпадение: идеологически Ломоносов вполне понятен только на фоне социальных отношений елизаветинской эпохи, точно так же как творчество Тредиаковскгго выросло на почве аннинского царствования.

В дальнейшем этого вопроса придется коснуться несколько подробнее. Сейчас же нужно отметить, что появление и первые шаги Ломоносова в Академии Наук сразу отразились на положении Тредиаковского. Но столкновений между Тредиаковским и Ломоносовым на первых порах не было, по крайней мере, сведений о них не сохранилось. [1] Наоборот, в начале сороковых годов отношения Тредиаковского и Ломоносова, а также и Сумарокова, как уже отмечалось выше, были настолько дружественны, что они могли вместе выступать на поэтическом состязании.

Но во второй половине сороковых годов отношения, с одной стороны, Тредиаковского, а, с другой, еще друживших Ломоносова и Сумарокова, обостряются. При связях Сумарокова с Ломоносовым и другими академиками от него не могло скрыться то, что Тредиаковский дал не вполне одобрительный отзыв о его трагедиях «Хорев» и «Гамлет». В первой трагедии Сумарокова Тредиаковский видел «самую важную погрешность» в том, что «в которой [трагедии] порок преодолел, а добродетель погибла». Не находя во второй трагедии повторения этой ошибки, Тредиаковский, вместе с тем, замечает: «Впрочем, как в первой

авторовой трагедии, так и в сей новой, везде рассеяна неровность стиля, то есть инде весьма по славенски сверьх театра, а инде очень по площадному ниже трагедии, также находятся в той и в сей многие грамматические неисправности». [2]

Но если о «Гамлете» в общем Тредиаковский отозвался удовлетворительно, то о поступивших к нему в то же самое время на отзыв «Епистолах» Сумарокова он дал отзыв более резкий, в особенности о первой. «В ней», — пишет Тредиаковский в своем доношении в канцелярию Академии Наук от 12 октября 1748 г.,—«толь великое чтется язвительство, что не пороки пишущчих больше пятнаются, сколько сами писатели, так что и звательный падеж одного употреблен, и только что не собственное имя, по примеру так называемыя древния Аристофановы комедии, которая впрочем в Афинах тогда накрепко запрешчена была начальствуюшчими, как мы видим из истории». [3]

На присланные ему в исправленном виде те же «Епистолы» Тредиаковский дает решительный отзыв: «Хотя они некоторым образом и поправлены, однако язвительства из них не токмо не вынято, то ешче оное в них и умножено. Того ради, видя, что они самым делом злосные сатиры, а именем токмо Епистолы поносительных тех сочинений по самой беспристрасной совести апробовать немогу. Впрочем», — заключает он, как благонамеренный чиновник, — «предаю все власти и благорассуждению канцелярии». [4]

Что ж вызвало такой гнев автора «Тилемахиды»? Несомненно, больше всего он был возмущен слишком очевидными, слишком прозрачными намеками на него самого, находящимися в эпистоле «О российском языке»:

Другой, не выучась так грамоте как должно,
По русски, думает, всего сказать не можно.
И взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь
Языком собственным, достойну только сжечь;
Иль слово в слово он в слог русской переводит,
Которо на себя в обнове не походит.
Хоть знает, что ему во мзду смеется всяк,
Однако он своих не хочет видеть врак.
«Пускай, — он думает, — меня никто нехвалит,
То сердца моево ни мало не печалит;
Я сам себя хвалю: на что мне похвала.
И знаю то, что я искусен до зела».
Зело, зело, зело, дружок мой, ты искусен,
Я спорить не хочу, да только склад твой гнусен. [5]

Что касается «язвительства», когда «не пороки пишущих больше пятнаются, сколько сами писатели, так что и звательный падеж употреблен», то здесь Тредиаковский имел в виду то место во второй эпистоле Сумарокова, где тот, говоря о Ломоносове:

Он наших стран Малгерб, он Пиндару подобен» —

прибавляет:

«А ты, Штивелиус, лишь только врать способен.[6]

Насколько эта колкость задела Тредиаковского, можно видеть из того, что в одной своей работе 1750 г. он отмечает, что «автор [т. е. Сумароков] толь мал в вымысле, что ни имен для смеха выдумать от себя не мог: его и Штивелиус в Эпистоле о стихотворстве также чужой, а именно из.. Голберга».[7]

Однако Тредиаковский не вступал с Сумароковым в полемику по этому поводу. Впрочем, «сочинил я критику по приказу бывшего академического ассессора Григорья Теплова», — вспоминает Тредиаковский, — «на некоторые сочинении господина Александра Петрова сына Сумарокова».[8] Здесь имеется в виду ненапечатанное при жизни Тредиаковского «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю».[9] Оно очень характерно как образец критических суждений Тредиаковского, но не представляет органического звена в литературной полемике того времени: официальное по своему происхождению и вызванное едва ли не лукавством Г. Н. Теплова, бывшего тогда в хороших отношениях с Сумароковым,—«Письмо к приятелю» пролежало больше столетия в архиве Академии Наук и в современной своему возникновению литературе отклика не вызвало. Правда, оно стало известно Сумарокову, и тот возразил на него особой статьей, «Ответ на критику», но и эта статья, надо полагать, была пущена в обращение только в первом издании сочинений Сумарокова, выпущенном Новиковым в 1781 г.[10]

Возможно, оба эти произведения были известны очень узкому кругу в сравнительно небольшой массе тогдашних читателей. Во всяком случае, в списках «Письмо» Тредиаковского, кроме Архива Академии Наук, и «Ответ» Сумарокова не встречаются. Можно задать вопрос, каким же образом находившееся в архиве академии «Письмо» Тредиаковского стало известно Сумарокову. Удивительного тут нет ничего — и Теплов, по чьему «приказу»

было написано Тредиаковским «Письмо», и Сумароков были близкими людьми к гр. К. Г. Разумовскому. Однако, приходится повторить, полемическое по своему содержанию, «Письмо» Тредиаковского и «Ответ» Сумарокова по функции своей не оказались полемическими. Это заставляет обойти его молчанием при рассмотрении фактов подлинной публичной полемики той эпохи.

Но очень возможно, что отголоском этих столкновений между Сумароковым и Тредиаковским были две «басенки» последнего, включенные им в первый томик его «Сочинений и переводов», вышедший в 1752 г. Первая басенка несомненно направлена была против Сумарокова, вторая, повидимому, тоже, так как она перекликается с цитированными выше упреками Сумарокову в заимствованиях у Гольберга, Расина и Буало. Впрочем, вторая, может быть, относится и к Ломоносову.

Пес чван

Лихому Псу звонок на шею привязать
Велел хозяин сам, через тоб всем показать,
Что Пес тот лют добре; затем бы проч бежали,
Иль палкуб на него в руках своих держали.
Но злой Пес мня, что то его мзда удальства,
Стал с спеси презирать всех лучшего сродства.
То видя, говорил таварыщ стар годами:
Собака! без ума ты чванишся пред нами:
Тебе веть не в красу, но дан в признак звонок,
Что нравами ты зол, а разумом щенок.[11]

Ворона, чванящаяся чужими перьями

Набрала Ворона перышек от прочих птиц;
Убралась та всеми с низу вверьх без мастериц;
Величаться начала сею пестротою,
Презирая птичек всех в том перед собою.
Ласточка всех прежде перышко на ней свое
Усмотревши, тотчас вырвала, сказав: мое.
То увидели когда и другие птички,
Щебетали по большой части те певички,
Начали Ворону сами также все клевать,
И свои природны перышка с нее срывать;
Так что наконец ее всю уж обнажили,
Чем всех обще и себя ею насмешили.[12]

Не исключена возможность того, что при ознакомлении с эпистолами Сумарокова у Тредиаковского, видевшего в них неумеренные похвалы, расточаемые Сумароковым Ломоносову,

возникло предположение о том, что инспиратором сатирических выпадов в эпистолах против него является Ломоносов. В особенности мысль эта могла укрепиться у Тредиаковского в начале 1751 г., когда появилась его «Аргенида», претерпевшая до выхода в свет много злоключений, виновником которых автор считал Ломоносова. Повидимому, и Сумароков, и Ломоносов отозвались на выход «Аргениды» эпиграммами, не дошедшими до нас: так можно понимать намек Сумарокова, цитированный выше.

Впрочем, возможно, что именно к этому времени относится эпиграмма Ломоносова:

Я мужа бодрого из давних лет имела,
Однакоже вдовой без оного сидела.
Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб,
Бессилен, подл, и стар, и дряхлый был арап;
Сказал, что у меня кривясь трясутся ноги,
И нет мне никакой к супружеству дороги.
Я думала сама, что вправду такова —
Негодна никуда, увечная вдова.
Однако ныне вся уверена Россия,
Что я красавица — российска поэзия,
Что мой законный муж — завидный молодец,
Кто зделал моему несчастию конец. [13]

Для отнесения этой эпиграммы к 1751 г. можно высказать следующие соображения:

1. Вслед за второй эпистолой Сумарокова 1748 г. в данной эпиграмме упоминается прозвище Тредиаковского — Штивелий. Как было показано выше, Тредиаковский в 1750 г. обвинял в заимствовании этого имени у Гольберга именно Сумарокова, а не Ломоносова, которого он не преминул бы упомянуть в таком случае.

2. Ломоносов употребил здесь рифму Россия—поэзия, аналогичную рифме Россия — Индия, вызвавшую в 1753 г. насмешки Елагина и признанную самим Ломоносовым неудачной. Таким образом, после 1753 г. он едва ли употребил бы такую одиозную рифму. Впрочем, о ломоносовском ударении в слове «поэзия» в 1750-е годы судить сейчас трудно. В «Эпистоле от Российския Поезии к Аполлину» Тредиаковского (1735) встречается рифма: Индия — Поезия, [14] но у Н. Н. Поповского в «письме Горация о стихотворстве» (1753) ударение иное: „В поэзии успел с немалою хвалою"... [15]

Таким образом, эта эпиграмма может быть отнесена ко времени между 1750 и 1753 г.

Опуская мелкие подробности учащавшихся и усложнявшихся столкновений между Тредиаковским и Ломоносовым, в котором автор «Тилемахиды» видел своего главного противника, должно остановиться на следующем.

В 1752 г. Тредиаковский выпустил свои «Сочинения и переводы» в двух томиках. В конце первой книги была помещена басня «Самохвал», представляющая, как известно, вольный перевод басни Эзопа. Вот она:

В отечество свое как прибыл некто вспять,
А не было его там почитай лет с пять;
То завсе пред людьми, где было их довольно,
Дел славою своих он похвалялся больно,
И так уж говорил, что не нашлось ему
Подобного во всем, ни ровни по всему:
А больше что плясал он в Родосе исправно,
И предпочтен за то от общества преславно,
В чем шлется на самих Родосцов ныне всех,
Что почесть получил великую от тех.
Из слышавших один ту похвальбу всегдашню,
Сказал ему: что нам удачу знать тогдашню?
Ты к Родянам о том пожалуй не пиши:
Здесь Родос для тебя, здесь нутка попляши.[16]

Акад. А. А. Куник высказал предположение, что эта басенка была написана Тредиаковским вскоре по возвращении Ломоносова из-за границы и направлена против самонадеянности последнего. Однако, с этим едва ли можно согласиться: в печати «Самохвал» появился в 1752 г., и поэтому правильнее видеть в этом намек на имевшее незадолго перед тем препирательство между Ломоносовым и Тредиаковским по поводу той части «Предуведомления» к «Аргениде», в которой Тредиаковский заявлял претензии на первенство в вопросе введения тонического стихосложения в России.[17]

Ломоносов, повидимому, не принял сделанного ему вызова. Зато за честь своего оскорбленного учителя вступился молодой поэт И. С. Барков. Он написал язвительную пародию на Тредиаковского, озаглавив ее точно так же, как и басенка самого Тредиаковского, — Самохвал. Ответ Баркова написан намеренно утрированным языком Тредиаковского и к этому времени уже оставленным последним «героическим российским

эксаметром», по которому легко было узнать, в кого метил Барков.

Сатира на Самохвала

В малой философьишке мнишь себя великим
А чем больше мудрствуешь, становишься диким.
Бегает тебя всяк: думает, что еретик,
Что необычайные штуки делать ты обык.
Руки на-лоб иногда невзначай закинешь,—
Иногда закусишь перст, да вдруг же и вынешь;
Но случалось так же головой качать тебе,
Как что размышляешь и дивишься сам себе!
Мог всяк подумать тут о тебе смотритель,
Что великий в свете ты и премудр учитель.
Мнение в народе умножаешь больше тем,
Что молчишь без меры и не говоришь ни с кем;
А когда о чем люди вопрошают,
Дороги твои слова из уст вылетают:
Правда, скажешь — только кратка речь весьма —
И то смотря косо, голову же заломя.
Тут то глупая твоя братья, все дивятся
И, в восторг пришедши, жестоко ярятся:
«Что б, когда такую же голову иметь и нам, —
Истинно бы нашим свет тогда предстал очам!» [73]

Повидимому, пародия Баркова «Самохвал» относится ко времени выхода в свет «Сочинений и переводов» Тредиаковского, т. е. к 1752 году.

Но если даже это и не так, то, во всяком случае, первый этап полемики между тремя крупнейшими представителями русской литературы XVIII в. закончился. Не приходится говорить о том, что эта полемика за видимым «личным» характером имела серьезные теоретические основания, то есть, в конечном счете, представляла собой проявление классовой борьбы на участке литературы. Несомненно, это положение, вполне приемлемое в теории, может в применении к данному конкретному случаю — к столкновениям Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова, — показаться не вполне приложимым. Могут сказать: ведь все три писателя обслуживали дворянского потребителя, и не только обслуживали, но и выражали его идеологию, отражали и, в то же время, формировали ее; значит, борьба эта протекала внутри одного класса и не может быть рассмотрена как отражение борьбы классов в ту эпоху. Однако эти возражения нисколько не убедительны, и вот почему.

Во-первых, если даже принять, что борьба эта протекала внутри одного класса, то нельзя забывать, что во время всякой внутриклассовой борьбы одна какая-либо сторона выражает подлинные интересы всего своего класса, а другие находятся под влиянием иноклассовых, враждебных данному классу, группировок, являясь проводником чуждых интересов.

Во-вторых, необходимо помнить, что в 30-е годы XVIII в., при Анне Ивановне, несмотря на переворот, произведенный якобы «шляхетством» во имя собственных интересов, продолжала сохранять политическое значение прежняя «коалиция крупного землевладения и владельцев торгового капитала» (М. Н. Покровский). [19]

Наконец, в-третьих, русское дворянство, в сороковые-пятидесятые годы XVIII в. укреплявшее свои позиции и создавшее ту систему которую М. Н. Покровский называл «новым феодализмом» [20], все же было не совершенно монолитно: «вельможные господа» (Шуваловы, Воронцовы, Строгановы), не даром вызывали озлобленные нападки средне-дворянских идеологов (кн. М. М. Щербатов, Сумароков и др.) — из тактических соображений они создавали «дворянский капитализм», поддерживали обрабатывающую промышленность, развивали крепостную мануфактуру, — а все это шло в разрез с интересами среднего дворянства, аграрного и малоденежного.

Если иметь все это в виду, станет понятно, что каждый из трех писателей, о которых шла выше и будет в дальнейшем итти речь, был связан с отдельными из охарактеризованных политических группировок и в своем творчестве отражал их взаимоотношения.

В самом деле, разночинец Тредиаковский, «модный» писатель аннинского времени, официальный одописец, был, несмотря на все «августейшие оплеушины» и прочие уродства эпохи, все-таки выразителем идеологической позиции правящего слоя «верховных господ» царствования Анны Ивановны. Пресловутая расправа с ним Волынского была не просто отвратительным актом самодурства и выражения презрения к личности злосчастного «пииты». Дело в том, что, избивая Тредиаковского, Волынский мотивировал свое поведение не тем, что пиита не приготовил «виршей к дурацкой свадьбе», а, наоборот, тем, что Тредиаковский сочинял песенки, затем Волынский снова угрожал ему: «ежели-де впредь станешь сочинять песни, то-де

и того больше достанется».[21] Проф. Д. А. Корсаков вполне справедливо предположил, что, повидимому, Тредиаковский сочинял какие-то сатирические песенки против Волынского и именно это и вызвало его избиение.[22] Идеологическая же связь Волынского со средним дворянством достаточно известна. Этим, конечно, не доказывается, что сатирические песенки Тредиаковского были направлены против Волынского как представителя среднего дворянства; равным образом, нельзя этим доказать, что Волынский избил Тредиаковского как идеологического работника правящего класса. Но отсутствие прямых доказательств еще не означает, что дело не обстояло именно так. На эту мысль наводит тот факт, что подобострастные одописания Тредиаковского тридцатых годов впоследствии вызывали нарекания против него со стороны Ломоносова, и, вероятно, не одного его. Очень возможно вообще, что легенда о Тредиаковском, созданная и развитая средне-дворянскими писателями XVIII и начала XIX вв. и перешедшая от них к буржуазным историкам литературы, выросла именно на почве тех идеологических расхождений между Тредиаковским и его средне-дворянскими современниками, какие определились уже в тридцатые годы. Если это так, тогда делается более понятным поведение Тредиаковского в елизаветинскую и екатерининскую эпоху: составивший себе определенное реноме в аннинскую пору, автор «Тилемахиды» стремился позднее реабилитировать себя как благонадежного верноподданного и верного сына церкви. Это могло быть не только лицемерной политикой приспособленца, но и, так сказать, сознательным изживанием «грехов молодости». С другой стороны, здесь же можно видеть причину его неприязни к дворянской литературе и ее представителям.

С Ломоносовым и Сумароковым дело обстояло значительно проще: оба они, как уже отмечалось выше, были связаны со средним дворянством, «шляхетством», дифференциация которого началась в пятидесятых годах. До того времени их идеологические расхождения были не столь отчетливы, как позднее, и это создавало условия для дружественных отношений. С пятидесятых же годов Ломоносов, в идеологии которого были буржуазные элементы, в идеологическом отношении примыкает к новой группе правящей знати (Шуваловым), в известном смысле (в области промышленности) осуществлявшей экономическую программу, вполне приемлемую для Ломоносова.

Сумароков же с первых шагов своих на литературном поприще выступал в качестве поэта средне-дворянского и в дальнейшем видел в своей литературной деятельности служение своему классу; это настолько общеизвестно, что подробно об этом говорить значило бы ломиться в открытые двери.

В конце 1752 г. Ломоносов стал хлопотать о заведении стеклянной фабрики, где должно было быть налажено производство цветного хрусталя, бисера, стекляруса и мусии (мозаики). Всесильные Шуваловы помогли ему получить нужный указ сената.[23] Отношения Ломоносова к Шуваловым еще больше укрепляются, он делается даже учителем в стихосложении елизаветинского фаворита И. И. Шувалова.[24]



И. П. Елагин.

Незадолго перед тем (в конце сентября 1750 г.) Ломоносов и Тредиаковский получили через президента Академии Наук изустный указ Елизаветы сочинить по трагедии. Ломоносов в очень короткий срок приготовил трагедию «Тамира и Селим», которая, повидимому, пользовалась успехом у современников, если не как сценическая пьеса, то как литературное произведение: в следующем 1751 г. она вышла вторым изданием. В том же году Ломоносов приступил к сочинению второй трагедии: «Демофонт». Как в первой, так и во второй пьесе Ломоносов, как установлено исследователем, принял за образец, между прочим, и произведения Сумарокова.[25] Последний, считавший себя монополистом в театральной области, был, конечно, раздражен вторжением Ломоносова в сферу его деятельности. Повидимому, либо ему, либо кому-то из его сторонников принадлежало крылатое словечко в отношении Ломоносова: «Racine malgré lui» — «Расин поневоле“, как параллель к мольеровскому «Médécin malgré lui» — «Лекарь поневоле».

Расслоение дворянства в эти годы, о котором говорилось выше, развело Ломоносова и Сумарокова в разные лагери. Предпринимательство Ломоносова-фабриканта и его драматическое творчество вызвали ряд нападок на него со стороны его противников. В частности, он сам упоминает в приведенном ниже письме к И. И. Шувалову от 16 октября 1753 г. о том, что И. П. Елагиным была написана пародия на его «Тамиру».[26] Пародия эта, — если она действительно была, — не дошла до нашего времени; но, повидимому, в письме Ломоносова шла речь не о пародии в прямом смысле, а о пародической афише следующего содержания:

ОТ РОССИЙСКОГО ТЕАТРА

объявление

758: года февр. 29 дня будет представление трагедии Тамиры. Начало представления будет в тринадцать часов по полуночи. Актриса, изображающая Тамиру, будет убрана драгоценным бисером и мусиею. В сей бисер и в сию мусию чрез химию превращены Пиндаровы лирические стихи собственными руками с его великого стихотворца.

Малая комедия:
Racine malgré lui.
Потом баллет:
Бунтование гигантов.
Украшение баллета.

1. Трясение краев и смятение дорог небесных,
2. На сторонах театра Осса и на ней Пинд.

Кавказ и на нем Етна, которая давит только один верьх ево. В средине под трясением дорог небесных Гигант, который хочет солнце снять ногою, будет танцовать соло; потом все представление окончают обще танцовальщики и певцы, певцы поя следующее:

Сéреди прекрасных роз
Пестра бáбочка летает.

Примечание

В трех перьвых тонах ошибся или капельмейстер или стихотворец, однако в оной песни для красоты мыслей ето отпустительно.[27]

Чтобы язвительность елагинской насмешки стала более понятной, необходимо привлечь к рассмотрению ту песенку, «красота мыслей», которой упоминается в афише. Вот эта песенка:

Среди прекрасных роз,
Пестра бабочка летает.

С листа на листок упадает,
То сидит, то спешит,
Около мягких лоз.
То на воздухе кругом вертится,
Либо с верху на травку валится.
То пастушке на груди садится,
Нежно тело скрашивает, вьется, скачет, вспрыгивает:
То на висок, то на глазок, то и на малинькой раток.
В том завидлив стал пастух,
Будто бабочку сгоняет;
А пастушку сам хватает:
То за лицо, то за плечо,
То и за ручки вдруг.
Уже бабочка зыблется лугом,
Устремившись за пестриньким другом,
И вперед, и назад и кругом;
К верху, к низу, то за лесок,
В рощу, в кустик, за ручейок:
То распустясь, то и сцепясь, околь частых дерев кружась
Тут пастушке дарагой, указал пастух рукой:
Вот нам должно так с тобой;
То гулять, то скакать,
В роще сей густой.
Посмотри все пригорки смеются,
И приятно источники льются;
И по мяконькой травке вьются:
Вскочем, вспрянем вдруг запоем,,
Тихим лесом вместе пойдем.
Ты для меня, я для тебя,
Ты будешь бабочка моя (2). [28]

Если возвратиться к периодической афише и всмотреться, сразу можно отметить несообразную датировку — 29 февраля 1758, чего не могло быть в простом, а не високосном году; также 13 часов пополуночи. Повидимому, и 1758 г. был взят как нереальная дата. Бисер, мусия и химия, — все это явные намеки на занятия Ломоносова изготовлением цветного стекла, бисера и мозаики и, очевидно, хронологически совпадают с его хлопотами по организации стеклянной фабрики в Усть-Рудицах. Эти данные наводят на мысль, что пародия И. П. Елагина относится ко времени никак не позднее конца 1752 г. и, может быть, связана с известным «Письмом о пользе стекла», вышедшем в том же году.

Особенный интерес представляет та часть елагинской афиши, в которой характеризуется «баллет» Бунтование гигантов.

Здесь каждая строчка направлена против «Пиндаровых лирических стихов сего великого стихотворца», т. е. Ломоносова. Не забыта даже систематически проводившаяся им орфография слова *«среди»* — *«середи»* с ударением на первом *е*. В этой части елагинской пародии впервые осмеивается «громкая ода» Ломоносова, его пиндаризм, то именно, чем он привлекал в сороковые годы придворного слушателя и читателя. Выше было показано, что Сумароков в «Епистоле о стихотворстве» характеризовал оду, именно исходя из практики Ломоносова, как оду «громкую». Но в последующие годы его эстетика более «самоопределяется», он начинает, в противовес придворной чопорности, строгости этикета, пышному великолепию дворцовых церемоний, пропагандировать простоту, естественность, «природу» в поэзии, в особенности в оде. Не только сам Сумароков, но и его «ученики», и особенно они, настойчиво проводят линию «опрощения» поэзии. Они выступают против «темноты» и «невразумительности» языка ломоносовских од, против «бессмысленного парения» и т. д. [29]

Сами сумароковцы, вместо оды, культивируют «камерные» поэтические жанры: песню, элегию, дружеское послание, эпистолу, но прежде всего все-таки песню. Песни пишут все: и сам Сумароков, и И. П. Елагин, и Н. А. Бекетов, и П. С. Свистунов, и Н. Е. Муравьев, и И. Шишкин и многие, многие другие. Сочинение песенок делается настолько модным, что через несколько лет даже Сумароков принужден был выступить против этого увлечения:

Набрать любовных слов на новой минавет,
Который кто-нибудь удачно пропоет,
Нет хитрости тому, кто грамоте умеет.
Да что и в грамоте, коль он писца имеет. [30]

Но в начале 1750-х гг. песни пользовались исключительной популярностью. Имена их авторов, за исключением Сумарокова, неизвестны. Из колоссального песенного репертуара песен XVIII в., в особенности ранних, можно указать по одной песне Н. А. Бекетова и П. С. Свистунова. Вот песня Бекетова:

Везде мне скучно стало,
Мой дух всегда грустит,
Что прежде мя прельщало,
Ничто не веселит;
Сжалься, не мучь меня,
Сжалься, ах! пленивши,

Ты драгая, драгая,
Став сердцу всех милей,
Сжалься, о мне жалей.

Всеместно я страдаю,
Вздыхая и стеня,
Нигде не обретаю
Отрады без тебя;

Сжалься, не мучь меня,
Сжалься, ах! пленивши,
Ты драгая, драгая,
Смущенной дух тобой,
Хоть мало успокой.

Сон только разорвется,
Мысль перва о тебе,
Когда мой взор замкнется,
Ты кажешься во сне;

Сжалься, не мучь меня,
Сжалься, ах! пленивши,
Ты драгая, драгая,
В тоске души моей,
Дай помощь в страсти сей.

Что делаю не знаю,
Совсем вдаюся в страсть,
Любовь, любовь презлая,
Скончай скорей злу часть;

Сжалься, не мучь меня,
Сжалься, ах! пленивши,
Ты драгая, драгая,
Сжалься, о мне жалей,
Ты в свете всех милей.

Против воли я вздыхаю,
И охотно я грущу,
Быв с тобою, убегаю
И везде тебя ищу;

Тыж везде, мой свет, со мною,
Удаливши мой покой,
Я хотя глаза закрою,
Ты все зришься предо мной.

Ты лютейшу грусть сугубишь
Сожалением своим,
Естьли мне верна не будешь,
Так на что тобой я льстим;

Ты свободы мя лишила,
В самой тот не сносной час,
Ты когда о том грустила,
Рок что разлучает нас. [31]

Других песен его указать не представляется возможным: анонимно они были помещены, по указанию Новикова, «в книгах: Собрание разных песен, в 1769 и 1770 годах». Очевидно, здесь имеется в виду «Собрание разных песен» М. Чулкова (1770) и отдел песен в «Российской универсальной грамматике» Ник. Курганова (1769).

Аналогичные сведения имеются и о П. С. Свистунове, который, по словам Новикова, «в молодых своих летах много написал елегий, песен и других мелких стихотворений; но они не напечатаны». Одна из них, взятая из рукописного сборника Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, приводится ниже:

Полно свет мой не гордись
Красотою ты своей...
Коль пленила веселись
Я во власти уж твоей...
Милы взгляды мя прельстили,
Взор и дух во мне вспалили...
Не скажу того драгая
Чтоб ты краше всех была...
Толко многих уязвила
И мне язву [тож] дала...
Ты совсем меня пленила
И весь нрав мой пременила...
И свободу ты отняв
С ней лишила всех забав...
Прежде был я во всем волен
Как я страсти сей не знал...
Я в свободе был доволен,
Ни о чем не воздыхал...
Мысли мне смиренны были
Дни в утехах провождал...
Как любезных стрел не знал
Я любовь уничтожал...
Ныне все то пременилось,
Я подтвержден ныне страсти...
Сердце вдруг воспламенилось
И мне ныне нет напасти
Нет уже счастья и покою
Мучусь тяшкою тоскою...
И имею я в любви
Толко жар в моей крови...
Не терзай бесчеловечно
Не терзай меня мой свет

Я тебе подвластен вечно
И с ума твой зрак нейдет.
Отгони суровость власти
Отврати мои напасти...
Как не хочешь отвратить,
Лутче мне тея забыть. [32]

Приведенные только что песни Бекетова и Свистунова лишь случайно сохранили имена своих авторов. Остальные, как известно, анонимны. Но все же, можно приурочить некоторые песни если и не отдельным авторам, то их группам. Так, например, известен сборник песен «Между делом безделье, или собрание разных песен», музыка которого была сочинена Г. Н. Тепловым. Этот песенник встречается в двух изданиях — 1759 и 1776 гг. Но по некоторым данным можно предположить, что он вышел в первом издании еще ранее 1759 г., именно в конце сороковых или начале пятидесятых годов, так что издание 1759 г. было вторым, а 1776 г. третьим. Хотя разыскания в Архиве Академии Наук, в типографии которой — в нотопечатне — только и мог печататься этот песенник, не обнаружили каких-нибудь следов выполнения тепловского сборника в виде заказа или отчета типографского фактора, но если иметь в виду, что Теплов был в начале пятидесятых годов весьма значительной фигурой в академии, то можно предположить, что «Между делом безделье» в первом издании было напечатано неофициально. [33] Впрочем, если даже и не было этого раннего издания то все же, согласно указаниям Штелина, сочинялись эти песни и клались на музыку именно в эту эпоху. [34] В частности, чрезвычайно любопытно то, что из семнадцати песен тепловского сборника пять написаны темпом менуэта, или, как писал Сумароков, минавета. Автором музыки был Г. Н. Теплов. Но кто же были поэты, произведения которых музыкально обработал Теплов? Из семнадцати песен сборника семь принадлежат Сумарокову; [35] остальные десять, по указанию Штелина, являлись произведениями Елагина и др. Кто эти другие, догадаться нетрудно: в начале пятидесятых годов Елагин дружил с Бекетовым, оба они были адъютантами гр. А. Г. Разумовского; повидимому, вокруг них, выходцев из Сухопутного шляхетного корпуса, группировались другие их соученики. Таким образом, тепловское «Между делом безделье»—это один из сборников этой «песенной» кадетской поэзии.

Тепловское «Между делом безделье» было единственным печатным собранием песен этой ранней поры с нотами. Значительное количество песен этого периода — без нот — перепечатано было в «Российской универсальной грамматике» Н. Г. Курганова (1769). Помещенное здесь собрание (стр. 305—333), явно в подражание Теплову, озаглавлено: «Светские песни или дело от безделья». Как и в тепловском, и во всех последующих сборниках, песни у Курганова анонимны. Но достаточно осведомленный Новиков указывает, например, что здесь напечатано много песен Бекетова;[36] о песнях Ив. Шишкина Новиков говорит более глухо, но, повидимому, также имеет в виду кургановский сборник.[37] Однако известен еще один не менее любопытный датированный сборник песен этого периода. В собрании известного ярославского библиофила И. А. Вахрамеева имелся сборник, озаглавленный «Российской Академии разными штудентами сочиненные пастушки виршами, списанные в Ярославле 1755 году».[38] Сборник этот, один из старейших в данном жанре, представляет исключительный интерес. Здесь приведены записи 135 песен, из которых большинство безымянно. Лишь небольшое число их может быть аттрибутировано определенным авторам. Такова, например, песня № 110 —

Ночною темнотою
Покрылись небеса, —

представляющая известный ломоносовский перевод из Анакреона. Двадцать семь песен из вахрамеевского сборника включены в VIII том «Полного собрания всех сочинений» Сумарокова.[39] Остальные песни, за исключением двух, — №№ 27 и 28 («Полно, свет мой, не гордися», автором которой указан П. С. Свистунов, и «Везде мне скучно стало», приписанной Н. А. Бекетову), анонимны.[40] В большинстве своем песни эти, или, как они названы в «реэстре», — «академические пастушки», либо эротико-идиллического, либо грустно-элегического содержания. Нередки случаи, когда несколько песен настолько близки друг к другу, что можно заподозрить тут перевод какого-либо иностранного (повидимому, французского) образца, или же состязание на заданную тему, или, наконец, подражание какому-то одному образцовому произведению такого рода.

Ср. № 2 (Песня Сумарокова, соч., т. VIII, № 64):

Негде в маленьком леску, при потоках речки,
Что бежала по песку, стереглись овечки.

№ 5:

На зеленом на лужку, где бежала речка,
На пологом бережку лежала овечка.

Или вот другой пример (№ 29):

В первый раз тебя увидя,
Я свободу потерял.

И песня Сумарокова (Соч., т. VIII, № 129):

В первый раз тебя узрев,
Я тобой пленилась.

В особенности интересен следующий случай. Выше была приведена песенка, надо полагать, Елагина: Среди прекрасных роз (в вахрамеевском сборнике она помещена под № 46). А вот песня, находящаяся в «Российской универсальной грамматике» Курганова (1769) под № 25:

Под тению древесной, меж роз растущих вкруг,
С пастушкою прелестной, сидел младой пастух:
Не солнца укрываясь, он с ней туда зашел,
Любовью утомляясь, открыть ей то хотел.
Меж тем где ни взялися две бабочки сцепясь,
Вкруг роз и их вилися, друг за другом гонясь:
Потом одна взлетела к пастушке на висок;
Ища подругу, села другая на кусток.
Пастух на них взирая, к их щастью ревновал,
И оным подражая, пастушку щекотал,
Все ставя то в игрушки, за шею и бока,
Как будто бы с пастушки сгонял он мотылька.
Ах! станем подражати, сказал он, свет мой, им,
И резвость съединяти с гулянием своим;
И бегая лесочком, и тем подобясь сей,
Я буду мотылочком, ты бабочкой моей.
Пастушка улыбалась, пастух ее лобзал:
Он млел, она смущалась, в обеих жар пылал:
Потом вскоча помчались, как легки ветерки,
Сцеплялися, свивались, и стали мотыльки. [41]

Таким образом, можно считать несомненным, что наличие многочисленных песен, представляющих вариации на одни и те же темы, явилось результатом того культа песен, которыми характеризуются сороковые-пятидесятые годы XVIII в. Исключительная популярность этого жанра должна была бы привлечь к ним внимание историков русского литературного языка. К сожалению, материал этот остается пока вне поля зрения лингв-

вистов. Между тем, для характеристики дворянской разговорной и литературной речи песенки эти могут дать очень много. Так, например, при самом беглом анализе бросается в глаза наличие в этих песнях элементов архаических (*мя, тя, хощет* и т. д.), обычно изгонявшихся из литературного языка; с другой стороны, делаются попытки подражания «народным» песням («Нету забавы ей плести веночки, пасучи стадо на лугах», Курганов, № 52; «Собирались красны девки за околицу стоять», Вахрамеев, № 54; Сумароков: «В роще девки гуляли, Калина ли моя», Соч., т. VIII, № 8). Временами кажется, что в этих песнях делается установка не на выражение чувства, а скорее на словесную форму этого выражения, словно дворянские поэты ставят себе цель обогатить любовную фразеологию своего класса. Если для более поздней эпохи такое предположение вряд ли допустимо, то для начального периода увлечения песнями можно считать такую тенденцию мыслимой, если не сознательно, то бессознательно. В связи с этим следует отметить и то обстоятельство, что среди песен другого вахрамеевского сборника — «российской академии разными штудентами сочиненные песни виршами, списанные в Ярославле 1765 году» уже встречаются возобновления старых любовных обращений, употреблявшихся в самом начале XVIII в., например:

Долго ль тебе мучить,
Лапуша меня.
Я к тебе услужен,
Не оставь меня (№ 38).

Или в первом вахрамеевском сборнике:

Вспомнишь ли меня, *мой свет*,
В дальней стороне.
Или ты не думаешь
Вовсе обо мне (№ 129)

Какое большое значение придавалось в эту эпоху песням, можно судить не только по обилию продукции такого рода, но и по тому, что этот литературный жанр нашел теоретическое обоснование в сумароковской «Эпистоле о стихотворстве». Не лишено значения и то, что, например, оде Сумароков в своем «Art poétique» посвящает всего 14 стихов, а песне 36 стихов, и больше чем о последней говорит только о трагедии (70 стихов) и комедии (42 стиха).

Необходимо отметить и то, что в своей характеристике песни Сумароков был, повидимому, вполне самостоятелен: Буало, которому он почти рабски подражал в своей «епистоле», к «песенке» относился пренебрежительно. Для Буало «песенка — несложное творенье», «нелепое творенье»; авторов песенок он предупреждает:

И если удалось стихи слепить подчас,
Пусть это гордостью не ослепляет вас.

Буало даже отказывает сочинителям песенок в звании поэта:

Ведь автор песенки, несложного творенья,
Готов себя считать поэтом в упоеньи...
И чудо, если он в безумном самомненьи,
Печатая потом нелепые творенья,
В начале сборника портрет не ставит свой. [42]

Совершенно иное отношение к песне у Сумарокова.

В его глазах она имела значение специфически-важного жанра, и поэтому характер даваемых в «Епистоле о стихотворстве» наставлений о сочинении песен представляет особый интерес.

Вот эти наставления:

О песнях нечто мне осталося представить;
Хоть песнописцов тех никак нельзя исправить,
Которые что стих не знают, и хотят
Нечаянно попасть на сладкий песен лад.
Нечаянно стихи из разума не льются,
И мысли ясные невежам не даются.
Коль строки с рифмами: стихами то зовут.
Стихи по правилам премудрых Муз плывут,
Слог песен должен быть приятен, прост и ясен,
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен,
Чтоб ум в нем был сокрыт, и говорила страсть;
Не он над ним большой, имеет сердце власть.
Не делай из Богинь красавице примера,
И в страсти не вспевай: Прости моя Венера,
Хоть всех собрать Богинь, тебя прекрасняй нет:
Скажи прощаяся: Прости теперь мой свет!
Не будет дня, чтоб я не зря очей любезных,
Не источал из глаз своих потоков слезных.
Места, свидетели минувших сладких дней,
Их станут вображать на памяти моей.
Уж начали меня терзати мысли люты,
И окончалися приятные минуты.

Прости в последний раз, и помни как любил.
Кудряво в горести никто не говорил:
Когда с возлюбленной любовник расстается,
Тогда Венера в мысль ему не попадется.
Ни ударения прямова нет в словах,
Ни сопряжения малейшего в речах,
Ни рифм порядочных, ни меры стоп пристойной.
Нет в песне скаредной, при мысли недостойной,
Но что я говорю при мысли? да в такой
Изрядной песенке нет мысли никакой.
Пустая речь, конец не виден ни начало;
Писцы в них бредят все, что в разум ни попало.
О чудные творцы, престаньте вздор сплетать!
Нет славы никакой несмысленно писать.[43]

Итак, в этом наставлении подчеркиваются все те же принципы средне-дворянской эстетики того времени: ясность, простота, отсутствие «витийства», «кудрявости», иными словами, «натура», естественность.

Как ни зависела «Епистола о стихотворстве» от «L'art poétique» Буало, но Сумароков сумел выразить в ней свое понимание как всего поэтического искусства, так и проблемы отдельных жанров. Так, он настойчиво подчеркивает, что важнейшее условие воздействия искусства — простота:

Дай чувствовати мне пастушью простоту...[44]
Мне стихотворная приятна простота.[45]

Требуя естественности в поэзии, он доходит до того, что к автору любовной элегии обращается со следующими словами:

Коль хочешь то [т. е. любовную элегию] писать;
так прежде ты влюбись.[46]

К трагику Сумароков предъявляет такое требование:

Старайся мне в игре часы часами мерить;
Чтоб я забывшийся, возмог тебе поверить
Что будто не игра то действие твое,
Но самое тогда случившесь бытие.[47]

Все это было изложено Сумароковым в 1747—1748 г. Здесь он еще не различал жанров предпочтительных перед другими:

Все хвально, Драмма ли, Еклога или Ода:
Слагай, к чему влечет твоя природа.[48]



А. П. Сумароков.

Правда, он указывал, что

Чувствительняй всего трагедия сердцам,
И таковым она вручается творцам,
Которых может мысль входить в чужие страсти,
И серце чувствовать, других беды, напасти.[49]

Таким образом, в эти годы он, будучи еще дружен с Ломоносовым, отмежевывал себе область «чувствительной» поэзии — трагедию и песню, оставляя Ломоносову поэзию лирическую (оду) и эпическую (поэму). Надо полагать, что именно к Ломоносову, подумывавшему уже в это время об эпической поэме о Петре Великом, относятся следующие стихи в «Епистоле»:

Имея важну мысль, великолепный дух;
Пронзай воинскою трубой вселенной слух:
Пой Ахиллесов гнев; иль двигнут Росской славой,
Воспой Великого Петра мне под Полтавой.[50]

Но неоднократно упоминавшаяся дифференциация внутри дворянства в начале пятидесятых годов обострила отношения Ломоносова и Сумарокова. В особенности рьяными антагонистами Ломоносова оказались ученики Сумарокова. Они почувствовали противоречия в «Епистоле» Сумарокова: с одной стороны, требования естественности, простоты, ясности языка —

(И не бренчи в стихах пустыми мне словами),[51]

а с другой, расточение похвал Ломоносову, все творчество которого, с их точки зрения, противоречило этим требованиям.

И вот тот же И. П. Елагин пишет Сумарокову посланье:

Ты, которого природа
К просвещению народа
Для стихов произвела,
И в прекрасные чертоги,
Где живут парнасски боги
Мельпомена привела!

***

Научи, творец «Семиры»,
Где искать мне оной лиры,
Ты которую хвалил;
Покажи тот стих прекрасный,
Вольный склад, при том и ясный,
Что в эпистолах сулил.

***

Где Мальгерб тобой почтенный,
Где сей Пиндар несравненный,
Что в эпистолах мы чтем?

Тщетно оды я читаю,
Я его не обретаю,
И красы не знаю в нем.
***
Если так велик французской,
Как великой есть наш русской
Я не тщуся знать его.
Хоть стократ я то читаю,
Но еще не понимаю
Я и русского всего.[52]

Отсутствие каких-либо документальных данных не позволяет точно датировать это посланье. Но несомненно, что оно было написано после издания Сумароковым «Семиры», упоминаемой Елагиным, то есть, после 1751 г. Скорее всего, это было в 1752 или в начале 1753 г., после пародии Елагина на «Тамиру и Селима» Ломоносова.

Около этого же времени появилась рукописная «Сатира на петиметра и кокеток» того же Елагина. в которой между прочим, задевался и Ломоносов. «Посланье к Сумарокову» и «Сатира на петиметра» вызвали ряд полемических откликов как самого Ломоносова, так и целого ряда других авторов. Полемика эта была настолько обширна и резка, что на ней необходимо остановиться подробнее, тем более, что освещалась она не совсем правильно.

Весь материал, касающийся этой полемики, распространялся в рукописном виде. В печати известна только одна и то отсутствующая во всех ленинградских и московских книгохранилищах анонимная и недатированная «Епистола к Творцу сатиры на петиметра», указанная Сопиковым.[53] Остальное все стало известно благодаря публикации А. Н. Афанасьева. В 1859 г. Афанасьев поместил в №№ 15 и 17 издававшегося им журнала «Библиографические записки» любопытную статью «Образцы литературной полемики прошлого столетия», основанную на материалах так называемого «Казанского сборника».

«В библиотеке казанского университета, — начинается статья А. Н. Афанасьева, — (по д. катал. № 19953) хранится рукописный сборник прошлого столетия, содержащий в себе несколько неизданных материалов для истории русской литературы. Сборник этот почти весь писан одним почерком, и только последняя пьеса и немногие поправки принадлежат другой руке. Рукопись озаглавлена «Разные стиходействии», заключает в себе

145 страниц 4°, в кожаном переплете; первые 16 страниц заняты оглавлением. В каталоге университетской библиотеки против этой рукописи значится: Приобретена покупкою от г-жи надворной советницы Актовой в С. Петербурге». [54]

Указав вкратце содержание «Казанского сборника» и отметив при этом, что «некоторые из стихотворений, внесенных в сборник переписчиком, уже были напечатаны в «Ежемесячных сочинениях» и в сочинениях Сумарокова, но большая часть в печати неизвестны», А. Н. Афанасьев прибавляет: «Главное же содержание составляет стихотворная и отчасти прозаическая перебранка писателей и актеров прошедшего столетия». Сведения об этом сборнике А. Н. Афанасьев почерпнул из источника, вообще впервые сообщившего в печати более или менее подробные данные о казанской рукописи, именно из диссертации Н. Н. Булича «Сумароков и современная ему критика». [55] Характеристика, данная сборнику Буличем, не лишена интереса: «[Рукопись эта] любопытна, как сборник некоторых непечатных фактов русской литературы второй половины XVIII столетия. Неизвестный собиратель, живший, повидимому, в конце прошлого века, задал себе цель собрать сатирические, личные нападения друг на друга тогдашних писателей, где они не церемонились между собою. Вероятно, эти нападения интересовали любителей. Но для нас они не имеют того интереса, какой тогда имели; зато чрезвычайно любопытны в историко-литературном отношении. Здесь можно найти такие подробности, которые неизвестны историкам нашей литературы. Попадаются даже стихотворные портреты писателей, писанные, впрочем, не совсем дружелюбными красками. Одним словом, открывается вся закулисная жизнь писателей. К сожалению, сам собиратель, или писец, при красоте почерка, не соединял познаний грамматики, а потому очень часто совсем нельзя добраться до настоящего смысла стиха». [56]

Сообщение Н. Н. Булича привлекло внимание тогдашних историков русской литературы, и ряд из них — С. П. Шевырев, Н. С. Тихонравов и др. — заказал себе копии с «Казанского сборника». [57] Одну из копий получил и А. Н. Афанасьев. [58] По своему экземпляру, находящемуся в настоящее время вместе с перепиской о нем в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки имени Ленина, А. Н. Афанасьев опубликовал ряд материалов «Казанского сборника». Всего в сборнике 141 сти-

хотворение, но они могут быть сгруппированы в несколько тематических объединений: 1) Полемика вокруг «Сатиры на петиметра и кокеток» Елагина; 2) перебранка по поводу «Гимна бороде» Ломоносова; 3) сатирическая переписка между Тредиаковским и Ломоносовым; 4) эпиграммы на Сумарокова; 5) пикировка актеров Чулкова, Соколова и др. В самом сборнике материалы эти даны в основном в виде серий, но изредка отдельные пьесы стоят не на своем месте. Не имея возможности сличить афанасьевскую копию с подлинником, трудно судить, насколько точно воспроизведен в ней текст. Но сопоставляя публикацию Афанасьева в «Библиографических записках» с его же «сборником», можно упрекнуть этого почтенного исследователя в некоторой небрежности, в невнимательности. Так, например, он печатает стихотворение «К Сумарокову» (Ты, которого природа...) как произведение неизвестного автора, между тем в принадлежавшей ему копии «Казанского сборника» это послание подписано инициалами «I. Е.», то есть Иван Елагин. [59] Нередко Афанасьев, исправляя ошибки безграмотного переписчика, давал явно ошибочные конъектуры. Так, в стихах, приводимых ниже по тексту «Казанского сборника»

Цыганосов сперва не груб, но добродетелен,
Не горд, не самохвал, и в должности исправен, [60]

Афанасьев исправляет явно неверное чтение «добродетелен» на «добродеен», хотя рифма «исправен» подсказывает правильную конъектуру «добронравен». Таких примеров можно привести несколько.

Несмотря на эти неточности издания, публикация Афанасьева имеет большое значение, так как она ввела в историко-литературный оборот очень важный материал. Но для настоящей работы нет необходимости обращаться к статье А. Н. Афанасьева за метериалом; именно в силу указанных выше причин следует проверить текст полемических стихов и прозы, если не непосредственно по «Казанскому сборнику», то, по крайней мере, по копиям с него. Весь приводимый ниже материал и заимствован из экземпляров копий «Казанского сборника», принадлежавшей Афанасьеву и второй, подаренной Л. Н. Майковым в 1885 г. рукописному отделению б. Публичной библиотеки, теперешней Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В центре полемики стоит «Сатира на петиметра и кокеток» Елагина. Касаясь злободневного, повидимому, в то время вопроса о «петиметерстве», сатира Елагина включалась в целую серию аналогичных литературных произведений. Так, например, в ту же самую эпоху была написана анонимная эпиграмма «На петиметра»:

Глаферт природою и счастьем одарен,
Дворянства своего считает сто колен.
Богатству нет числа; был десять лет в Париже;
Науки все прошел, уклонностью всех ниже;
Пригожество ж в нем равно высокому уму.
А добра совесть есть? вот на! что в ней ему! [62]

В комедии «Третейной суд (Чудовищи)» (1750) Сумароков выводит петиметра Дюлижа; под тем же именем осмеивается петиметр в «Ссоре мужа с женою (Пустой ссоре)», относящейся к тому же времени. [63] Для более поздней эпохи, для конца 60-х и 70—80 гг., сатирическая трактовка щеголей и щеголих делается обычной и важной темой журналистики. Анализируя типы петиметров в романе XVIII в., В. В. Сиповский отмечает количественную незначительность подобных изображений и приходит к следующему выводу: «Не есть ли этот факт — лучшее доказательство того, что сатирики-журналисты, выдвигавшие эти типы на первое место, грешили несколько против правды русской жизни—они, очевидно, слишком усердно повторяли образы, взятые из чужой, иноземной сатиры. То, что было типичным, например, для Германии, то у нас было, вероятно, лишь явлением случайным, нетипичным...» [64]

С этим взглядом едва ли можно согласиться и принципиально и по существу. В самом деле, только что цитированное мнение В. В. Сиповского, одного из основательных знатоков литературы XVIII в., в определенном смысле типично для всего прежнего литературоведения, подходившего к литературе XVIII в. как абстрактной и оторванной от жизни. Сам В. В. Сиповский, много поработавший над доказательством близости литературы к жизни XVIII в. и пользовавшийся для этой цели мемуарными высказываниями современников, шел по линии непосредственных сопоставлений. Но надо иметь в виду, что отражение жизни в литературе XVIII в. было значительно сложнее, чем это представлялось литературоведам дореволюционной эпохи. Не находя большого числа высказываний о щеголях и щеголихах как в рома-

нах, так и в мемуарах XVIII в., В. В. Сиповский вывел заключение, что все эти петиметры и кокетки, изображавшиеся в комедии и сатирѣ той эпохи, явление чужое, наносное. Однако это не так и со стороны фактической. О «буйственном пристрастии ко всему, что называется французским», вошедшем в моду в царствование Елизаветы, вспоминает и историк Болтин[65] и др. Об одном, зараженном французоманией, вельможе елизаветинского времени сообщает кн. М. М. Щербатов: «Граф Иван Григорьевич Чернышев, сперва камер-юнкер, а потом камер-гер, человек не толь разумный, коль быстрый, увертливый и проворный и, словом, вмещающий в себе нужные качества придворного, многие примеры во всяком роде сластолюбия подал. К нещастию России, он не малое время путешествовал в чужие краи; видел все, что сластолюбие, роскошь при других европейских дворах наиприятнейшего имеют, он все же сие перенял, все сие привез в Россию, и всем сим отечество свое снабдить тщился. Одеяния его были особливого вкусу и богатства, и их толь много, что он единожды вдруг двенадцать кавтанов выписал».[66]

О том, как был в моде уже в конце сороковых годов XVIII в. французский язык в высшем кругу в Петербурге, можно судить по указанию Тредиаковского в 1750 г. на то, что больше обучаются «по правилам не своему, да чужим языкам: сей недостаток», — прибавляет он, — «толь есть общий, что почитай и среднего состояния люди его ж предпочитают, не зная, как думаю, что бесчестнее Россиянам не знать по Российски, нежели как инак».[67] В особенности значительным делается французское влияние с усилением Шуваловых. И. И. Шувалов, этот, по язвительному слову Фридриха Прусского, «г-н Помпадур, пламенный француз», едва ли не был сам, если не петиметром в том виде, как изображали сатирические писатели того времени, то, во всяком случае, французским модником, выписывавшим из Парижа мебель, одежду, лакеев и т. д. Таким же французолюбием отличались и другие Шуваловы, а также Воронцовы, Строгановы, Чернышевы и т. д.[68] Все это вместе взятое заставляет предположить, что нападки Сумарокова, Елагина и др. на петиметров и кокеток имели в виду именно группу шуваловцев, противников Разумовских, вокруг которых группировалось среднее дворянство в лице своих столичных представителей, выходцев из Сухопутного шляхетного кадетского

корпуса. Любопытно, что «Третейной суд (Чудовищи)» Сумароков написал в июне 1750 г., будучи в то время адъютантом А. Г. Разумовского, а представлена эта комедия была фельдфебелем Разумовским (К. Г.), Гельмерсеном, Бухвостовым, Бекетовым, (Н. А.), Мелиссино, Рубановским, Остервальдом, Свистуновым и др. [69] Конечно, трудно предположить что в лице Дюлижа выведен И. И. Шувалов, но что франкофильские тенденции Шуваловых подвергались здесь осмеянию едва ли подлежит сомнению.

В эту же антишуваловскую серию выпадов против петиметерства должна быть поставлена и елагинская «Сатира на петиметра и кокеток», печатаемая ниже. [70]

Открытель таинства любовныя нам лиры,
Творец преславныя и пышныя Семиры,
Из мозгу рождшейся богини мудрой сын,
Наперсник Боалов, российский наш Расин.
Защитник истины, гонитель злых пороков,
Благий учитель мой, скажи, о Сумароков!
Где рифмы ты берешь? — ты мне не объявил,
Хоть к стихотворству мне охоту в сердце влил.
Когда сложенные тобой стихи читаю,
В них разум, красоту и живность обретаю,
И вижу, что ты их слагая не потел,
Без принуждения писал ты что хотел;
Не вижу, чтобы ты за рифмою гонялся,
И ищучи ее, работал и ломался;
Не вижу, чтоб искав сердился ты на них:
Оне, встречаяся, кладутся сами в стих.

Противополагая «беспринужденному», свободному творчеству Сумарокова якобы свое, Елагин дает картину «творческих мук» бездарного пиита:

А я? О горька часть, о тщетная утеха!
Потею и тружусь, но все то без успеха;
По горнице раз сто пробегши, рвусь, грущу,
А рифмы годныя нигде я не сыщу;
Тогда орудие писателей невинно —
Несчастное перо с сердцов грызу безвинно.

Из дальнейшего выясняется, что картина, представляющая якобы процесс творчества сатирика, введена была намеренно: она дает возможность перейти к непосредственному предмету сатиры:

Нельзя мне показать в беседу было глаз!
Когда б меня птиметр увидел в оный час,
Увидел бы, как я по горнице верчуся,
Засыпан табаком, вздыхаю и сержуся:

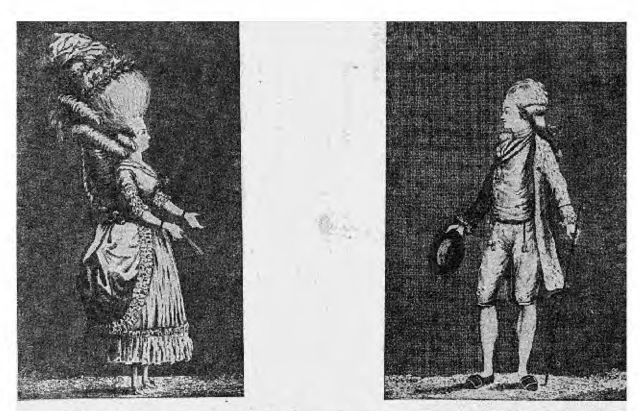
Что может петиметр смешняй сего сыскать,
Который не обык и грамоток писать,
А только новые уборы вымышляет,
Немый и глупый полк кокеток лишь прельщает?
Но пусть смеется он дурачествам моим,
Во мзду, что часто [сам] смеюся я над ним.
Когда его труды себе воображаю
И мысленно его наряды все щитаю,
Тогда откроется мне бездна к смеху вин;
Смешняя десяти безумных он один.

Затем идет пространная характеристика туалета петиметра:

Увижу я его седяща без убора,
Увижу, как рука проворна Жоликера [71]
Разженной сталию главу с висками сжет,
И смрадный от него в палате дым встает;
Как он пред зеркалом, сердяся воздыхает
И солнечны лучи безумно проклинает,
Мня, что от жару их в лице он черен стал,
Хотя он от роду белея не бывал;
Тут истощает [он] все благовонны воды,
Которыми должат нас разные народы,
И зная к новостям весьма наш склонный прав,
Смеются, ни за что с нас в-трое деньги взяв.
Когда б не привезли из Франции помады,
Пропал бы петиметр, как Троя без Паллады,
Потом взяв ленточку, кокетка что дала,
Стократно он кричал: уж радость как мила
Меж пудренными [ах!] тут лента волосами!
К эфесу шпажному фигурными узлами,
В знак милости ее, он тщится прицепить,
И мыслит час о том, где мушку налепить.
Одевшися совсем, полдня он размышляет;
По вкусу ли одет? — еще того не знает;
Понравится ль убор его таким, как сам,
Не смею я сказать таким же дуракам.

Далее следует место, особенно использованное в развернувшейся затем полемике:

Подробно как жених в последний час пред браком
Боится, чтоб в ту ночь не быть кому свояком,
Задумавшись сидит, ждет рока своего
И хочет разрешить сомнения его:
Так бедный петиметр робеет и вздыхает,
Что долго Жоликер ему не отвечает —
По вкусу ли в тот день его он нарядил
И мушку на лицо он тут ли прилепил?
Искусный Жоликер, Просперов [72] победитель,



Щеголь (петиметр) и щеголиха. С модных картинок 70-х годов XVIII века.

Ты перва таинства вержетов объявитель,
Не мучь его, скажи: по вкусу ль он одет,
Кокеткам бешенным понравится иль нет?
Но ты еще молчишь; почто не отвечаешь?
Промолви, хитрый муж! ты дух его смущаешь.
Се слышу глас его и внемлю разговор;
Услышь, что говорит твой верной Жоликер;
Победу в этот день тебе предвозвещает:
«Повсюду на тебе парижский вкус сияет!
Советов лишь моих в беседе не забудь;
Немножко дерзостен во оный день ты будь,
Не следуй правилам людей, что нас ругают,
А сами что есть вкус — они того не знают;
Невежеством своим их строгость умягчай;
На речи ты других отнюдь не отвечай;
Один все говори, кричи, скачи, вертися,
И сколько вымыслишь ты бешенства — бесися!»

В следующих за словами Жоликера стихах заключается попутная насмешка над неудачной ломоносовской рифмой: Индия — Россия.

Подобно как солдат с весельем в брань спешит,
То с радостью [идя] он мнит, что победит,
Или как наш поэт, вписав в свой стих Россию,
Любуется сыскать к ней рифмою Индию:
Так ободренный наш сей речью петиметр,
Как легкое перо подъемлет сильный ветр,
Подъемлем радостью, из кресел вылетает,
И палку взяв что всех гайдуков превышает,
К ступанью легкому себе употребя,
На пиршество бежит, всю память погубя.
Ты, остроумный Поп,[73] любимец Аполлонов,
Честь англинских стихов, поборник их законов,
Скажи мне, где ты брал воздушных тех богов,
Скажи ты мне, творец Отрезанных Власов[74]
Которыми свою Белинду несравненну,
Предвидя ей напасть и скорбь неизреченну,
Старался суетно со всех стран окружить
И тщился от беды ее ты сохранить,
Открой мне, где собор сих духов обитает,
Которых сильфами твой стих нам нарицает,
И дай единого из нежных сих божков
Для сохранения хоть красных каблуков?
Чтоб дерзка пыль до них не смела прикасаться
И краска бы на них могла не изменяться,
Чтоб ветр его чулки и ноги пощадил
И стрелки с блесточки чтоб дерзко не сронил.

Наконец петиметр в салоне, окружен кокетками:

Но вот мой петиметр в беседу уж вступает...
Что ж слышу я за вопль, что слух теперь пронзает?
Подобно как кричит обрадован народ,
Когда, избавившись морских свирепых вод,
На дряхлом корабле в пристанище втекает,
И в безопасности тот час воспоминает,
В который видел он ужасный неба гнев
И зрел уж на себя разверстый бездны зев:
Так собранные [там] кокетки восклицают
И одеяние его все похваляют.
Иная тут кричит: куды какая тень!
Уж подлинно скажу, что твой сегодня день.
Другая, истинно — подобно как взбесясь,
Французским языком издетска заразясь,
Кричит и вопит тут: как ангел ты хорош,
И на прекрасного М[аркизова] [75] похож!
Хваленый петиметр, чтоб больше показаться,
Тут велеречием потщится украшаться,
Сбирает речи все романов, что читал,
Которые деньжат для бедности списал. [76]
Немецких авторов, не зная, презирает,
И в них добра отнюдь [найти] не уповает.
Тут вспомня, что велел премудрой Жоликёр
Немысленно болтать, болтает всякий вздор.
Вот, бедный петиметр, чему и я смеюся;
Ты истинно смешон — на целой свет я шлюся.
Мне лутче кажется над рифмою потеть,
Как флеровой кафтан с гирляндами надеть,
И следуя по всем обычаям французским,
Быть в посмеяние разумным людям русским,
Что собрано отцом, в младых днях то прожить,
И в старости о том крушиться и тужить.

В заключение своей сатиры Елагин обращается к Музе «ненавистнице всех в обществе пороков» со следующими словами:

Ты ж, ненавистница всех в обществе пороков,
О муза! коль тебе позволит Сумароков,
Ты дай мне, дай хоть часть Горациевых сил,
Чем Фряска [77] гордого он в Риме победил,
Чтоб мной отечеству то стало откровенно,
Чем он прославился во веки несравненно.

А. Н. Афанасьев, публикуя материалы «Казанского сборника», высказал мысль о том, что полемика вокруг елагинской сатиры была вызвана, с одной стороны, признанием Сумарокова первым

современным писателем, а, во-вторых, насмешками над Ломоносовым: «Похвала Сумарокову, выраженная в начальных и конечных стихах [сатиры Елагина], задела за живое все авторские самолюбия, которые в тот век были слишком щекотливы и требовательны до смешного. Спор о том, кого следует признать первым из современных русских писателей, сильно занимал этих последних; занимал их непосредственно более, чем самую публику, не отличавшуюся особенным пристрастием к литературе. Прошедшее столетие оставило нам довольно анекдотических рассказов о распрях между Сумароковым, Ломоносовым, Тредьяковским и Барковым, в которых их легко оскорбляющаяся авторская гордость играла едва ли не самую видную роль. Очень естественно, что при таких неприязненных отношениях писателей между собою, при этой постоянно возбужденной и тревожной чуткости их самолюбий, всякая, даже самая скромная и незатейливая, похвала одному из соперников раздражала всех других; громкое же прославление одного из литераторов считалось всеми остальными едва ли не личным оскорблением. И вот почему на Елагина, за его похвалы Сумарокову, со всех сторон посыпались самые ожесточенные эпиграммы и разного рода бранчивые послания». [78]

Едва ли можно было более предвзято оценить подобную полемику, чем сделал это в только что приведенной цитате А. Н. Афанасьев. Конечно, Ломоносов был задет насмешками над рифмами Индия — Россия, [79] но суть полемики состояла не в этом. В основном она пошла по линии защиты «петиметерства» от «несправедливых» якобы нападок Елагина. В своем стихотворном ответе Елагину, — о прозаических будет сказано особо, — Ломоносов начал именно с принципиального возражения:

Златой младых людей и беспечальной век
Кто хочет огорчить, тот сам не человек. [80]

Для Ломоносова, «клиента» Шуваловых и Воронцовых, — «петиметерство» не есть социальный порок, как его оценивают средне-дворянские поэты, а лишь «златой младых людей и беспечальной век», пора, предшествующая серьезной государственной деятельности, полной «печалей» и обязанностей. Поэтому всякий, кто покушается омрачить, «огорчить» этот «златой век», «тот сам не человек». Позицию Елагина-Балабана (балабан — увалень,

болван) Ломоносов объясняет психологически — невозможностью любить:

...ты, Балабан, — женат...
...и полюбить все право потерял.
И для того против любви... восстал.

Затем Ломоносов переходит к каким-то личным моментам в биографии Елагина:

Мы помним, как ты сам, хоть ведал перед браком,
Что будешь подлинно на перву ночь свояком,
Что будешь вотчим слыть, на девушке женясь,
Или отец княжне, сам будучи не князь, —
Ты, все то ведая, старался дни и ночи
Наряды прибирать сверьх бедности и мочи.

(См. приложение I к настоящей главе.)

Елагин был женат на Наталье Алексеевне Ратиковой, бывшей камер-юнгфере, или горничной Елизаветы. [81] Дочь его, Мария, умерла в 1774 г. [82] Что означают намеки Ломоносова, судить сейчас трудно за отсутствием данных. Но необходимо помнить, что в XVIII в. слово «свояк», помимо обычного своего значения, — муж жениной сестры, — имело еще смысл — «соперник» или «солюбовник». [83] Что касается стиха: «старался... наряды прибирать сверьх бедности и мочи», то некоторым ключом к его толкованию могут быть следующие слова из «Записок Екатерины II». Говоря о кадете, позднее адъютанте А. Г. Разумовского, Н. А. Бекетове, носившем «и вне театра брильянтовые пряжки, кольца, часы, кружева и очень изысканное белье», Екатерина писала: «Разумовский приставил к своему новому адъютанту другого юнца, которого он [т. е. Бекетов] (и) назначил, Ивана Перфильевича Елагина. Этот последний был женат на прежней горничной императрицы, она-то и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами о которых выше упомянуто; так как она вовсе не была богата, то можно легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька этой женщины». [84] Очевидно, кое-что из сумм, передававшихся Елизаветой через Ратикову-Елагину для Бекетова, перепадало и И. П. Елагину. Не вдаваясь в подробности в комментировании ломоносовского ответа на «Сатиру на петиметра и кокеток», можно все же констатировать, что основным стержнем этого ответа является проблема «петиметерства», а не литературного первенства.

Совершенно на той же точке зрения стоит анонимный ученик Ломоносова. Перефразируя начало сатиры Елагина, этот автор обращается к последнему в своем «Возражении или Превращенном петиметре»:

Открытель таинства поносныя нам лиры,
Творец негодныя и глупыя сатиры,
Из дрязгу родшейся Химеры глупой сын,
Наперсник всех вралей, российский Афросин, [85]
Гонитель щеголей, поборник петиметров,
Рушитель истины, защитник южных ветров!
Скажи мне, кто тебя сим вздорам научил.
Которы свету ты недавно предложил...
...А, петиметров ты напрасно осудил.
Скажи мне: одного глупяй тебя кто б был?
Когда гнушаешься сравнить ты их с собою,
Зачем позволил им смеяться над тобою?
Иль мнишь, что их ты сам чем можешь обругать,
Когда ты все начнешь наряды их считать?...
...Совет тебе даю их больше не ругать,
Остаться, как ты был, и врать переставать.
Опомнись, что ты сам птиметром быть желаешь,
Да больше где занять ты денег уж не знаешь.

Далее ученик Ломоносова переходит к тем же намекам, какие приводил его учитель:

Свояков ты забудь и ввек не вспоминай:
Известно то уж всем, что знал ты и до брака,
Что будешь ты иметь и сам в ту ночь свояка
И будешь вотчим слыть, на девушке женясь,
Или отец княжне, сам будучи не князь. [86]

(См. приложение II.)

Кто-то возразил на это «Возражение» и так упрекал анонимного автора:

О вздорный критикус на вздор, о петиметр!
В тебе ль быть замыслам, в тебе ль беспутном ветр. [87]

Насмехаясь над автором «Превращенного петиметра», его антагонист многозначительно прибавляет в последней строке

Статнея бы писал про мотов ты закон. (См. приложение III.)

Из этого стиха можно заключить, что автор «Превращенного петиметра» был известен своему антикритику, или, по крайней мере, предполагался им, и что тот в приведенном выше

стихе делает этому действительному или воображаемому автору какой-то личный укол. Кто же мог «писать про мотов закон»? Не имелось ли здесь в виду указать, что автором был или предполагался И. И. Шувалов, много тративший денег на свои наряды и домашний обиход; вместе с тем, известно, что он не чуждался литературных занятий и писал стихи. [88]



И. И. Шувалов.

Сторонники Елагина стояли на совершенно иной точке зрения, нежели Ломоносов и, может быть, Шувалов. Вот как пишет «неизвестная». Для этой ранней русской поэтессы «златой младых людей и беспечальный век» вовсе не такая безобидная и невинная пора жизни будущих сановников, какой она представляется Ломоносову. Защитники петиметров, Ломоносов и его ученики, находят резкую оценку:

Развратных молодцов испорченный здесь век
Кто хочет защищать, тот скот — не человек:
Такого в наши дни мы видим Телелюя,
Огромного враля и глупого халуя,
Который Гинтера и многих обокрал
И мысли их писав, народ наш удивлял.

После ряда личных выпадов против Ломоносова как пьяницы и человека «низкой породы», поэтесса кончает так:

А впрочем на конце сих строк тебе моих,
Елагин! мысль скажу мою и всех честных:
На честных кто людей от ныне и до век
Враждует — сатана и подлой человек. [89] (См. приложение IV.)

Автограф стихотворения Ломоносова «Златой младых людей...» Лицевая и оборотная сторона листа. (Архив Академии Наук СССР).

На честных кто людей от ныне и до век
Враждует — сатана и подлой человек. [43] (См. приложение IV.)

Другой сторонник Елагина находит, что в последнем

Боалов ныне дух... стал возобновен,
Подобен он ему в стихах стал дерзновен;
Из людей тщился он пороки истреблять,
Против петиметра осмелился писать... [90]

(См. приложения V и VI.)

Если вдуматься в аргументацию «елагинцев», то окажется, что они выдвигают как объект «Сатиры на петиметра» — «истребление людских пороков», борьбу с «испорченным веком развратных молодцов» и т. п. Таким образом, не только Ломоносов и его сторонники, но и сумароковско-елагинская группировка рассматривала полемику вокруг «Сатиры на петиметра» как проблему общественную; а как выше было указано, борьба эта имела конкретные объекты — франкофильскую группировку Шуваловых-Воронцовых и пр. В эту же линию, очевидно, должна быть включена борьба с засорением русского языка французскими словами и оборотами. Не случайна, например, такая сценка в комедии Сумарокова «Ссора у мужа с женою (Пустая ссора)»:

ЯВЛЕНИЕ XVII

Дюлиж и Деламида

Деламида

Я думала, что вы уже ушли.

Дюлиж

Я не думал, что я вас севодни еще увидеть удостоюсь.

Деламида

Ето для вас, чтоб меня видеть, не очень велико.

Дюлиж

Всего больше сударыня.

Деламида

Вы так мне флатируете, что уж не возможно.

Дюлиж

Вы мне не поверите, что я вас адорирую.

Деламида

Я этого сударь не меритирую.

Дюлиж

Я думаю, что вы довольно ремаркированы быть могли, чтобы я опре де вас, всегда в конфузии.

Деламида

Что вы дистре, так ето может быть отчего другого.

Дюлиж

Я все, кроме вас, мепрезирую.

Деламида

Я етой пансе не имею, чтобы я и впрямь в ваших глазах емабль была.

Дюлиж

Треземабль сударыня, вы как день в моих глазах.

Деламида

И я вас очень естимую, да для того я и за вас нейду, когда бы и многие калите имели, мнеб вас больше естимавать было уж нельзя..

Дюлиж

А для чего, разве бы вы любить меня не стали.

Деламида

Дворянской дочери любить мужа, ха, ха, ха.. Ето посацкой бабе прилично.

Дюлиж

Против етого спорить нельзя, однако ежелиб вы меня из одаратера зделали своим амантом, тоб ето было пардонабельно.

Деламида

Пардонабельно любить мужа, ха, ха, ха... Вы ли полно ето говорите я б не чаяла, чтоб вы так не резонабельны были. [91]

Карикатурность этой сцены показывает, что осмеиваемое в ней явление было для той эпохи бытовым и самое сатирическое освещение его могло быть понятно и доступно современным зрителям и читателям. Возможность заимствования этой сцены из немецкой комедии (ирония над глаголами на *ieren*, буржуазная сатира на брачные отношения у дворян и т. д.) не меняет ее функций на русской почве (см. прилож. VII).

Возвращаясь назад к полемике вокруг елагинской «Сатиры», нужно указать, что в ней довольно часто фигурирует фамилия одного из полемистов — Сукин; он выступает против Елагина и, подобно прочим противникам автора «Сатиры на петиметра и кокеток», проводит мысль:

Ты [Елагин] петиметром быть и сам всем сердцем хочешь,
Да денег лишь занять нигде не можешь.[92] (См. прилож. VIII).

Бесцеремонный Елагин, отвечая этому полемисту, писал:

Тебе ли сродно то, твоей ли музе сметь
Сатиры вымышлять, и тем себя вознесть.
Таким ли сделан ты, чтоб мог ты возноситься,
Когда ты осужден от суки в свет родиться. [93]

В «Казанском сборнике» автором эпиграммы, ответ на которую Елагина только что приведен, указан некто Ф. С.; А. Н. Афанасьев по последней строке ответа Елагина расшифровал эти инициалы как Ф. Сукин, прибавляя, что «об этом последнем не дошло до нас биографических сведений». Сейчас можно несколько больше сказать об этом Ф. Сукине. Но дело в том, что, повидимому, самое указание «Казанского сборника» едва ли верно. Можно высказать предположение, что составитель этого сборника, писавший в семидесятые годы, а, может быть, и позднее, в ряде случаев при определении авторства отдельных произведений делал значительные ошибки. Очевидно, и здесь имеет место то же самое, тем более, что имя Ф. Сукина, директора мануфактур-коллегии, осужденного в начале 1772 г. за делание фальшивых ассигнаций, было популярно в те годы. [94] На мысль о том, что имя Сукина здесь приложено другому лицу, наводит следующее обстоятельство. Ответ Ломоносова на елагинскую сатиру, начинавшийся словами «Златой младых людей и беспечальный век», приписывался сумаровско-елагинским лагерем тому же лицу, которое обозначено в «Казанском сборнике» буквами Ф. С. Это предположение вызвало ответ, направленный против воображаемого автора.

Жалею сердцем я, что ты не столь богат,
Чтоб мог помаду есть всегда и в пудре спать.
Когда ж ты так о всех богатых рассуждаешь,
И всю веселость их в одном том поставляешь,
Напрасно медлишь ты и сам богатым быть;
Вели за грош один ты сальных свеч купить,
А пудры коли нет и негде тебе взять,
Ты можешь за мукой к знакомому послать.
Но кто-бы это был, чтоб вздор такой наврал,
Балабанов одних лист целой намарал?
Теперь я дознаюсь, что толь нестройно врет
Конечно — это он, что Сукин сын слывет. [95]

Последние две строчки требуют более внимательного отношения к себе. Здесь говорится, что предполагаемый автор — «Сукин сын слывет». Конечно, может быть, здесь имеется

в виду настоящая фамилия автора — Сукин; но скорее можно эти слова понять в прямом смысле, что автор только слывет Сукиным сыном. Иными словами, скорее всего под этим именем можно предположить известного уже нам поэта М. Г. Собакина, которого, очевидно, в литературных кругах, не слишком вежливо играя на смысловом значении его фамилии, называли Сукин или Сукиным сыном. Служил он в это время в Коллегии иностранных дел под начальством вице-канцлера М. И. Воронцова, и, вероятно, ориентировался в те годы на шуваловско-воронцовскую группу. Таким образом, его выступление против сумароковско-елагинской сатиры на петиметров может быть вполне понятно.

Нельзя, конечно, отрицать того факта, что в рассматриваемой здесь полемике борьба с шуваловско-воронцовской галломанией, одним из выражений которой было «петиметерство», представляла только одну, хотя и самую важную сторону. Была здесь и более специальная, узко литературная проблема. Надо полагать, что обращение Елагина к Сумарокову, как учителю и литературному вождю, расценивалось и самим Ломоносовым и его сторонниками как продолжение ранее начатой кампании, выразившейся в пародической афише «Тамиры» и в «Послании к Сумарокову» («Ты, которого природа...»). Может быть, к этому времени относятся некоторые «Вздорные оды» Сумарокова, о которых подробнее будет сказано в дальнейшем.

Нападки на Ломоносова со стороны Елагина и Сумарокова, хотя, — надо это подчеркнуть, — в полемике, вызванной «Сатирой на петиметра», сам Сумароков как будто участия не принимал, [96] нападки эти заставили И. И. Шувалова обратиться к Ломоносову с недошедшим до нас письмом, вызвавшим любопытный ответ Ломоносова.

Милостивый Государь Иван Иванович!

В исполнение приказания, от вашего превосходительства в нынешнем письме присланного, не могу никоим образом отказаться по вашему убеждению, почитая вашу неоднократно объявленную мне волю. И так, хотя учинить отпор моим ненавистникам, незнаю и весьма сомневаюсь, не больше ли я им благодарить и их хвалить, нежели мстить и уничтожать, должен; благодарить за то во первых, что они меня своей хулой хвалят, и к большему приращению малой моей славы не пожалели себя определить в Зоилы, что я не за меньшую услугу себе почитаю; второе за то, что они подали причину вашему превосходительству к составлению нынешнего вашего ко мне письма, с разными рассуждениями, до

словесных наук касающимися, которое бывших, настоящих и будущих Зоилов злобу в ничто обращает, и в котором я не столько заслуги, сколько свою должность вижу. Они стихи мои осуждают и находят в них надутые изображения, для того, что они самих великих древних и новых стихотворцев высокопарные мысли, похвальные во все веки и от всех народов почитаемые, унизить хотят. Для доказательства предлагаю вашему превосходительству примеры, которыми основательное оправдание моего им возможного подражания показано быть может. Из Гомеровой Илиады п. 5.

Внезапно встал Нептун с высокия горы,
Пошел и тем потряс и лесы и бугры;
Трикраты он ступал, четвертый шаг достигнул
До места, в кое гнев и дух его подвигнул.

Из Виргил. Енеиды. кн. 3.

Едва он речь скончал, великая громада
С горы к водам идет, среди овечья стада
Ужасной Полифем, прескверный изувер,
Исполнен ярости и злобы выше мер,
Лишася зрения он дуб несет рукою
Как трость, и ищет тем дороги пред собою.
Зубами заскрипел и морем побежал,
Едва во глубине до бедр касался вал.

Как сему Камоенс подражает, можно видеть в моей Риторике § 158. Кроме сих Героического духа стихотворцев и нежный Овидий исполнен высокопарными мыслями:

Из превращений кн. 1.

Трикраты страшные власы встряхнул Зевес,
Подвинул горы тем, моря, поля и лес.

и из книги 15.

Я таинства хочу неведомые петь:
На облаке хочу я выше звезд взлететь,
Оставив низ пойду небесною горою,
Атланту наступлю на плечи я ногою.

Сим подобных высоких мыслей наполнены все великие стихотворцы, так что из них можно составить не одну великую книгу. Того ради я весьма тому рад, что имею общую часть с толь великими людьми; и за великую честь почитаю с ними быть опорочен неправо; напротив того за великое несчастие, ежели Зоил меня похвалит. Я весьма не удивляюсь, что он в моих одах ни Пиндара ни Малгебра не находит: для того что он их не знает и говорить с ними не умеет, не разумея ни Погречески ни Пофранцузски. Не к п ношению его говорю, но хотя ему доброе советывать за его ко мне усердие; чтобы хотя одному поучился. Заключая сие, уверяю ваше превосходительство, что я с Перфильевичем переписываться никогда намерен не был; и ныне, равно как прежде сего Пародию его на Тамиру, все против меня намерения и движения пропустил бы я беспристрастным молчанием без огорчения, как похвалу от

его учителя без честолюбивого услаждения; естьли бы я не опасался произвести в вас неудовольствие ослушанием. Но и еще при том прошу, ежели возможно, удовольствоваться тем, что сочинил Гдн Поповской, почетший за свою должность по справедливости, что Перфильевич себе несправедливо присвояет. Данной мне от него титул никогда бы я не оставил в его стихах, естьли бы я хвастовством моих завистников не принужден был рассудить, что тем именем ныне ученику меня назвать можно, которым меня за двадцать лет учители мои называли. Всепокорнейше прошу извинить тесноту строк. С усерднейшим высокопочитанием пребываю вашего превосходительства.

Из Санкпетербурга
16 октября 1753 года.

всепокорнейший слуга
Михайло Ломоносов. [97]

Из этого письма Ломоносова явствует, что И. И. Шувалов требовал от него ответа на выпады зоилов. Слова: «еще при том прошу ежели возможно, удовольствоваться тем, что сочинил Гдн. Поповской, почетший за свою должность по справедливости, что Перфильевичь себе несправедливо присвояет» можно понять в том смысле, что во 1), в полемике вокруг «Сатиры» Елагина какая-то пьеса принадлежит Поповскому, во 2), что Шувалов предлагал Ломоносову принять непосредственное участие в этой полемике и тот предлагал «удовольствоваться» ответом Поповского, который как ученик Ломоносова «почел за свою должность по справедливости», вступиться за обиженного лирика. Повидимому, именно так и обстояло дело. «Возражение или Превращенный петиметр» было написано Поповским; не случайно оно в «Казанском сборнике» стоит непосредственно вслед за «Сатирой» Елагина. Упоминаемый в письме Ломоносова к Шувалову «титул», — вероятно, стих:

Парнасского писца для бога, не замай.

Исполняя желание И. И. Шувалова, Ломоносов сделал это двояко, — в форме стихотворной — «Златой младых людей и беспечальной век...», и в виде письма, обращенного будто бы к неизвестному лицу, очевидно, к тому же Шувалову. Повидимому, эпистолярная форма для публичного выступления была избрана Ломоносовым в данном случае для того, чтобы, с одной стороны, скрыть свой стихотворный ответ, а, с другой, подчеркнуть несерьезность литературных претензий своих противников, не заслуживающую более основательной трактовки. Письмо это очень остроумно, в нем «под видом защиты Сумарокова от

мнимых нареканий Елагина, Ломоносов, — как правильно заметил А. Н. Афанасьев, — зло насмехается над ними обоими, и над творцом „Семиры“ еще более, нежели над его панегиристом».[98]

Вот это письмо.

Милостивый государь. По желанию вашему все, что в моей силе состоит, готов исполнить, и токмо одного избавлен быть прошу, чтобы не мне вступать ни в какие критические споры. В присланном Елагиным на письме к Сумарокову, он употребленную рифму: Россия, Индия, на смех в пример поставил. Я подлинно знаю, что сия рифма также не хороша, как известная вам у Расина, и для того Елагин лжет, что он ею любовался.

Много бы я мог показать бедности его мелкого знания и скудного таланта, однако, напрасно будет потеряно время на исправление такого человека, который уже больше десяти лет стихи кропать начал, и поныне, как из прилагаемых строчек видно, стихотворческой меры и стоп не знает, не упоминая чистых мыслей, справедливости изображений и надлежащим образом употребления похвал и примеров. Сие особливо сожалительно об Александре Петровиче, что он, хотя его похвалить, но не зная толку, весьма нелепо выбранил. В первой строчке почитает Елагин за таинство, как делать любовные песьни, чего себе Александр Петрович, как священнотайнику приписать не позволит и Паном песенным назвать себя не допустит. Семира пышная, т. е. надутая, ему неприятное имя, да и неправда, затем что она больше нежная. Рожденныя из мозгу богини сыном, т. е. мозговым внуком, не чаю, чтоб Александр Петрович хотел назваться, особливо, что нет к тому никакой дороги. Минерва трагедий и любовных песен никогда не сочиняла; она богиня философии, математики и художеств, в которые Александр Петрович, как человек справедливый, никогда не вклеплется, и думаю, когда он услышит, что Перфильевич на него взводит, то истинно у них до войны дойдет, несмотря на панегирик. Наперсником Буаловым назвать Александра Петровича несправедливое дело. Кто бы Расина назвал Буаловым наперсником, то-есть его любимым прислужником, то бы он едва вытерпел: дивно, что Александр Петрович сносит. Кажется сверстать его с Александром Петровичем истинная обида. Российским Расином Александр Петрович по справедливости назван, за тем, что он его не токмо половину перевел в своих трагедиях по русски, но и сам себя Расином называть не гнушается. Что не ложь, то правда. Однако и Перфильич, называя его защитником истины, дает ему титул больше, нежели короля английского: он пишется защитником веры, но право или нет, о том сомневаться позволено. Александр Петрович защитник истины, Великий человек, ежели Перфильич про него не так солгал, как и [о] рифме Россия — Индия, будто он ею любуется. Дважды поносит он своего благого учителя явно, в третий ругательски хвалит: поносит первое, что учит его яко бы скрытно, не показывая, откуда берет рифмы, и будто бы от него хочет посулов; второе, яко бы все стихотворческое ис-

кусство Александра Петровича состояло в приискании скором рифм, несмотря на мысли, в чем я сам спорю и подтверждаю его же, Елагина словом, что Александр Петрович, ищучи рифм, сам не ломается, но, как человек осторожный, лучше вместо себя ломает язык российский, правда хотя не везде, однако нередко. Наконец ругательский титул: благий учитель. Благий по славянски добрый знаменует и точному разумению писаться надлежит до божества, как оное свидетельствует: никто же благ токмо един бог. Я не сомневаюсь, что Александр Петрович боготворить таким образом себя не позволит. И так одно нынешнее российское осталось знаменование: благий или блаженный: нестерпимая обида. Однако еще несноснее, что он, Аполлона столкав с Парнаса, хочет муз отдать в послушание Александра Петровича, или по его мнению, бесстыдному мщению уже отдал, думая, что музы без Сумарокова никому ничего дать не могут.[99]

Нельзя отказать настоящему письму в тонкой иронии, меткости и строго выдержанном корректном тоне. Именно это обстоятельство, повидимому, заставило одного из участников полемики, сторонника Елагина, написать строки, признанные А. Н. Афанасьевым, правда отнесшим их к стихотворению «Златой младых людей и беспечальный век», «уж слишком снисходительными»:

Он то хулит, что там хулы было достойно,
Но порицал при том сатирика пристойно.[100]

На дальнейших перипетиях этой полемики останавливаться подробно нет смысла: в основном спор шел по двум намеченным линиям — за или против «петиметерства» и о характере сатиры. В этом отношении особый интерес представляют два стихотворения, как бы подводящие итог полемике, одно приписываемое Тредиаковскому, другое «чрез напольного поручика Брайко».[101] Оба они даны в приложениях (IX—X) к настоящей главе.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ

I

Златой младых людей и беспечальной век
Кто хочет огорчить, тот сам не человек:
Такого в наши дни мы видим Балабана,
Бессильного младых и глупого тиранна,
Которой полюбить все право потерял,
И для ради того против любви восстал.
Но вы, красавицы, того не опасайтесь.
Вы веком пользуйтесь и грубостью ругайтесь,

И знайте, что чего теперь не меет сам,
То хочет запретить ругательствами вам.
Обиду вы свою напрасную отмстите,
И глупому в глаза насмешнику скажите:
Не смейся, Балабан, смотря на наш наряд,
И к нам не подходи — ты, Балабан, женат.
Мы помним, как ты сам, хоть ведал перед браком,
Что будешь подлинно на перву ночь свояком,
Что будешь вотчим слыть, на девушке женясь,
Или отец княжне, сам будучи не князь, —
Ты, все то ведая, старался дни и ночи
Наряды прибирать сверх бедности и мочи.
Но еслиб чистой был Диане мил твой взгляд,
Иль был бы, Балабан, ты сверх того богат;
То [б] ты на пудре спал и ел всегда по саду,
На беса б был похож и спереду и сзаду.
Тогда б перед тобой и самой вертопрах —
Как важной был Катон у всякого в глазах.
Вы все то, не стыдясь, скажите Балабану,
Чтоб вас язвить забыл, свою лечил бы рану.

(Рукопись Ломоносова; ср. Каз. сб., № 4)

II

Возражение или превращенный петиметр.

Открытель таинства поносныя нам лиры,
Творец негодныя и глупыя сатиры,
Из дрязгу рождшейся Химеры глупой сын,
Наперсник всех вралей, российский Афросин,
Гонитель щеголей, поборник петиметров,
Рушитель истины, защитник южных ветров!
Скажи мне, кто тебя сим вздорам научил,
Которы свету ты недавно предложил.
Когда сложенный я тобою вздор читаю,
В нем враки, пустоту и глупость обретаю,
И вижу, что ты их слагая не потел,
Без принуждения ты врал все, что хотел;
Всей силой тщился ты то свету показать,
Что сам Штивелиус не может так соврать.
О горька часть твоя! — я вижу то и сам;
Напрасно объявил ты о себе тот срам,
Что ты по горнице раз сто вкруг обойдешь,
А рифмы ни одной под стулом не найдешь:
Тогда орудие писателей невинно —
Несчастное перо с-сердцев грызешь бесчинно.
Ссылаясь на тебя — ты можешь сам признаться,
Возмог ли-б кто тогда от смеху удержаться,

Увидя то, как ты по горнице вертишься,
Засыпан табаком по всем углам кружишься;
Бумаги стопы три в один день замарал —
И ни одной строки умно не написал,
И только глупые сатиры вымышляешь,
Которыми себя лишь больше всех ругаешь,
А петиметров ты напрасно осудил;
Скажи мне: одного глупяй тебя кто-б был?
Когда гнушаешься сравнять ты их с собою,
Зачем позволил им смеяться над тобою?
Иль мнишь, что их ты сам чем можешь обругать,
Когда ты все начнешь наряды их считать?
Нет, верь, что будет в том тщетна твоя утеха;
Потей хоть кровию, не будет и том успеха.
Хотя ты [даже] сто таких сатир наврешь,
Спасения себе ты мало в них найдешь;
А только тем себя ты больше остыдишь,
Что глупости твоей ты в них не утаишь.
Совет тебе даю их больше не ругать,
Остаться, как ты был, и врать нереставать.
Опомнись, что ты сам птиметром быть желаешь,
Да больше где занять ты денег уж не знаешь.
Так всех теперь, мой друг, в покое оставляй,
Свояков ты забудь и век не вспоминай;
Известно то уж всем, что знал ты и до брака,
Что будешь ты иметь и сам в ту ночь свояка
И будешь вотчим слыть, на девушке женясь,
Или отец княжне, сам будучи не князь.
Горациевых сил напрасно не желай,
Но кто умней тебя — ты тем то оставляй;
Немецких авторов без нужд не защищай,
Не в них одних ты всю премудрость полагай,
Парнасского писца для бога не замай,
Стократ умней тебя — его не задирай;
Когда ж не хочешь ты меня послушать в том,
То знай, что прослывешь повсюду дураком.

(Казанск. сб., № 2)

III

[Ответ.]

Куда с копытом конь, туда и рак с клешней —
Пословица сия сталася над тобой.
О вздорный критикус на вздор, о петиметр!
В тебе ль быть замыслам, в тебе ль беспутном ветр?
С какими тот рожден, то ясно доказал.
Несчастной слабо коль сатиру написал —
Он хулит то, что там хулы было достойно,
Но порицал притом сатирика пристойно.

А ты покрав стихи творениев чужих,
Ты «Афросин» писал со тьмою браней в них,
И глупым вздором сим прославиться желаешь;
Но что за славы ты чрез то дождаться чаешь?
Сатирик на беду своляка вспоминал,
Сам в Балабана он за то уже попал;
А ты подобныя награды дожидайся,
Прилежно в критиках таких же упряжняйся,
И будешь дураком, как Балабаном он;
Статнея бы писал про мотов ты закон.

(Казанск. сб., № 5—Сатира на Ел[агина])

IV

На Телелюя Ел[агину]. Ответ неизвестной.

Развратных молодцов испорченный здесь век
Кто хочет защищать, тот скот — не человек:
Такого в наши дни мы видим Телелюя,
Огромного враля и глупого халуя,
Который Гинтера и многих обокрал,
И мысли их писав, народ наш удивлял.
Но ты сам знаешь то, того не опасайся;
Ты веком пользуйся и глупостью ругайся.
Он, знатно, что тогда шумен был от вина;
Бросаться ж на людей — страсть пьяницы всегда.
Обиде то твоей довольно будет мщенья,
Когда ты лай его забудешь от презренья,
И слуг твоих созвав, одной породы с ним,
Под штрафом учинишь заказ крепчайший им —
Похабствам чтоб таким они не навыкали
И скаредным словам пол женск не научали,
А впрочем на конце сих строк тебе моих,
Елагин[1] мысль скажу мою и всех честных:
На честных кто людей отныне и до век
Враждует — сатана и подлой человек!

(Казанск. сб., № 49)

V

Стихи на епистол И. П. Е[лагина].

Какой ужасный крик и вопль мой дух пронзает?
Какой есть сей народ — Елагина ругает?
И женск и мужеск пол — все брань ему кричат;
Мне мнилось, что его в их злобе умертвят.
Все кары, кои есть, несчастну обещают,
Как можно, всячески со злостию ругают.
В чем преступление Елагин учинил.
Чем он так всех людей на ся ожесточил?
От них узнать вину никак мне невозможно.

В ответ лишь мне кричат: «Он всем злодей неложно!»
Скажи хоть ты мне Феб, отец наукам всем!
Он был тобой любим, в вину впал ныне чем?
Се вижу [ныне я]: молитву Феб внимает,
Сквозь грома, молнии с небес он отвечает:
«Не мни, что нынь его я меньше возлюбил;
Как прежде мне он был, таков и ныне мил.
Все таинства ему Парнасса открываю,
Премудрость на него обильно изливаю.
Боалов ныне дух в нем стал возобновлен,
Подобен он ему в стихах стал дерзновен,
Он тщился из людей пороки истреблять,
Против Птиметра он осмелился писать...
Ты хочешь знать, за что он в ненависть [им] впал —
Он тем виновен лишь, пороки что ругал,
Ругаясь дурам тем, кои то почитают,
Коих кокетками французы называют.
Сей злобный же народ, кой на него восстал,
Бранят его, что он их явно описал».
Промолвив лишь сие, от глаз моих сокрылся,
И путь его по нем лучами осветился.
Потом на сей народ я обратил свой взор
И слушал вредной их к поэту разговор
Но [в] столько голосов они тогда кричали,
Что вслушаться не мог, лишь уши ожужжали.
И всяк безумственно, как бешенной кричал,
Все говорили вздор, никто не отвечал.
Хоть мног тут был народ, коих еще стеснялось,
Но в сдешнем городе, мню, сотни не осталось,
Не чувствовали бы страстей которы сих.
Тогда полился слез поток из глаз моих.
И в скорби злой своей «Увы!» сказал с слезами —
«Вот добродетели награда есть меж вами,
Когда защитник ей злодей вам [ныне] стал,
Как от проступков весь стыд в вас уже пропал.
А ты, Елагин [наш], того [ты] не страшися,
Воздав отечеству долг, их исправить тщися.
Угрозы детские и браи презирай;
Ты смейся злобе их, на славу лишь взирай!»

(Казанск. сб. № 9)

VI

В ответ на сию [т. е. на № V],

Коль Феб тебе с небес сквозь грома говорил,
Что так сатирика наукой наградил,
Поверю я, что он сим богом был любим,
Но чтобы в нем Боал был духом обновим,
Не верить мне позволь, препятствие имею,

Сказать тебе против Юпитера не смею.
Недавно он мне сам с небес же говорил.
Не можно, чтобы враки сей дух возобновлял,
От глаз моих скрываясь, в последнее сказал:
Умом кто так обижен, не может быть Боал;
Так видно наш сатирик ученый стал дурак:
Прочтя его стихи — то, чаю, скажет всяк.
Несходство их довольно с Боаловыми видно;
Одни хвалы достойны, другие же противно:
Наряды лишь бранят, за важну страсть считая —
И ленту кто милует, ту к шпаге прицепляя.
Не чаю, чтоб Боал о лентах рассуждал;
Важнее есть пороки, кои он осуждал.
Хоть двести крат кричи: уж ужасть как мила!
Его та беспокоить нимало не могла.
Но наш сатирик слабой нам только описал,
Как славный Жоликер Проспера побеждал,
Как, в зеркало глядясь, кто мушку налепляет;
Он все оставя страсти, лишь щеголя ругает.
Сей славныя сатиры нам плод таков полезен,
Творец как петиметру за слог ее любезен.
Неправо добродетели он назван защититель,
Чтоб Феб тебе сказал что он его учитель
Не спорю, что наукой обильно награжден,
Но разумом, как видно, он мало одарен.

(Казанск., сб., № 10)

VII

Сатира

на употребление французских слов в русских разговорах.

Великость языка российского народа
Колеблет с рвением неистова погода.
Раздуты вихрями безумными голов
Мешая худобу с красой российских слов,
Преславные глупцы хотят быть мудрецами,
Хваляся десятью французскими словами,
И знание себе толь мало ставят в честь,
Хоть праведно и тех не знают произнесть.
Природной свой язык неважен и невкусен
И груб им кажется в речах и неискусен.
Кто точно мысль свою изображает так,
Чтоб общества в словах [его] был [виден] смак,
Где слово приплетешь не кстати по-французски
Изрядно скажешь ты и собственно по-русски
Но не пленяется приятностью сей слух,
На нежность слов таких весьма разумный глух,

Не заплетен отнюдь язык наш в мыслях трудных,
Коль громок в похвалах, толь силен в тяжбах судных,
Любовный нежно он изображает зной,
Выводит краткость въявь, закрыту темнотой.
Каким прекрасный Рим превозносился словом,
Такой же кажет нам Россия в виде новом.
Как был [там] Цицерон витийством знаменит,
Так в слове греческом Демосфен плодовит.
Возвысили они своих отечеств славу,
Принявши честь себе слыть мудростью по праву.
Примеру многие последуя сему,
Желают быть у нас за образец всему.
Надменны знанием бесплодныя науки,
На ветер издают слов бесполезных звуки,
Где показать в речах приятной вкус хотят,
И мудрость тем открыть безумию спешат.
Заслуги ль к отчеству геройски выхваляют,
Мериты знатные стократ усугубляют,
За склонности кому сей род благодарит,
Не благодетель тот ему, но *фаворит.*
Не дар приемлет. Что ж? дражайшие *презенты,*
И хвалят добрые не мысли, *сантименты.*

(Казанск. сб., № 48; ср. Артемьев, цит. соч., стр. 189)

VIII

Тебе не сродно то, Гораций что имел,
И верь, что лишнее подумать ты посмел.
Ты петиметром быть и сам всем сердцем хочешь,
Да денег лишь занять найти нигде не можешь:
Богатство на табак свое, знать, издержал,
Как засыпался им, стихи когда писал.
А авторов за то немецких почитаешь,
Что по-французски ты ни слова сам не знаешь.

(Казанск. сб., № 6)

IX

Возражение на сатиру против петиметров, чрез Тредиа[ковского].

Не петиметров я стихом здесь обличаю;
На сатиру их зря, я головой качаю.
О небо! что то, что и за сумбур и сброд,
И что писцов у нас [восстал] за дерзкой род!
Как равен уж такой здесь Боалу, Расин[а]м,
Еще произнесен [превознесен?] от богодщери сыном,
В ком тени красоты словесныя их нет,
В том глупость без конца, в том самой мрак не свет,
Эх, как не возопить: о времена, о нравы!

Бесстыдство, ложь и злость толь рыщут без управы.
Открытель таинств он... Когда? каких? кому?
Зажать должно свой зев свидетельству тому.
Доброт и крас отнюдь он никаких не зчает;
На ветр, как тот, и та вся сатира болтает.
Но только вчуже стыд меня, чтеца, и[р]оник:
Каков учитель сам, таков и ученик!

(Казанск. сб., № 3)

X

Сатира II чрез Тред[иаковского].

Что бешенство ввелось у нас между писцами?
Иль пред последними се сделалось годами?
Оружием себя всяк прежде защищал,
Или прекрепкой щить противу поставлял,
Чтоб меч скользнул, не дав [бы] смертного удара;
А ныне хотя нет такого в людях жара
Обиду защищать, [вдаваяся] на смерть,
И тем бы жизнь скончав, обиды не терпеть,
А для того закон сему злу запрещает,
И власт[ь] отмщения перу не поручает.
Да так, юстиция сие чтоб разобрала,
Довольство тотчас бы обиженну подала,
Но вместо прав нашлись [к]акие-то судейки,
Без привилегии судят все, как затейки;
Согласия в них нет, в них только что раздор;
Какими-то стишки чинят свой приговор,
И в людях хулят все и в тех, кто их умнея,
А не признают то, что сами всех глупея.

(Казанск. сб., № 12)

XI

Сатира соч. чрез напольного поручика Бра[йко?].

Довольно не могу я людям надивиться,
Которые хотят сатирой возноситься,
Напрасные труды к тому употребя,
Ругаючи других находят в ней себя.
Какова ждать должна сатира та успеха,
Кроме обратного ругательства и смеха.
Довольно показал один пример то нам.
Когда кого ругать, не будь таков и сам.
Немногие еще прославились в сем роде,
Да льзя ль и зделать что сатирою в народе?
Возможно ли того достигнути конца,
Чтобы ею обратить испорченных сердца,
Когда мы видим, что законы, ни уставы
Не могут истребить в народе злые нравы?
Когда ни [самый] страх, ни муки, ни гроза

Не могут ужаснуть преступников глаза,
И несмотря на все столь строгие заказы
Не истребят худых обычаев заразы?
Что может, рассуди, сатира произвесть,
Хотя ты испиши бумаги целу десть?
Лишь кто ее прочтет, хоть знает, хоть не знает,
Без рассуждения поносит и ругает,
Увидя свой портрет, друг за друга вступясь,
Со братом брат, и кум с кумой совокупясь.
Я только говорю, разумных исключая —
Стараются отмстить, обидой почитая.
Иной незнаючи, каков сатиры склад,
Услыша у других все хулит на угад.
Хоть кстате или нет, того не разбирает
Да как и разобрать, он сам того не знает,
Другой, не разлічив, что худо, что добро,
Хватается скорей к защите за перо.
Слепивши как нибудь стишков весьма нестройных,
Выходит из границ сатир благопристойных.
Иной лишь выучив псалтырь да часослов,
Подумал о себе, что он и богослов.
Умей написать лишь только аз и буки
Возмнил, что знает все искусства и науки,
Искусен ты до бук, но недостиг зела,
И ты вступаешься здесь в письменны дела.
Ах, лучшеб никогда на свет тот не родился,
Против которого писать ты устремился.
Опомнися, дружок, конечно, ты забыл,
Что [даже] азбуки совсем не доучил.
Немного в том добра, а в том искусства мало,
Чтоб так писать стихи, как в разум ни попало.
Сим образом писать, я мню, немудрено,
Что названо бело, то называть черно.
Чрез то ни похвалы, ни славы не достанешь,
Лишь будет всяк бранить, пока не перестанешь.
Вот все сатирикам желанные плоды,
Которые себе получат за труды.
Чего же мне желать, коль я кого обижу,
А, в прочем, никакой я пользы в ней невижу,
Успех гораздо мал, что моды так бранишь,
Лишь сам против себя ты всех вооружишь,
И вместо пользы той, для коей ты ругаешь,
Злодеев наживешь, которых и не чаешь.
Какая нужда мне роскошного бранить,
Он сам узнает то, что не умел дом жить.
Богатый для меня нимало не досаден,
Что я не так, как он достаточно наряден.
Завидовать ему не стану я вовек,

Я знаю, что *и я* такой же человек,
Сегодня он богат, я завтра буду вдвое.
Не в том различие, но есть совсем иное.
Кто горда иль льстеца сатирою бранит,
Не много в них она движенья учинит.
Пускай он [сам] себя всех выше возвышает,
Он, презирая всех, от всех презрен бывает.
Пусть голову вздрав, как добрый ходит конь,
Дорогу дашь ему, лишь он меня не тронь.
Другой, стараясь в том, чтоб все ево любили,
Прельщает пусть того, кто любит, чтоб хвалили.
Для прибыли своей все способы сыскав,
Возмет ли он себе сатиру за устав.
Он самолюбию, тщеславью угождает,
Скупому скупость он за разум представляет,
Он в моте мотовство щедротою зовет,
Для пьяницы вины хвалы он не найдет.
И, словом, всякому он в сердце скоро входит,
Корыстуяся сам, других в погибель вводит,
И лицемеря ждет последнего конца.
Что может в свете быть опаснее льстеца!
Хоть львовой ярости и самый вид ужасен,
Не столько нам и он, не столько тигр опасен,
Они живут в горах, или в лесах густых,
Спасешься и от них, когда не тронешь их.
А сей домашний зверь, губитель смертных рода,
Который так как ветр, куда несет погоду,
В ту сторону и он свой испускает ход,
Доколь тот веет ветр, ласкать до тех пор рад.
Лишь только ветр опять в другу страну повеет,
С ним парусы и он переменить поспеет.
Возможно ли, что в нем сатирой произвесть?
Всяк в воздаяние достойну примет месть.
Не трогай никого, никто тебя не тронет,
Что нужды, как скупой под игом страсти стонет.
Пускай над деньгами он день и ночь корпит,
Всю ночь на сундуке на войлоке проспит,
Для праздника он съест селедочку с витушкой.
Да и тогда на квас расстаться жаль с полушкой.
Для друга поднесет он чарочку винца,
Довольно в день и двум по фунтика мясца,
А что останется, то к завтрему годится,
И в гроб таков пойдет, каков на свет родится.
От скупости ево я тем не удержу,
Лишь всех против себя скупых вооружу.
Посмотрят ли на то и пьяницы в трактире,
Хотя б их имена написаны в сатире.
Против картежника хоть стопу напиши,

Воздержится ли он, увидя барыши.
Он, упражняяся в подборах и обмане,
Не может не играть, коль есть хоть грош в кармане.
Не вспомнит он тогда, что нечево жевать,
Он лучше не поест, как в карты не играть.
Когда он проиграл все деньги из кармана,
Довольно ль, нет еще, дойдет и до кафтана.
Забудет, хоть была б жестокая зима,
Кто скажет и тогда, что он не без ума.
И если это так, возможно ли представить,
Что льзя безумного [хоть чем нибудь исправить]
Успех тот будет худ, таких людей бранить,
Что худа от добра не могут отличить.
И страстью ослепясь беспутной и негодной,
Именье потеряв, теряют ум природной.
Что нужды мне до них! Ни слова не скажу,
Хула для них слаба, что я их осужу,
К чему привыкнет кто, не скоро тот отвыкнет:
Я мало устращусь, когда ворона вскрикнет,
Так может быть для всех сатиры [ль] брань страшна?
От злово тем меня не отвратит она.
Кто совести в себе и чести не имеет,
Хоть надорвись браня, так тот не покраснеет,
Когда признания в ком нет и нет стыда,
Слова его ничем не тронут никогда,
Не любит сын отца, что он содержит грозно,
Потом, что в воле жил раскается, но поздно.
Имеет всякой ум, у всех рассудок есть,
Что сделает кому хулу [он] или честь,
Почто совет давать, когда не принимают,
Сатирики себя пустым увеселяют.
Глухому говорить, слова лишь потерять.
Нельзя тому, кто слеп, цветы распознавать.
Кто хочет, так живи, не лучше ль так оставить,
Кто глуп, кто глух, кто слеп — сатирой не исправить.

(Казанск. сб., № 11).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЛЕМИКА В «ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СОЧИНЕНИЯХ»

В истории русской литературы и журналистики «Ежемесячные сочинения», издававшиеся Академией Наук с 1755 по 1764 г. занимают видное место. Однако, после работ В. А. Милютина (1851) и П. П. Пекарского (1867),[1] охарактеризовавших, с одной стороны, содержание журнала и его отношение к иностранным источникам и, с другой, его внешнюю историю, «Ежемесячные сочинения» внимания исследователей не привлекали, и этот важный для науки материал до сих пор остается разработанным лишь с точки зрения историков литературы и журналистики средины прошлого века. А эти исследователи подходившие к литературной продукции XVIII в. с предвзятым взглядом, — будто она имеет исключительно абстрактный, лишенный злободневности характер, — именно в силу этого не видели явно выпиравших фактов — полемики, и довольно оживленной, развернувшейся на страницах журнала уже в первый год его издания. Полемика эта носила по внешности исключительно теоретический характер, но на деле представляла продолжение более ранних столкновений двух явно противостоявших друг другу группировок внутри дворянского лагеря: крупно-дворянской, придворно-аристократической, с одной стороны, и средне-дворянской, с другой. Выразителем взглядов первой группировки был Ломоносов, от лица второй на этот раз выступали И. П. Елагин и Г. Н. Теплов; глава их кружка, А. П. Сумароков, занял почему-то позицию более умеренную.

Полемика 1753 г., захватившая, повидимому, и 1754 г., стала принимать формы личные и мало связанные с общественными и — более специальными — литературными вопросами, составлявшими предмет спора вначале. Надо полагать, к этому времени относится грубо-памфлетная «Эпистола от водки и сивухи к Ломоносову».

Неутолимый наш и ревностный певец,
Защитник, опекун, предстатель и отец!
Коль много обе мы тобой одолжены;
Мы славны по тебе и честью почтены.
Когда б ты в тучное нас чрево не вливал,
Никто б о бедных нас и не воспоминал.
А ныне пухлые стихи [твои] читая,
Ни рифм, ни смыслу в них нигде не обретая,
И разбирая вздор твоих сумбурных од,
Кричит всяк, что то наш — не твой сей тухлый плод,
Что будто мы — не ты стихи сии слагаешь,
Которых ты и сам совсем не понимаешь,
Что не Пермесский жар в тебе уже горит,
Но водка и вино сим вздором говорит,
Что только ты тогда и бредишь лишь стихами,
Как хватишь полный штоф нас пышными устами.
Вот в какову теперь мы славу введены!
Но славой сей тебе мы, отче наш, должны.
Когда б не врал стихов, мы б в вечном сне замерзли,
Или в несытой бы алчбе как прах исчезли,
Сию ты продолжай к нам ревностну щедроту;
Дадим к вранью еще мы большую охоту.
Пускай, коль хочет кто, пребудет твердо в том,
Что пахнет всякой стих твой водкой и вином;
Не гневайся на то, тебя в том не убудет;
Довольно таковых людей еще здесь будет,
Которые тебя писцом все будут звать.
Как можно только тщись темнее оды ткать,
На ясность не смотри, пиши и завирайся,
О славе будущей в потомстве не старайся;
На что тебе она? не в гроб ее нести!
Когда умрем, по нас трава хоть не расти. [2]

Обширные размеры полемики вокруг елагинской «Сатиры на петиметра» и большая заинтересованность литературных кругов объектом спора не могли не повлиять на Ломоносова. Бесцеременно-грубые формы этой полемики, переводившие ее из русла социального в более узкие, личные споры, не могли не натолкнуть Ломоносова на мысль о необходимости внести какой-то корректив в существующий в современной ему литературной практике порядок.

В самом начале 1754 г. Ломоносов в письме И. И. Шувалову, сообщая, что безуспешно старался достать для него старинное академическое издание «Примечания на ведомости», и отметив редкость «Примечаний» и большой интерес читателей к подобным изданиям, высказал мысль о желательности возоб-

новления аналогичного журнала: «Весьма бы полезно и славно было нашему отечеству, когда бы в Академии начались подобные сим [т. е. Примечаниям] периодические сочинения; только не на таких бумажках по одному листу, но повсямесячно, или по всякую четверть или треть года, дабы одна или две-три материи содержались в книжке, и в меньшем формате, чему много имеем примеров в Европе, а из которых лутчим последовать, или бы свой применяясь выбрать можно». [3] Характеризуя свое предложение как «намерения и желания любителей наук», Ломоносов не находил нужным связывать идею издания журнала с только что закончившейся или заканчивавшейся полемикой (письмо датировано 3 января 1754 г.). Однако не может быть сомнения, что эта идея Ломоносова находилась в тесной связи с его литературными боями с сумароковско-елагинской группой. Сознавая силу и значение печатного слова, что сказалось в «Диссертации о должности журналистов», относящейся к тому же 1754 г., Ломоносов хотел, очевидно, создать, взамен обычных тогда рукописных форм полемики, литературный печатный орган, где тем же вопросам можно было бы придать серьезный и благопристойный характер и более общий интерес.



Г. Н. Теплов.

В заседании Конференции Академии Наук 28 ноября того же года обсуждалось предложение президента Академии гр. К. Г. Разумовского «о предприятии периодического издания, которое и состоялось потом под именем: «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие». Зная, что сумароковско-елагинская группа может через адъюнкта Г. Н. Теплова, правую руку Разумовского, использовать журнал в своих целях, Ломоносов выдвинул предложение о том, чтобы отдельные статьи, предназначаемые для журнала, предварительно обсуждались на академических собраниях. Censeo tamen singula, — сделал Ломоносов приписку против своей подписи в протоколе, — in conventibus

academicis praelegenda, antequam publici juris fiant. (Однако полагаю, что отдельные пьесы должны быть прежде, чем будут опубликованы, прочтены в академических заседаниях.) Мнение Ломоносова оспаривалось; Тредиаковский, например, опасался поводов к спорам и к проволочкам времени. Оживленные обсуждения продолжались не одно заседание. «Но — прибавляет один из историков Академии, — из протоколов не видно, чтобы Ломоносов принимал живое и деятельное участие в этом издании».[4] Действительно, по протоколам установить степень активности Ломоносова в «Ежемесячных сочинениях» нельзя. Тем не менее, он принял в них участие в первый же год, но выступил анонимно.

Много времени заняло у академиков обсуждение характера и программы издания. После устранения разногласий известный академик Г. Ф. Миллер, которому было поручено редактирование «Ежемесячных сочинений», изложил «платформу» академического журнала в особом «Предуведомлении».[5]

Аргументируя возникновение журнала, Миллер писал:

Пользу ученых журналов и подобных тому записок, издаваемых в почтовые дни, понедельно и помесячно, выхвалять, кажется, нет нужды. Все Европейские народы в том согласны, и доказывают сие бесчисленными примерами. Многие и поныне с удовольствием читают оные примечания, которые с 1729 по 1742 год, от некоторых здешней Академии Наук членов, при ведомостях издаваны были. Читатель не чувствительно наставляется, когда в определенное время получает по немногому числу листочков вдруг; и сие наставление обыкновенно тверже в нем вкореняется, нежели чтение больших и пространных книг. Любопытство его притом всегда умножается, когда наступает время, в которое новой лист, или новая часть такого сочинения из печати вытти имеет. Редко кто не захочет оного читать; а для краткости своей не может оно никому наскучить; и едва ли кто покинет его из рук, не прочитав от начала до конца. Чего больше желать должно, когда всякой раз хотя малое что найдется, чем каждый читатель, по своему любопытству и охоте к Наукам, удовольствован будет?

Переходя затем непосредственно к вопросу об издании «Ежемесячных сочинений», редактор сообщал читателям:

Так-е полезное дело ныне, достохвальным попечением его высокографского сиятельства ясновельможного малороссийского гетмана и Академии Наук президента, к общему удовольствию учреждено паки. Члены Академии, ничего так не желая, как, чтоб Российскому государству и народу трудами своими приносить действительную пользу, и сколько возможно возбудить во всех удовольствие, какое производит знание Наук,

всеми силами стараться будут заслужить себе похвалу у читателей. Они же притом и другим любителям Наук, которые пожелают труды свои показать свету, представляют место в сих Сочинениях.

Далее Миллер характеризует содержание и направление журнала. При этом необходимо обратить внимание на те отделы журнала — экономия, купечество, рудокопные дела, манифактуры, механические рукоделия и т. д. — которые находились в полном согласии с шуваловско-воронцовской программой.

При таком учреждении, каково сие, мы себе точных пределов не предписываем; но надлежит, смотря по различию читателей, всегда переменять материи, дабы всякой, по своей склонности и охоте, мог чем нибудь пользоваться. И так предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно: не одни только рассуждения о собственно так называемых Науках, но и такие, которые в Экономии, в Купечестве, в Рудокопных делах, в Манифактурах, в Механических рукоделиях, в Архитектуре, в Музыке, в Живописном и Резном художествах, и в прочих, какое ни есть новое изобретение показывают, или к поправлению чего нибудь повод подать могут.

Касаясь формы изложения статей в журнале, Миллер прибавлял:

Одни токмо те сочинения выключены от нашего намерения, кои ради глубокого их смысла не всем ясны и вразумительны бывают: ибо мы за правило себе приняли, писать таким образом, чтоб всякой, какого бы кто звания или понятия ни был, мог разуметь предлагаемые материи.

Как известно, Миллер был очень хорошо осведомлен о состоянии тогдашней русской литературы. За полемикой начала 1750-х гг. он следил внимательно и, вероятно, непосредственно. Во всяком случае, в одном из его знаменитых портфелей, находящемся в Московском государственном архиве феодально-крепостной эпохи и известном под шифром «портфель № 414», сохранился целый ряд полемических документов того времени, в частности, например, пародическая афиша «Тамиры». Вероятно, в связи с этими сведениями о полемике между Ломоносовым и Елагиным и прочими современными писателями, Миллер писал:

...Для сохранения благопристойности и для отвращения всяких противных следствий, вноситься не будут сюда никакие явные споры, ни чувствительные возражения на сочинения других, ниже иное что с обидою написанное против кого бы то ни было.

Впрочем, академическое издание допускало различие взглядов на отдельные вопросы:

Ежели же какая материя сумнительна, и от разных писателей различным образом изъяснена: то всякому по справедливости позволить надлежит, доколе он держаться будет самого дела, чтоб не опровергать с огорчением мнений другова, но оставлять на рассуждение читателю, которое из них он за справедливое или за вероятное принять сам похочет.

Но, сделав такое разъяснение, Миллер снова возвращается к вопросу о полемическом моменте в «Ежемесячных сочинениях»:

И как мы равномерно желаем, чтоб и Стихотворцы сочинения свои нам сообщали, между которыми быть могут и забавные; то мы надеемся что сочинители оных ни до кого персонально касаться не будут. Чего ради просим всех тех, которые присылать к нам станут свои труды, не отступать от сего нашего намерения.

Буде же в сии наши Сочинения паче чаяния войдет что нибудь, чем бы кто мог быть недоволен; то мы уповаем, что не причтено будет то в вину нашему собранию, ибо всего предвидеть не возможно.

Стихотворческие сочинения принимаем мы наипаче для того, что в них многое весьма сильняе и приятнее изображается, нежели простым слогом: к томуж мы за должность свою признаваем, писать не токмо для пользы, но и для увеселения читателей. Такие стихотворцы, каких Россия ныне имеет, достойны, чтоб потомкам в пример представлены были; а особливо не должны мы умалчивать о тех сочинениях, в которых содержатся достодолжные похвалы величайшей в свете монархине и всемилостивейшей наук питательнице и покровительнице.

Далее следует характеристика прочих отделов: художественной литературы, политического и т. д.

Есть еще другие пиитические сочинения, которые не требуют, чтоб написаны были стихами, а именно: нравоучительные притчи, сны, повести, и подобные тому описания. Изображенные таким простым слогом пиитические вымышления не меньше полезны, коль и приятны. Того ради, намерены мы временем сообщить и такие сочинения; а притом чаем, что и переводы всяких полезных и приятных материй, взятых из иностранных книг, не неприятны будут читателям. Довольно, когда наблюдаемо будет главное намерение, и когда все взятое из тех книг содержать будет очевидную пользу.

Коль великое множество имеем мы еще других материй, когда читателям нашим предвосприимем сообщать экстракты из достовернейших Российских летописей, списки с старинных грамот и с архивных дел, описания церемониям и торжествам при дворе ее императорского величества происходящим, высочайшие узаконения и указы до всенародного благополучия касающиеся, которые, потому что вечно в силе своей остаться имеют, паче других достойны сохранения; и когда притом еще объявлять будем о иностранных и здешней печати новых и полезных книгах, также и о знатнейших политических каждого месяца приключениях. При толь

великом изобилии не мним мы, чтоб когда мог быть недостаток в материях, а еще меньше того опасаемся, чтоб для их различности оные кому наскучили.

Но не будет ли трудности в избрании, между столь многими материями наилучших и полезнейших? Может быть некоторым и не понравится, когда при разности материй усмотрят и разность в слоге; но при таком деле, над которым трудятся разные сочинители, миновать того никак не возможно. Не все и переводы могут им показаться равной доброты, по тому что к оным иногда употреблены будут и молодые люди, которым вдруг достигнуть не возможно до такого совершенства, какое требуется от искусного переводчика. Однако мы, не взирая на все сие, не меньшей пользы от нашего предприятия и благосклонного об оном в читателях мнения ожидаем.

В заключение Миллер извещает читателей и возможных в будущем сотрудников о порядке прохождения статей в «Ежемесячных сочинениях».

Одно еще осталось упомянуть. Все сочинения, сюда вносимые, должны прежде напечатания рассматриваны быть особливым собранием. Мы справедливо надеемся, что никто не потребует, чтоб выключен он был от такого рассмотрения. Ибо сие собрание рассматривать будет не слова и не слог хотя бы и нашлось что требующее поправления; но только самое дело, то есть, чтоб ничего закону, государству и благонравию противного, также и ничего другому, или самому сочинителю предосудительного и чести вредительного, не входило в наши сочинения. Впрочем всякому сочинителю оставляется самому ответствовать в том, что иногда читателям сумнительно, или не довольно доказано показаться может; а собрание никакого участия в том не приемлет.

В заглавии уже показано, что благосклонный читатель продолжения наших трудов чрез каждый месяц ожидать имеет.

Как явствует из приведенных выдержек, главной заботой Г. Ф. Миллера в «Предуведомлении» было подчеркнуть академичность журнала и стремление избежать полемики на его страницах. Не может быть никаких сомнений, что эта настойчиво проводимая мысль находилась в зависимости от только что закончившейся полемики, о которой Миллеру, а, может быть, и другим академикам, было известно и повторения которой на страницах своего журнала Академии, состоявшей под началом гр. К. Г. Разумовского, с одной стороны, и зависящей от всесильного И. И. Шувалова—с другой, всячески приходилось опасаться. Несомненно также, что Миллер, видя расслоенность тогдашних писательских рядов, усматривал в подобной полемике один только личный момент и не осознавал социальных основ этой борьбы

Первые четыре книжки «Ежемесячных сочинений» прошли более или менее благополучно, явно полемического материала в них не было. Впрочем, некоторые сомнения могли вызвать стихотворения в первых двух номерах журнала. Первое — анонимное — озаглавлено: «Правда ненависть рождает» и посвящено как будто абстрактной теме, являющейся заглавием. [6] Другое, тоже анонимное, но по орфографии, языку и стихотворной фактуре несомненно принадлежащее Тредиаковскому, что подтверждается документами, более подозрительно. [7] Называется оно «В крайностях терпение пользует» и, очень возможно, является ответом злосчастного поэта на многократные нападки на него с разных сторон.

Не тела я болезнь стихами исцеляю: —

начинает он свое стихотворение, —

От зол унывший внутрь дух в бодрость восставляю.

Далее он поясняет, что его задача не конкурировать с врачами, а напомнить о consolatio если не philosophiae (утешение философией), то поэзией:

Кто телом заболел, врачи того лечат
Хоть некогда больных лекарством в землю мчат.
Кто ж духом заболел, такому б от Сократа
Долг помощи желать, оставив Гиппократа:
Но ныне Философ для многих странен есть,
И мудрости прямой едва бывает честь.
Так врачество даю болящим из Пиита:
К Пиитам и у нас легла дорога бита.

Затем он обращается к поэту:

Будь пользуяй Пиит, когда увещавать,
И силен сердца скорбь поспешно врачевать.

После этой вступительной части идет непосредственное рассуждение о том, что «в крайностях терпение пользует»:

О! вы, в которых боль по беспокойству духа,
Крушитсяль кто из вас от ложна в людях слуха;
Тщеславный ли язвит, и жалит где кого:
Прегрубый ли блюет всем зевом на него;
Безумный ли какой ругает безобразно;
От злобыль стервенясь иной порочит разно;

Ничтожит ли давно, с презором гордый Ферт;
Чрез сильноголь бедняк несправедливо стерт;
По страстиль чем тебя и нагло кто обидит,
Без всяких ли причин сверьх меры ненавидит;
Иль предпочтен тебе в способности другой;
Или врагом восстал нечаянно друг твой;
Иль ухищренный льстец копает ров лукавно,
На пагубе твоей возвысилсяб он славно;
Иль в очи, ни при ком, хвалить не престает,
Кой за глаза в хулах, при всех, не устает;
Иль, словом, страждет кто из вас навет поносный,
И так, что жизни век затем ему не сносный,
А нельзя пременить, и от того уйти,
Ни способа отнюд к спасению найти:
Послушайте, что вам Гораций предлагает,
Да более дух ваш не преизнемогает,
«Как зло вас, говорит, с покоем разлучит;
«Терпите: всяк, терпя, суровость умягчит».

Возможно, что ответ Тредиаковского своим зоилам не связан именно с полемикой 1753 г., но «защитный» характер этого стихотворения едва ли может быть опровергнут.

Слабые элементы полемики могут быть усмотрены в «Разговоре о должностях человека», в котором встречаются такие фразы:

Сократ

...Таким образом звездочет и стихотворец в ваших глазах суть люди достойные?

Эвагор

Погодите: тут есть несколько справедливого: однако, я бы еще точно утверждать оного не хотел. Мне кажется, что идея человека достойного содержит в себе еще нечто больше.

Сократ

Разве вам хочется сказать, что есть свойства гораздо больше нужные, дабы зделать человека достойного?

Эвгор

Конечно так. Есть кроме звездочетов и стихотворцев довольно людей достойных; есть же напротив того ученых звездочетов и изрядных стихотворцев, коих однакож мало почитают...

Или вот еще:

Сократ

Положим, что человек довольно знает наук и что он об них рассуждает искусно; но ежели бы оной человек был без веры и без благонравия, назвали бы вы его человеком достойным?

Эвгор

Никогда! Я бы его более презирать стал...[8]

Приведенные отрывки из материалов, содержавшихся в первых четырех номерах «Ежемесячных сочинений», показывают, что отчетливо полемического характера названные произведения не имеют и что лишь при желании можно усмотреть в них элементы, намеки на полемику. Совершенно иной характер имеет помещенное в майской книжке «Ежемесячных сочинений» «О качествах стихотворца рассуждение». Оно было напечатано анонимно; ни в переписке Миллера, ни в сохранившихся материалах по «Ежемесячным сочинениям», ни, наконец, в протоколах Конференции Академии Наук нет данных об авторе этого рассуждении. Вообще об этой статье в приведенных в известность материалах Архива Академии Наук можно найти одно, кажется, только упоминание. В протоколе Конференции от 10 мая 1755 г. записано, что «также была предназначена ко включению в майскую книжку диссертация Тредиаковского о древнем, среднем и новом стихотворении российском, но так как в этом номере содержится рассуждение о качествах стихотворца, а диссертация Фишера о происхождении и языке татар по времени поступления предшествует, то постановлено перенести названную диссертацию Тредиаковского в следующую книжку Ежемесячных сочинений, а упомянутую Фишера включить в текущий месяц».[9] Таким образом, и это единственное упоминание об анонимном рассуждении не дает никаких новых данных для решения вопроса об авторе. Однако, нет никакого сомнения в том, что статья эта принадлежит Ломоносову. К доказательству этого тезиса надлежит сейчас обратиться.

В одном из хранящихся в Архиве Академии Наук сборников черновых бумаг Ломоносова имеется отрывок, озаглавленный «О нынешнем состоянии словесных наук в России». Отрывок этот достаточно давно известен в литературе: впервые он был опубликован акад. П. П. Пекарским в «Дополнительном известии для биографии Ломоносова» (1865), а затем перепечатан

акад. М. И. Сухомлиновым в академических «Сочинениях» Ломоносова. Статья эта представляет большой интерес при рассмотрении литературной деятельности автора «Тамиры» и должна была, повидимому, представлять характеристику современной поэту русской литературы. Об этом говорит не только ее заглавие, но и зачеркнутые варианты его — О чистоте российского штиля и о новых сочинениях российских,—а также отброшенное начало: «Предпринимая описание нынешнего состояния словесных наук в России...» Из сохранившегося отрывка явствует, что статья была задумана в полемическом плане. Вот текст ее с сохранением в скобках зачеркнутых мест. «Коль полезно человеческому обществу в словесных науках упражнение, о том свидетельствуют (просвещенные Европейские) древние и нынешние просвещенные народы. Умолчав о толь многих известных примерах представим одну Францию, о которой по справедливости сомневаться можно (должно) могуществом ли больше привлекла к своему почитанию другие государства, или науками особливо Словесными, очистив и украсив свой язык трудолюбием искусных писателей. Военную силу ее чувствуют больше соседние народы, употребление языка не токмо по всей Европе простирается и господствует; но и в отдаленных частях света разным Европейским народам как единоплеменным для сообщения их по большой части служит. Посему легко рассудить можно, коль те похвальны, которых рачение в словесных науках служит к украшению слова и к чистоте языка особливо своего природного; противным образом коль вредны те, которые нескладным плетеньем хотят прослыть (знающими) искусными и осуждая самые лутчие сочинения, хотят себя возвысить; [здесь приписано с боку: «NB возбуждение стыда и раскаяние на конце] сверх того подав худые примеры своих незрелых сочинений (сводят с истинного) приводят на неправой путь юношество приступающее к наукам, в нежных умах вкореняют ложные понятия, которые после истребить трудно, или вовсе невозможно. Примеров далече искать нет нам нужды. Имеем в своем отечестве. Красота, великолепие, сила и богатство Российского языка явствует довольно из книг в прошлые веки писанных, когда еще не токмо никаких правил для сочинений наши предки незнали, но и о том едва ли думали, что оные есть или быть могут (быть на свете)...»

Комментируя этот отрывок, М. И. Сухомлинов вполне правильно связал содержащиеся в нем намеки на каких-то неудач-

ливых литературных учителей с письмами Ломоносова о своих зоилах. Повидимому, этими сопоставлениями имелось в виду подчеркнуть полемический характер отрывка «О нынешнем состоянии словесных наук в России» и хронологически приурочить его ко времени около 1753 г.

Соображения М. И. Сухомлинова о характере и датировке настоящего отрывка должны быть признаны правильными не только в силу указанных им доводов, но и в связи с тем, что есть материалы, еще более подтверждающие выдвинутое положение; материалы эти были в руках как П. П. Пекарского, так и М. И. Сухомлинова, но почему-то не были использованы ими. На том же л. 150, на котором находится отрывок «О нынешнем состоянии словесных наук в России», имеется запись, которая представляет программу следующей ниже статьи, оставшейся незаконченной. Программа эта состоит из следующего:

1. Против грамматики.
2. Какофония: брачные браку.
3. Неуместа словенщизна: дщерь.
4. Против ударения.
5. Несвойственные.
6. Лживые мысли.

Способы.

Натура
Правила
Примеры
Упражнения
довольно — в других делах
я сделал — (неразборчиво)
то и то

Очевидно, статья предполагалась в двух частях: первая должна была представлять разбор какого-то или нескольких конкретных произведений из «новых сочинений российских» со стороны «чистоты российского штиля» — это видно из зачеркнутых заглавий (см. выше). Надо полагать, что некоторые произведения были в стихах; на это наталкивает четвертый пункт программы — против ударения. Повидимому, это было какое-то сочинение Сумарокова начала 50-х гг. или же отрывки из ряда произведений его и его учеников. Так, например, запись — 2. Какофония: брачные браку — наводит на мысль, что здесь фрагмент прозаический; иначе пришлось бы допустить, что в

начале 50-х гг. кто-то (Сумароков?) применял дактиль: Бра́чные бра́ку. Очень интересен пункт 3. Не у места словенщизна: дщерь. Упреки в смешении стилистических рядов писателям дворянам, точнее Сумарокову, сделал в 1750 г. Тредиаковский. Он писал: «Вижу [в стиле трагедий и эпистол] совокупно высокость и нискость, светлость и темноту, надмение и трусость, малое нечто приличное, а премногое непристойное; вижу точный хаос: все же то не основано у него на Грамматике, и на сочинении наших исправных книг, но на площадном употреблении».[10] И сам Ломоносов в «Предисловии о пользе книг церьковных в российском языке», говоря о «среднем штиле», отмечает, что «в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение Славенское положено будет после Российского простонародного».[11] Очевидно, замечание о «не у места словенщизне» нужно понимать в этом именно смысле.

Вторая часть должна говорить о «способах» исправления русской словесности. Здесь в программе перечислялись те пункты, которые, по мнению Ломоносова, могли явиться радикальным средством или, по крайней мере, условием перестройки литературы. По сравнению с цитированным выше (стр. 87) § 2 «Вступления» к «Риторике» 1748 г. нового эта часть программы не содержит. Сопоставление обоих текстов покажет это нагляднее:

Программа		«Риторика» 1748 г.
Способы		К приобретению (красноречия) требуются пять следующих средствий:
Натура	—	перьвое: природные дарования,
Правила	—	второе: наука,
Примеры	—	третье: подражание Авторов,
Упражнение	—	четвертое: упражнение в сочинении,
Довольно в других делах	—	пятое: знание других наук.

Но статья эта Ломоносовым почему-то не была закончена. Возможно, что начата она была еще в 1753 г. под непосредственным впечатлением полемики вокруг елагинской сатиры, и сознание невозможности опубликовать ее остановило Ломоносова. Однако, мысли о статье, посвященной современной литературе, он не оставил и, вероятно, в конце 1754 или начале 1755 г. вернулся к ней, придав ей на этот раз форму рассуждения о качествах стихотворца. Что статья эта не могла быть

написана позднее апреля 1755 г., говорит то обстоятельство, что в заседании Конференции Академии Наук от 10 мая 1755 г. она значится, как включенная в состав майской книжки «Ежемесячных сочинений», в которой она и была напечатана. Не могла она быть написана также ранее 1753 г., так как в ней цитируется «Искусство поэзии» Горация в переводе Н. Н. Поповского, вышедшее в 1753 г. Если принять во внимание, что в течение апреля 1755 г. Ломоносов настолько был занят сочинением «Слова похвального Петру Великому», что не посещал даже заседаний Конференции Академии Наук, то станет очевидным, что написано было «О качествах стихотворца рассуждение» не позднее начала 1755 г.

Положение о принадлежности статьи «О качествах стихотворца рассуждение» Ломоносову высказывалось на предшествующих страницах без приведения доказательств. При этом было отмечено, что документальных подтверждений этого обстоятельства в архивных и печатных источниках найти не удалось. Тем не менее тезис об авторстве Ломоносова может быть доказан иными путями. В самом деле, определение автора анонимного произведения может быть признано безусловным и без наличия каких-либо документов, устанавливающих этот факт, в том случае, если соблюдаются некоторые непременные условия, при этом в своей совокупности, а не порознь взятые. Условия эти следующие:

а) идеологическое единство данного произведения с произведениями предполагаемого автора, относящимися к тому же времени;

б) стилистическое единообразие данного произведения с прочими относящимися к тому же времени произведениям предполагаемого автора; впрочем, следует учитывать возможность стилизации или, наоборот, намеренного сглаживания языковых особенностей (конспирация) и т. д.;

в) совпадение биографических фактов, отразившихся в анонимном произведении, с известными фактами биографии автора.

Помимо этих, так сказать, положительных условий необходимо соблюдение еще одного отрицательного — доказательства непринадлежности данного произведения другим претендентам.

Если обратиться к анализу рассуждения «О качествах стихотворца» со стороны идеологической, то можно установить следующие факты.

В рассуждении «О качествах стихотворца» проводится мысль, что для того, чтобы быть настоящим поэтом необходимо во-1), «иметь дарование от бога особливое к изобретению новых мыслей и быстроту разума природную»; во-2), знать «правила грамматические, риторические» и т. д.; в-3), читать «в оригинале Авторов,... которые от древних веков образцом стихотворству остались, или новых, которые тем [т. е. древним], точно так как великие великим подражали»; в-4), подражать и упражняться прежде чем дерзнуть выступить с серьезными трудами; в-5), как можно больше обогащать свои знания материалами из самых разнообразных наук. Если сопоставить с этими положениями программу статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» и § 2 «Вступления» к «Риторике» 1748 г., станет очевидно, что налицо полное и последовательное совпадение в основных позициях авторов. Но совпадение это идет еще дальше.

Автор рассуждения «О качествах стихотворца» подчеркивает, что «церьковных словенских книг чтение весьма потребно к доброму слогу и правописанию». Что касается позиции Ломоносова в этом вопросе, то он, кроме известного «Предисловия о пользе книг церьковных в российском языке», писал о том же в «Риторике» 1748 г.: «Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церьковных (для изобилия речений, не для чистоты), от которых чувствую себе немалую пользу» (§ 165).

Далее общим у автора рассуждения и у Ломоносова является отношение к так называемой легкой поэзии: любовным песенкам, мадригалам и т. п.

Таким образом, со стороны идеологической можно констатировать отсутствие различий между автором анонимного «О качествах стихотворца рассуждения» и Ломоносовым. Но точно также можно утверждать, что совпадают оба автора и в отношении стилистическом.

Так, например, характерной особенностью языка Ломоносова признается формирование абстрактных существительных при помощи окончания — «*ство*». А. Н. Будилович в исследовании «Ломоносов как писатель» приводит даже целый список из 33 слов, который он озаглавил: «Любимые Л—м слова на *ство*».[12] В соответствии с этим находятся в «О качествах стихотворца рассуждении» такие формы, как «*живописство*» (Соч., изд. Акад.

Наук, т. IV, стр. 290 — «все сие живописству мы должны»), — *недостоинство, взаимство, проницательство.*

Обороту *«о качествах стихотворца рассуждение»* соответствует в произведениях Ломоносова выражение: *«о нашей версификации вообще рассуждение»*. Фразе *«сие самое есть светилом»*, встречающейся в анонимном рассуждении, отвечает оборот: *«сие есть причиною»* (Соч., изд. Акад. Наук, т. IV, стр. 293).

Оборот *«он... в физике свою забаву и упражнение находил»* имеет параллель в сочинениях Ломоносова (т. IV, стр. 194): *«физика — мои упражнения»*.

Приведенные примеры только самая небольшая часть тех лексических, фразеологических и грамматических соответствий, которые можно было бы представить для доказательства стилистического совпадения манеры анонима и Ломоносова. Не лишне отметить еще одно. Как известно, Ломоносов строго наблюдал за расстановкой знаков ударения в словах с одинаковым правописанием, но разным произношением (см. его «Грамматику» 1755 г., §§ 111 и 137 — Соч., изд. Акад. Наук, т. IV, стр. 51 и 61). В анонимном «Рассуждении» как раз эта система проведена с исключительной последовательностью. Что она принадлежала автору, а не корректору «Ежемесячных сочинений», указывает то обстоятельство, что остальные статьи печатались с сохранением орфографии их авторов, вплоть, например, до «единитных палочек» и «и с точкою» Тредиаковского.

Впрочем, нужно указать на одно очень существенное расхождение между практикой Ломоносова и анонима—это орфография ряда слов. Так, Ломоносов писал: риторика, просодия, междуметие, Лукиян, Лукреций, Эсхил; в тексте же «Рассуждения» проведена, так сказать, немецкая орфография — реторика, прозодия, междометие, Люциан, Люкреций, Эшил и др. Однако, это обстоятельство, даже если не считать, что подобное правописание могло быть проведено в анонимной статье намеренно, с целью «конспирации», все же не может служить доводом против Ломоносова; он не мог держать корректуру этой работы не только как автор, скрывавший свое отношение к «Рассуждению» (так, например, в своем отчете о работах за 1755 г. он не упоминает этой статьи), но и по той причине, что с начала мая и до 1 августа 1755 г. был уволен в отпуск в свое имение, куда и отправился вскоре после произнесения «Слова похвального Петру Великому» 26 апреля 1755 г.[13] Таким обра-

зом, корректуру держал не сам Ломоносов, а, вероятно, Миллер или кто-либо из корректоров Академии Наук, и этим можно объяснить своеобразие орфографии отмеченных слов.

Обращаясь к третьему разделу доказательств принадлежности «Рассуждения» Ломоносову — к доказательствам биографическим, — достаточно остановиться на одном пункте. Автор «Рассуждения», повидимому, очень недурно знал теорию искусств, в особенности живописи и музыки. Он, например, очень уместно приводит сопоставления поэзии с живописью и музыкой. «Все мы глядим, — пишет он, — с удивлением на картину, когда видим на ней натуру или страсть человеческую. Но те, которые притом видят растворение красок, смелость кисти живописной, соединение теней с светом, регулярную пропорцию в своей перспективе, смягчение в дальних объектах же света и тени, двойное увеселение чувствуют. Приятная музыка многих услаждает, но несравненно те ею веселятся, которые правильную гармонию тонов целых и половинных, их дигрессию и резолюцию чувствуют. Одни веселятся потому, что вкус и охоту имеют к живописству и музыке, другие вкусу и охоте присоединяют знание и науку. Так равномерно делается и с красноречием, так и с стихотворством». Ср. также далее: «Так как незнающему композиции музыкальной, когда секунда и т. д.».

Интерес же Ломоносова, автора «Слова о происхождении света, новую теорию о цветах представляющего», к вопросам теории красок и звука достаточно известен.

Но об авторе «Рассуждения» можно сказать больше, нежели только то, что он недурно знал теорию искусств — музыки и живописи. Он был исключительно осведомлен о всей совокупности проблем физики, как свидетельствует следующий отрывок из «Рассуждения»: «Представим себе человека острого разума, памяти и проницательства; дадим ему склонность натуральную, чтобы он паче всех других наук любил Физику, в ней свою забаву и упражнение находил. Но когда он не изучен потребных к тому оснований, а именно: не искусен в Математике, в Химии, в истории натуральной, не знает правил Механических, Гидравлических и проч., то каким образом поступать он может в исследовании натуры, то есть свойства и соединения тел, в исчислении меры и веса, тягости и упругости воздуха и всех твердых и жидких тел, а из того заключать силы

и действия Элементов одного на другой, перемены их и прочие бываемые от них же явления. Другой желает быть медиком, не зная совершенно Анатомии, Ботаники, Фармацевтики и проч., как может врачевать болящего, различать травы и составлять лекарства? Или желал бы кто в числе астрономов себя видеть, а не имел понятия о Плоской и Сферической Навигации, не искусен был бы в Оптике и не ведущий генеральных понятий о физике; всеконечно никакой помочи иметь он не может от одних Телескопов, нижѐ делать Астрономические наблюдения, тем меньше рассуждать об удаленных от нашего зрения небесных телах. Ни Физик, ни Медик, ни Астроном именем сим назваться сами не похотят, хотя бы они и прямые любители сих наук были».

Прекрасное знание физики, свидетельствуемое приведенным отрывком, вместе с тем говорит и о том, что автор не менее прекрасно владел русской физической терминологией. Иными словами, лицо, из произведения которого приведен данный отрывок, не было дилетантом в области физики, а было основательно осведомленным специалистом и к тому же нисколько не затруднявшимся неразработанной в то время физической терминологией. Следовательно, автор теоретико-литературного «О качествах стихотворца рассуждения» был в то же время специалистом-физиком. Кто же мог совмещать эти возможности в ту эпоху кроме Ломоносова?

Таким образом, все приведенные данные — идеологические, стилистические и биографические, — говорят за то, что автором «Рассуждения» Ломоносов мог быть. Против же его авторства показаний нет никаких.

Но может быть в природе такое положение, когда условиям соблюдение которых необходимо при установлении анонимного произведения, отвечают несколько кандидатов. Однако, в данном случае — при установлении автора «О качествах стихотворца рассуждения» — такого положения нет. Самое содержание рассуждения показывает, что автор его был противником тех литературных жанров, — песня, мадригал, эпиграмма, — которые культивировали поэты сумароковской школы. Следовательно, это бы кто-то из группы Ломоносова. Если предположить, что это был не сам Ломоносов, тогда прежде всего придется допустить, что автором был Н. Н. Поповский. Не говоря уже о том, что Поповский, находившийся в это время в Москве,

где он преподавал философию, едва ли имел основания печатать анонимную статью, против его авторства говорит и «слог» рассуждения, более живой, энергичный и мужественный, чем язык Поповского, вялый и неотчетливый, образец которого представляет его вступительная лекция в Московском университете, напечатанная в «Ежемесячных сочинениях» за тот же год, в августовской книжке. [14]

Однако, против кандидатуры Поповского есть еще более веское возражение. Дело в том, что автор рассуждения несколько раз цитирует De arte poëtica Горация, приводя параллельно русский перевод по книге Поповского: «Письмо Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам» (1753). Но в одном случае автор рассуждения отступает от этого порядка, и вот в связи с чем. В переводе Поповского одно место было переведено недостаточно точно. Латинский текст следующий:

Qui nescit, versus tamen audet fingere. Quidni?
Liber et ingenuus, praesertim census equestrem
Summam nummorum, vitioque remotus ab omni
Tu nihil invita dices faciesve Minerva.
Id tibi iudicium est, ea mens si quid tamen olim
Scripseris, in Metii descendat iudicis aures,
Et patris, et nostras; nonumque prematur in annum
Membranis intus positis, delere licebit
Quod non edideris. Nescit vox missa reverti.

Перевод Поповского несколько далек от точного смысла латинского подлинника. Вот он:

Одни писать стихи никто лишь не стыдился,
Хотя б Поэзии он сроду не учился.
Резон? Я дворянин, свободной человек,
Богат с излишеством, и честно прожил век.
Но ты, что одарен рассудком благородным,
Не силься вопреки способностям природным!
Изведать хочешь сил своих в стихах, сложи,
Но прежде Метию иль мне их покажи,
И долго не давай в народе их расславить,
Чтоб можно было тем свободнее исправить.
А если как-нибудь их выпустишь на свет,
То поздо вскаешься, словам возврату нет. [15]

Автор рассуждения, систематически приводя стихотворный перевод Поповского, в данном случае счел нужным дать свой прозаический, но более точный, очевидно в связи с тем, что

подлинник оказался социально заостреннее, чем перевод Поповского:

Почти всякой де невежа делать стихов не стыдится.
Что за причина? Дворянин, свободный, и достаток имеешь,
Ежели хочешь быть разумен и рассудлив,
Не имев способность писать, отнюдь не дерзай:
Но буде уже что написал, дай Тарпе, отцу и мне прочитать
Или запри те бумаги в сундук лет на десять;
То еще всегда выскребешь, что в народ не издал,
А напечатавши знай, что слова не поворотишь.

Не приходится говорить, что данный перевод ближе к подлиннику, нежели перевод Поповского. Нужно, однако, отметить еще одну деталь. Горациевское «Meti;... descendat in aures» аноним перевел «Тарпе... дай их прочитать», Поповский — «Метию»... Расхождение объясняется тем, что имя Меция комментаторы объясняли как часть имени Меция Тарпы, критика, современного Горацию. Таким образом, отмеченная деталь показывает, что аноним был очень хорошо знаком с текстом Горация и с комментариями к нему. Это свидетельствует о том, что цитирующий обнаружил более тонкое и углубленное знание римского поэта, чем Поповский, и тем самым, что, конечно аноним и Поповский не одно и то же лицо.

Еще меньше данных за то, что это могли быть Барков или А. Дубровский — тон рассуждения исключительно авторитетен и зрел; так писать начинавшие литераторы, какими были названные ученики Ломоносова, да и Поповский, — не могли.

Таким образом и отрицательные данные приводят к тому, что автором рассуждения «О качествах стихотворца» мог быть только Ломоносов. Но за то, что автором рассуждения был именно Ломоносов, говорит еще и следующее обстоятельство.

Мысль, приводимая в рассуждении «О качествах стихотворца»: — «Те, кто праведно на себя имя стихотворца приемлют, ведают, каковой важности оная [стихотворство] есть наука; другие, напротив, написав несколько невежливых рифм или нескладных песен, мечтают, что оная не доле простирается, как их знание постигло», — повторяется с сохранением даже некоторых слов и в статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России»: «Легко рассудить можно, коль те похвальны, которые рачение о словесных науках служит и украшением слова и чистого языка, особливо своего природного. Противным

образом коль вредны те, которые нескладным плетеньем хотят прослыть искусными и, осуждая самые лутчие сочинения, хотят себя возвысить». (Ср. также в стихотворении «Пахомию». Нравоучением преславной Телемак/Сгократ полезнее твоих нескладных врак.)

Затем в рассуждении «О качествах стихотворца» повторяется еще одна мысль статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России»: «Сверх того, подав худые примеры своих незрелых сочинений, [они] приводят на неправой путь юношество, приступающее к наукам, в нежных умах вкореняют ложные понятия, которые после истребить трудно, или и вовсе невозможно» (О нын. сост.). «Малинькая песня или станс, которая и без науки и в худых рифмах может иногда мысль удачную заключить, так нас вредит иногда, что мы и Автора и учителя имя на себя смело и тщеславно приемлем» (О кач. стих.).

Итак, все данные говорят за то, что автором «О качествах стихотворца рассуждения» был только Ломоносов и никто иной.

Признание Ломоносова автором рассуждения обнаруживает, вместе с тем, что статья эта имела отчетливо полемический характер. Выше была показана ее преемственная связь с наброском «О нынешнем состоянии словесных наук в России»; отмечалось также — в общей форме — выступление против литературных жанров, культивировавшихся Сумароковым и прочими средне-дворянскими поэтами. Нападки эти носят не единичный характер: на протяжении статьи они встречаются неоднократно. Ломоносов все время иронизирует над поэтами, которые пишут «мадригалы и песни любовные», сочиняют «сатиры, эпиграммы и любовные песни», или «без науки и в худых рифмах» производят «малинькие песни или стансы».

Но помимо этих суммарных нападок, «рассуждение» содержит еще более прозрачные намеки на Сумарокова и Елагина. Вот один из них:

«Чем меньше такой творец Рифм о науках прочих познание имеет, тем больше удаляется от тех качеств, которые природный дух в нем стихотворца довершают. Многие думают, что изучение словесных наук, которое у Латинщиков идет под именем Humaniora, а у Французов под именем Belles lettres, невеликого труда требует и невеликой нужды есть. И когда случится таковым неискусным услышать слово из науки себе неведомое, то и бытие оного в свете отрицают. Скажи ему по нещастию слово латинское, тотчас грубым лицем и презрительным смехом закричит: ты де по Сирски говоришь».

Этот отрывок, направленный, конечно, против Сумарокова, вероятно, имеет в виду известное место в комедии последнего «Трессотиниус», где с первого же явления высмеивается знание героем пьесы «Арапского, Сирского и Халдейского и прочих языков».

Далее следует опять-таки, повидимому, портретно-карикатурное изображение:

«Сам напротив того когда напишет мадригал или песню любовную, то прочтет сперьва домашным, гостя всякого ими же отправит, потом и встрешному и поперешному читая глядит в глаза при всякой строчке. Где думает жалость изобразил: тут у себя сперьва слезы отирает, смешное ли что, покажется ему, написал: сам прежде захохочет и таким образом зделав себя смешным и жалостным, и подлинно смех и жалость о себе возбудит в слушателе разумном. Сие он видимое почти над собой посмеяние, за великую принявши мадригалу и песне своей аппробацию, думает по самолюбию, что похвала домашних и притворного приятеля есть та самая аппробация, которой в публике Авторы ищут, и для того надмен столько становится своими в Поэзии мнимыми успехами, что судит и решит о всех сочинениях без зазору и без остановки, и тем бич подает на свое невежество людям здравого рассуждения. Такого Рифмача не убережешся, чтоб и не прогневать иногда не примирительно, потому что и всякой разгневанный Автор неутолим в ярости. И не удивительно. Он читавши нахально многим свои сочинения, и слыша похвалы, или по лести, или по ласкательству, привык себя чтить совершенным, да в том самолюбии и закоснел уже чрез многие лета. О коль великий удар, когда он услышит стороной, что кто ни есть дерзнул назвать песню его нескладною! Сему он не отпустит ни в сей ни в будущий век, извержет на него весь яд свой, сулит все пропасти земные, татьбу церьковную на него взводит. Бегает и мечется с ярости к другу и недругу в дом, проклятию предает желание служить наукою народу, кричит, что общество видимой лишается уже пользы. Сожгу книги! брошу стихотворство! пропади все, что я ни писал! Нещастие наше, что на своей клятве на долго остался! Завтра не утерпел, другой Мадригал, нового будто вкусу, компании кажет».

Необходимо отметить указание на то, что автор песенок «татьбу церьковную на [своего противника] возводит» и, кроме того, грозит прекращением своей литературной деятельности. Из более поздней деятельности Сумарокова подобные угрозы известны; повидимому, они имели место и ранее.

Особенно любопытен следующий отрывок:

«Съехався с соперником, и поговоря трусливо тотчас вскричит тебе, возмем перо и бумагу, кто больше из нас напишет. Таковое нещастие и Гораций в свое время терпел: «Тотчас де Криспин меня вызывает, возмем, буде хочешь перо, возмем бумагу, пусть нам дадут место, час и свидетелей, посмотрим, кто больше из нас напишет...»

Вероятно, здесь имеются в виду «литературные состязания», любителем которых был Сумароков — «Три оды парафрастические псалма 143», «Несколько строф двух авторов» и т. д.

Совсем неприкрыто в Сумарокова, хвалившегося знанием немецкой поэзии и, в частности, добивавшегося чести быть избранным в Лейпцигское ученое общество, метит следующий отрывок:

«Кто не примет на себя терпения, кто не даст место такому самолюбию? Он молчание твое между тем в победу уже себе ставит. Почнет тотчас в попыхах таскать из кармана бумашки. В одной кажет сатиру, в другой эпиграмму. Прочитавши любовную песню, ах! Сударыня, вздохнувши скажет, жаль, что вы Анакреонта в переводе не читали, вы бы увидели, сколь близко я сему Греческому стихотворцу подражаю. Я читал при том и Геллерта и Готшейда на Немецком, великие то люди в Лейбцигском Немецком собрании! Бесспорно, что Анакреонт из старых великий стихотворец, другие между учеными знатны. Но тебе ли быть такову, как они, когда одних ты читаешь в переводе и несовершенно разумеешь, других хотя и в оригинале, да не имеешь сам того источника, из которого они почерпают».

Как известно, в 1756 г. протежировавший Сумарокову академик Миллер исхлопотал ему через немецкого поэта и ученого Готшеда звание члена Лейпцигского литературного общества.[16] Очевидно, хлопоты эти начались давно, и именно они были осмеяны Ломоносовым в приведенном только что отрывке.

Против Сумарокова обращен и следующий отрывок: «Другой в поте лица своего пишет речи площадные и простонародные. Таковы всегда те стихотворцы, которые сами себя хвалят, и чтут себя за великих, не уважая, что публика об них говорит». Упреки, даже нападки на Сумарокова за то, что он «сочиняет» высокое и низкое словоупотребление, общеизвестны. Приведенный сейчас отрывок, очевидно, должен быть поставлен в этот же ряд.

Одно место направлено, повидимому, непосредственно против И. П. Елагина. В «Сатире на петиметра и кокеток» Елагин, обращаясь к Сумарокову, который по его словам, сочиняет стихи без затруднений, писал между прочим следующее:

А я! о горька часть! о тщетная утеха!
Потею и тружусь, но все то без успеха.
По горнице раз сто пробегши, рвусь, грущу,
А рифмы годныя нигде я не сыщу;

Тогда орудие писателей невинно —
Несчастное перо с сердцов грызу безвинно.
Нельзя мне показать в беседу было глаз.
Когда б меня птиметр увидел в оный час,
Увидел бы как я по горнице верчуся,
Засыпан табаком, вздыхаю и сержуся, —
Что может петиметр смешняй сего сыскать...

В «Рассуждении о качествах стихотворца» есть место, которое производит впечатление ответа на только что процитированные стихи Елагина:

«Удивительные иногда качества на себя приемлет, ежели смею сказать, таковой мнимый Автор. Он старается в людях себя казать неумытым лицем и нечесанною головою, дая чрез то знать, что всегда дома сидит над горшком черних и стопою бумаги. Кому де меня зазреть? Сие оставляю, говорит, людям досужным, а нам сидя с мертвыми друзьями неколи о том помышлять».

Что касается положительной стороны «О качествах стихотворца рассуждения», то помимо сказанного выше (стр. 161), следует отметить настойчиво выдвигаемое требование Ломоносова о том, чтобы поэт писал «учительные [т. е. серьезные] поэмы», «что-либо учительное» и «служил наукою народу».

Таким образом, в рассуждении этом Ломоносов легкой среднедворянской поэзии противопоставил серьезную программу литературы как гражданского служения. «В безделицах», — цитировал он Цицерона в заключение статьи — «я стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу, перстом измеряющего людские пороки». (Ср. всю статью в приложении I к настоящей главе).

Естественно, что сумароковский лагерь не мог остаться спокоен. Ломоносову ответили и Сумароков и Елагин и, кроме них и даже раньше их, Г. Н. Теплов. Но полемика эта, ведшаяся на страницах академического журнала, принципиально отводившего всякие литературные споры, должна была приноровиться к обстановке и имела на этот раз спокойные и более приличные формы.

Наиболее академичным оказался Г. Н. Теплов, лицо близкое к гр. К. Г. Разумовскому, а следовательно и Сумарокову и Елагину.

В июльской книжке «Ежемесячных сочинений» было напечатано — также анонимное — «Рассуждение о начале стихотворства» Теплова.[17] Автор проводит мысль, что красноречие

самое важное из всех средств, «которое действовать может в сердцах человеческих более нежели какое-либо иное действие». Красноречивые люди, по его мнению, «своим языком и речью или тиранов умягчали, или к войне и бою общество побуждали, или страсти утоляли других, или возбуждали речью огонь любовный и преклоняли твердые и окаменелые иногда сердца любовниц своих». Таким образом, красноречие положило начало поэзии, первой и наиболее естественной формой которой является песня, и именно любовная песня. «Почитать надлежит страсть любовную больше вкорененну в род человеческий, нежели многие другие страсти... Она родила любовные мысли, она произвела любовные речи, которые, когда соединяются с голосным пением, произвели падение слов, и для лутшей приметы кончащегося разума, или паче музыкального тону, рифмы». Признавая дальнейшее развитие поэзии в сторону дидактики, Теплов все же отдает предпочтение не этим искусственным формам, а естественным, т. е., песням. «Сие мнится быть происхождение от начала стихотворства в натуре своей, которое после обратилося в великую важность между учеными людьми». Таким образом, «рассуждение о начале стихотворства» представляло собой апологию дворянской «песенной» поэзии и, не выступая открыто против дидактической поэзии, стремилось представить ее как продукт цеховой учености, имеющей сравнительно узкий интерес. (Ср. статью Теплова в приложении II к настоящей главе).

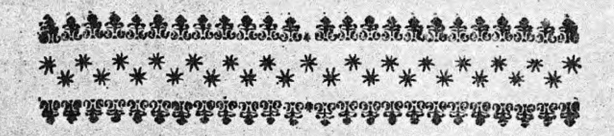
Если это возражение Ломоносову строилось на теоретической почве, то совсем иной характер имела длинная статья И. П. Елагина, носившая название «Автор».[18] В примечании к «первому листу» указывалось, что данная статья представляет свободный перевод из «Лейпцигских увеселений разума». В самом деле, в издававшихся в 1741—1744 гг. в Лейпциге «Belustigungen des Verstandes und des Witzes» в июльской — декабрьской книжках за 1743 г. была помещена анонимная статья «Der Autor». [19] Сравнение оригинала с переводом показывает, что обработка Елагиным делалась применительно к русским условиям. Особенный интерес представляет «первый лист» «Автора», написанный очевидно под свежим впечатлением «Рассуждения о качествах стихотворца.» Ряд намеков, заключающихся в этой статье, легко раскрывается и позволяет заключить, что Елагину было известно, кто является автором

анонимного рассуждения, направленного против дворянской поэзии вообще и против Сумарокова и Елагина в частности.

Намеки эти частью вплетены в основную ткань статьи, представляющей как бы непринужденную болтовню «автора» человека, стремящегося прослыть ученым, не имея на то никаких данных, частью заключаются в немецком тексте, но на русской почве приобретают особый смысл. «Автор» признается, что книг не читает, а лишь просматривает «реэстры книгам». «Сим образом — продолжает он — стал я прямым ученым человеком, который ни к чему не прилежал, но во всех науках автором быть может. Из философии знаю я математической способ учения, противуречия, действующую причину, монады, согласие, лутчей свет и другие сим подобные слова, которыми я при случае наделаю шуму, нежели полицейские барабаны во время пожара. Невтону даю перед Лейбницом преимуществом, не для того, чтоб я их читал, но только для того, что я более люблю англичан, нежели немцев. Все, что я пишу, имеет нечто высокое, достойное меня, а труда мне не приключающее».[20] Невтон — повидимому, намек на стихи Ломоносова о «собственных Платонах и быстрых разумом Невтонах». В другом месте «автор» говорит, что сам он стихов не пишет, но просит «стихотворцев», чтоб они не иное что, как хорошие родильные, свадебные, имянинные и погребательные кармины... присылали. Ибо сие суть прямые случаи, при которых стихотворство имеет свое достоинство... Ныне не видим почти хорошей поэзии, ниже́ существа ее, ибо стихотворцы упражняются в других родах стихов, а не в тех, которые упомянуты мною». Это явно метит в придворную поэзию Ломоносова; такой же смысл имеет упоминаемый в другом месте «Мадригал на Мецената при случае обрезывания ногтей».[21]

Любопытен выпад против требования от стихотворца знания грамматики. «Граматические ошибки хотя я и делаю, но они потому приметны быть не могут, что я о всех протчих писателях, а особливо стихотворцах, кричу, что они граматики не знают».[21] В немецком тексте это место отсутствует.

В «третьем листе» есть характеристики трех «приятелей» «автора»: Франгизиуса Тенеброзуса, Остроумова и Постоянникова. В первом очевидно выведен Тредиаковский, во втором Ломоносов, в третьем трудно угадать какое-либо определенное лицо, настолько общи приводимые о нем данные.



I.

О КАЧЕСТВАХЪ СТИХОТВОРЦА

РАССУЖДЕНІЕ.

Въ словесныхъ наукахъ упражняющимся довольно извѣстно, что съ упадкомъ Римской имперіи науки претерпѣли немалый уронъ, и почти со всѣмъ было истребилися чрезъ нашествіе Варваровъ въ Европу. Но когда паки пришли прошлыми немногими вѣками въ цвѣтущее состояніе, то настоящее время заставляетъ опасаться, чтобъ число умножившихся нынѣ въ свѣтѣ Авторовъ не завело въ таковую же темноту разумъ человѣческій, въ каковой онъ находился отъ недостатку писателей разумныхъ. Опасность сія отвергается однимъ тѣмъ только способомъ, когда помогать намъ будутъ особливые писатели, которые различать станутъ добрыхъ Авторовъ отъ худыхъ, и покажутъ путь къ забвенію однихъ, а къ припамятова-

Начальная страница майской книжки «Ежемесячных сочинений» за 1755 г.

Не касаясь подробно этих характеристик, следует отметить что в портрете Остроумова есть вставки, представляющие прямые выпады против Ломоносова «Немецких стихотворцев, так как и я, [он] весьма не любит и гнушается теми, которые нечаянно отяготят его слух напоминанием Опица, Галлера, Гинтера и прочих».[23] Этот намек перекликается с известными стихами против Ломоносова, где его обвиняют, что он

Гинтера и многих обокрал
И, мысли их писав, народ наш удивлял.

Не останавливаясь более подробно ни на этой характеристике (следует отметить, что в ней подчеркивается атеизм Остроумова — Ломоносова), ни вообще на елагинском «Авторе», можно было бы этим заключить изложение материалов о полемике 1755 г. Но необходимо еще остановиться на одном выступлении по поводу рассуждения Ломоносова, на выступлении Сумарокова. В августовской книжке «Ежемесячных сочинений» за тот же 1755 г. появилась «Епистола» Сумарокова.[24] Она продолжает прежнюю линию автора «Епистолы о стихотворстве», но имеет двойственный характер.

Желай, чтоб на брегах сих музы обитали,
Которых вод струи Петром преславны стали.
Октавий Тибр вознес, и Сейну Лудовик;
Увидим, может быть, мы нимф Пермесских лик,
В достоинстве, в каком они в их были леты,
На Невских берегах во дни Елисаветы.

После этого суммарного ответа, направленного, может быть и Ломоносову, Сумароков как будто предлагает своему противнику разделить сферы влияния в области поэзии: ему он отдает эпос и лирику, т. е. оду:

Пусть славит тот дела Героев Русских стран,
И громкою трубой подвигнет Океан,
Пойдет на Геликон неробкими ногами
И свой устелет путь прекрасными цветами.
Тот звонкой Лирою края небес пронзит,
От севера на юг в минуту пролетит,
С Бальтийских ступит гор ко глубине Японской,
Сравняет Русску власть со властью Македонской.

Себе же он, как и следовало ожидать, оставляет трагедию:

В Героях кроючи стихов своих творца,
Пусть тот Трагедией вселяется в сердца:
Принудит чувствовать чужие нам напасти
И к добродетели направит наши страсти.

Вероятно, о себе же он говорит, касаясь элегии и эклоги:

Тот пусть о той любви, в которой он горит
Прекрасным и простым нам складом говорит.
Плачевно скажет то, что дух его смущает,
И точно изъяснит, что сердце ощущает.
Тот рощи воспоет, луга, потоки рек,
Стада и пастухов, и сей блаженный век,
В который смертные друг друга не губили,
И злата с серебром еще не возлюбили.

Вывод Сумарокова с видимой стороны очень миролюбив:

Пусть пишут многие; но зная как писать.

Он даже повторяет вслед за Ломоносовым:

Звон стоп блюсти, слова на Рифму прибирать
Искусство малое, и дело не пречудно;
А стихотворцем быть есть дело не беструдно.

Сумароков готов даже поддерживать Ломоносова в вопросе о «песенках»:

Набрать любовных слов на модный минавет,
Который кто ни будь удашно пропоет,
Нет хитрости тому, кто грамоте умеет,
Да что и в грамоте, коль он писца имеет.

Но под конец Сумароков показывает когти и начинает язвить Ломоносова за его «надутый» слог:

Подобно не тяжел пустый и пышный слог:
То толстый стан без рук, без головы и ног;
Или издалека являющася туча,
А как ты к ней придешь; так то навозна куча.
Кому не дастся знать, богинь Парнасских прав
Не можно ли тому прожить и не писав?
Худой творец стихом себя не прославляет:
На рифмах он свое безумство изъявляет.

Таким образом, Сумароков, как и Елагин и Теплов, не могли противопоставить концепции Ломоносова хоть сколько-нибудь серьезных возражений или с такою же меткостью отразить его сатирические нападки. В рассуждении «О качествах стихотворца» Ломоносов выступил во всеоружии своего энциклопедического

образования, показал глубокое понимание социально-воспитательной роли литературы и науки, развил программу подготовки писателя, столько же продуманную и основательную, сколько и малоприемлемую для поэтов-дилетантов из рядов среднего дворянства.

Наоборот, его противники не сумели подняться на такую же принципиальную высоту и ограничились несерьезным теоретизированием (Теплов) или колкостями сомнительной ценности.

Но на этом полемика 1755 г. не закончилась. В статье «О качествах стихотворца рассуждение» Ломоносов почти неприкрыто высказал свои мысли, обращенные против сумароковско-елагинской школы. В более замаскированном виде сделал он то же самое в рассуждении «О пользе книг церковных в российском языке», предпосланном изданию его сочинений 1757 г. Особенно отчетливо это задание выступает в той части рассуждения, где Ломоносов классифицирует «штили» по признаку наличия в каждом из них большего или меньшего процента славянских «речений» и тут же определяет, какие жанры могут пользоваться данным стилем.

«Первой [стиль] составляется из речений славено-российских, то есть Употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых. Сим штилем составляться должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях, которыми они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются». «Сим штилем, — прибавляет Ломоносов с явным оттенком национальной гордости, — преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных».

«Средний штиль состоять должен из речений больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова: однако, остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную ровность, которая — продолжает он, намекая на Сумарокова — особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного. Сим штилем писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия. Однако, может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, еклоги и елегии сего штиля больше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных».

«Низкой штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от славенских общеупотребительных вовсе удаляться по пристойности материи, каковы суть комедии, увеселительные епиграммы, песни; в прозе — дружеские письма, описание обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению». [25]

В приведенном большом отрывке заключена центральная мысль ломоносовского рассуждения «О пользе книг церьковных в российском языке». Изложенное здесь учение о трех штилях имело не абстрактно-теоретический, вневременной характер, как это обычно представляется не только читателю, но и историку литературы, следующему традиции; наоборот, оно было наполнено живым, злободневно-полемическим содержанием. Написанное в 1755—1756 г., то есть в разгар борьбы Ломоносова с Сумароковым и Елагиным, это рассуждение подводило итоги состоянию тогдашней литературы и учитывало то обстоятельство, что типичными дворянскими жанрами были в те годы салонная любовная песенка, галантный мадригал, кокетливая и нередко гривуазная идиллия (эклога), «жалостная елегия» и т. д. Даже Сумароков, считавший себя много выше своих подражателей, посвятил себя в эти годы, главным образом, сочинению эклог и драматических произведений. И именно эти жанры Ломоносов включает частью в низший, частью в средний стиль. Но высокий стиль, тот стиль, который Ломоносов собственно и называл «штилем», включает, по его спецификации, только жанры, особенно любовно культивировавшиеся писателями-учеными, группировавшимися вокруг Академии Наук, и в первую очередь, конечно, самим Ломоносовым. Жанры эти не интимные, не салонно-камерные, а, наоборот, торжественно-публичные, парадные, декоративно-помпезные — геороические поэмы, оды и прозаические речи о важных материях, т. е., церковная проповедь, панегирик, академическая, надгробная речь («Риторика» 1744. § 121). Именно эти жанры и образуют высокую «учительную» литературу; их дидактический характер и имел Ломоносов в виду, когда рекомендовал писателю в статье «О качествах стихотворца рассуждение» писать вещи «учительные», «издать в свет нечто учительное», ибо все прочие жанры служат для забавы и увеселения, а высокие для назидания и общественной пользы. Таким образом, классификация «штилей» должна была показать оценку, которую давал Ломоносов современной ему дворянской литературе.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОЙ

I. О качествах стихотворца рассуждение

В словесных науках упражняющимися довольно известно, что с упадком Римской империи науки претерпели немалый урон, и почти со всем было истребилися чрез нашествие Варваров в Европу. Но когда паки пришли прошлыми немногими веками в цветущее состояние, то настоящее время заставляет опасаться, чтоб число умножившихся ныне в свете Авторов не завело в таковую же темноту разум человеческий, в каковой он находился от недостатку писателей разумных. Опасность сия отвергается одним тем только способом, когда помогать нам будут особливые писатели, которые различать станут добрых Авторов от худых, и покажут путь к забвению одних, а к припамятованию других. Нужда таковаго разбору видима теми наипаче, которые знают, каковой важности есть прямое руководство в науках и в чтении многих книг, во время столь краткое жития нашего, которое нам бог на сем свете быть определил. Разбор писателей есть наилучший и безопаснейший способ быть ученым человеком, и он потребен для всякой особно в свете науки и для всякого склонность имеющего человека к наукам. Сие самое есть светилом в чтении и предводителем к снисканию кратчайшего пути как обрести то, чего в книгах ищем. Но прежде нежели мы можем сами собою доброту Авторов разобрать, прежде нежели дойдем до таковой способности, жизнь наша проходит, и тогда в состоянии починаем себя видеть способными прямо учиться, когда на конце оныя уже стоим. Разум наш открывается после многого иногда заблуждения, ежели не имеет прежде доброго руководителя, и люди отворяют глаза, когда ночь ужѐ приближилася, то есть зрелость оного при конце жития нашего. Дополним еще к тому, что и различные нужды житейские и болезни укорочают немало времени, в которое могли бы мы научиться, как писателей добрых от худых отличать. Кто как бы доброго намерения ни был, кто бы как ни прилежен к наукам был, нещастие он может то иметь над собою, что после многого в школах обучения, после многого читания книг, ежели придет в зрелой разум, и станет писателей разбирать, увидит, что все то, что он ни выучил, не делает его еще ученейшим перед тем состоянием, как он разбирая Авторов учиться начал прямо. Часто видим сноснее быть в беседе с неученым, по природе разумным, нежели с ученым, который мнит только быть себя таковым, и которого прямо назвать можно ученым невежею. Да и самого первого степени люди ученые, которые не мало труда приложили, и почти, так сказать, кровавый пот пролили, или состарелися над книгами, когда узнают себя, что они достигли уже до того, что различать могут писателей и не всему верят, что кто смело и дерзновенно пишет выдая себя за человека ученого: то при окончании своих наук безмерно сожалеют, что они при начале оных и при начале чтения книг не познали истинного пути, по которому разум и труд свой повести. Они признаваются, что протекая долгой век, поздо уже открыли многие стези, которые бы их избавили дальнего пути,

Каковое бы тогда для рода человеческого было просвещение, ежели бы с самого вступления в чтение книг могли мы понимать доброту всякого Автора, и охуждать его недостоинство или иногда и истовое незнание? К сему потребны люди престарелые, и верьховного самого степени учительные, которые бы при издании всякой в свет книги, во всяком роде судили писателя: Но где таковых свет покажет!

В Российском народе между похвальными ко многим наукам склонностьми перед недавными годами оказалася склонность к стихотворству, и многие имеющие природное дарование, с похвалою в том и предуспевают. Те, которые праведно на себя имя стихотворцев приемлют, ведают каковой важности оная есть наука: Другие напротив того написав несколько невежливых рифм или нескладных песен, мечтают, что вся оная, не дале простирается, как их знание постигло Таковое неправое мнение от единого самолюбия происходящее, подало случай предложить рассуждение о том, сколь трудна наука стихотворческая, и сколь велико знание во всем тому человеку иметь надлежит, который стихотворцем быть хочет, а при том дарование от бога особливое к изобретению новых мыслей и быстроту разума природную; то самое, что стихотворцы называют огонь стихотворческий.

Во времена Августовы первый был Гораций, который последуя Аристотелю правила лучшие написал Римлянам к стихотворству. Квинтилиан пишет, что тогда стихотворство так было в моде и употреблении, что и сам Август Цесарь писал стихи, и от того времени не токмо знатные у двора, но и императоры римские некоторого в том будто бы любочестия искали «Богам де не довольно еще показалося, говорит он, * что Консула Германика зделали славнейшим своего времени стихотворцем, ежели не зделали еще его обладателем света». Виргилий ** пишет, что Азиниус Поллио Консул преизрядные делал стихи. Юлий Цесарь сочинял трагедии. Лелий Сципион, Фурий, Сулпиций, будучи знатные в республике люди, с Терентием тайно трудились в сочинении комедий Но сие еще не умножает чести стихотворству, ежели бы оно само по себе почтения было недостойно. Сие и подлинно, что стихотворство должно почитаемо быть за самую труднейшую науку между многими другими. Многих наук совершенство имеет свои пределы, но стихотворство иметь их не может. Что бы быть совершенным стихотворцем, надобно обо всех науках иметь довольное понятие, а во многих совершенное знание и искусство. Не довольно того, что стихотворец усладить желает, когда он ничего научить не может.

Гораций говорит ***

---

* Квинтилиан, кн 10, гл. I.

** Виргилий, эклога 3.

*** Aut prodesse volunt aut delectare poetae
Aut simul et iucunda et idonea dicere vitae;
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci,
Lectorem delectando, pariterque monendo.
de arte poët. v. 333, 343.

Пииты научить иль усладить желают,
Иль вместе все сие они соединяют;
Но обще будет всем сие в Пиите нравно,
Когда напишет он полезно и забавно.

Стихотворцы всегда за премудрых и ученых людей в Философии почитались, как в самой древности, так и в новых веках, по чему тот же Гораций исчисляя подробно, сколько стихотворец в философии быть должен искусен, заключает: *

Сия была тому причина не сумненно,
Что имя зделалось Пиит у всех почтенно.

Следовательно, все науки, говорит Цицерон, ** столь тесное имеют между собою взаимство и соединение, что по справедливости за одну и неразделимую фамилию их почитать надлежит. Примечание сего великого человека поверяется опытом очевидным. Представим себе человека острого разума, памяти и проницательства: дадим ему склонность натуральную, чтоб он паче всех других наук любил Физику, в ней свою забаву и упражнение находил: Но когда он не изучен потребных к тому оснований, а именно: не искусен в Математике, в Химии, в истории натуральной, не знает правил Механических, Гидравлических и проч. то каким образом поступать он может в исследовании натуры, то есть свойства и соединения тел, в исчислении меры и веса, тягости и упругости воздуха и всех твердых и жидких тел, а из того заключать силы и действия элементов одного на другой, перемены их и прочие бываемые от них же явления? Другой желает быть медиком не зная совершенно анатомии, Ботаники, Фармацевтики и проч.: как может врачевать болящего, различать травы и составлять лекарства? Или желал бы кто в числе Астрономов себя видеть, а не имел понятия о Плоской и Сферической Навигации, не искусен бы был в Оптике и не ведущий генеральных понятий о физике; всеконечно никакой помочи иметь он не может от одних Телескопов, ниже делать Астрономические наблюдения, тем меньше рассуждать об удаленных от нашего зрения небесных телах. Ни Физик, ни Медик, ни Астроном, именем сим назватьcя сами не похотят, хотя бы они и прямые любители сих наук были.

Равным образом стихотворец незнающий ниже грамматических правил, ниже реторических, да когда еще недостаточен и в знании языков, а паче в оригинале Авторов, ежели не читал тех, которые от древних веков образцом стихотворству осталися, или новых, которые тем точно так как великие великим подражали, то николи до познания прямого стихотворства доступить не может И чем меньше такой творец Рифм о науках прочих познание имеет, тем больше удаляется от тех качеств, которые природный дух в нем стихотворства довершают. Многие думают,

* Sic honor et nomen divinis vatibus atque
Carminibus venit. v. 400.

** Цицер за Архию стихотворца, в речи.

что изучение словесных наук, которые у Латинщиков идет под именем Humaniora, а у Французов под именем Belles lettres, невеликого труда требует и невеликой нужды есть. И когда случится таковым неискусным услышать слово из науки себе неведомое, то и бытие оного в свете отрицают. Скажи ему по нещастию слово латинское, тот час грубым лицем и презрительным смехом закричит: ты де по Сирски говоришь. Сам напротив того когда напишет мадригал или песню любовную, то прочтет сперьва домашным, гостя всякого ими же отправит, потом и встрешному и поперешному читая глядит в глаза при всякой строчке. Где думает жалость изобразил: тут у себя сперьва слезы отирает; смешное ли что, покажется ему, написал: сам прежде захохочет; и таким образом зделав себя смешным и жалостным, и подлинно смех и жалость о себе возбудит в слушателе разумном. Сие он видимое почти над собою посмеяние, за великую принявши мадригалу и песне своей аппробацию, думает по самолюбию, что похвала домашных и притворного приятеля есть та самая аппробация, которой в публике Авторы ищут, и для того надмен столько становится своими в Поэзии мнимыми успехами, что судит и решит о всех сочинениях без зазору и без остановки, и тем бичь подает на свое невежество людям здравого рассуждения. Таковаго Рифмача не убережешся, чтоб и не прогневать иногда не примирительно, потому что и всякой разгневанный Автор неутолим в ярости. И не удивительно! Он читавши нахально многим свои сочинения, и слыша похвалы, или по лести, или по ласкательству, привык себя чтить совершенным, да в том самолюбии и закоснел уже чрез многие лета. О коль великий удар, когда он услышит стороной, что кто ни есть дерзнул назвать песню его нескладною! Сему он не отпустит ни в сей ни в будущий век; извержет на него весь яд свой; сулит все пропасти земные; татьбу церковную на него взводит. Бегает и мечется с ярости к другу и недругу в дом; проклятию предает желание служить наукою народу; кричит, что общество видимой лишается уже пользы. Сожгу книги! брошу стихотворство! пропади все, что я ни написал! Нещастие наше, что на своей клятве не долго остался! Завтра не утерпел другой Мадригал, нового будто вкусу, компании кажет. Съехався с соперником, и поговоря трусливо тот час вскричит тебе, возмем перо и бумагу, кто больше из нас напишет. Таковое нещастие и Гораций в свое время терпел: «Тот час де Криспин меня вызывает, возмем, буде хочешь, перо, возмем бумагу, пусть нам дадут место, час и свидетелей; посмотрим, кто больше из нас напишет».*

Кто не примет на себя терпения; Кто не даст места такому самолюбию? Он молчание твое между тем в победу уже себе ставит. Почнет тотчас в пыхах таскать из кармана бумашки. В одной кажет сатиру, в другой эпиграмму. Прочитавши любовную песню, ах! Сударыня, вздохнувши скажет, жаль, что вы Анакреонта в переводе не читали, вы бы

---

* Crispinus minimo me provocat. Accipe, si vis
Accipe iam tabulas: detur nobis locus, hora,
Custodes: videamus uter plus scribere possit.
Hor. lib. I, Sat. 4.

увидели, сколь блиско я сему Греческому стихотворцу подражаю. Я читал при том и Геллерта и Готшейда на Немецком, великие то люди в Лейбцигском Немецком собрании! Бесспорно, что Анакреонт из старых великий стихотворец, другие между учеными знатны. Но тебе можно ли быть такову, как они, когда одних ты читаешь в переводе и несовершенно разумеешь; других хотя и в оригинале, да не имеешь сам того источника, из которого они почерпают. Ты почитаешь Анакреонта без разбору; а стихотворец уже не так пристрастен, когда говорит: «Не инако де Анакреонт горел любовью к Ватилле, который часто оплакивал свою страсть на лире неисправными стихами». *

Другие говорят, что весьма нежности много Анакреонт имеет, только лирою своею поругание зделал музам о подлых и чрезъестественных делах столь сладко говоря. Анакреонт был, как древность говорит, крайне к сластолюбию и пьянству по конец жизни своей склонен, по чему и писал одни Бахические и любовные песни. Но ты его знать не можешь в собственной красоте, разве в материи; по тому что перевод не может николи стихотворцева изъяснить оригинала. Ученые люди об нем свидетельствуют, ** что его нежность хотя и на всех языках видна, но красота главнейшая состоит в том, что он Греческим Ионическим языком писал

Не довольно того, что читал ты некоторое число старых и новых Авторов в переводе:

Кто в честь Аполлона играет в флейту нежно;
Учился прежде тот у мастера прилежно. ***

Ежели хочешь быть в публике Автором, поступи дале во все словесные и во все свободные науки, которых может быть не только важность и польза к стихотворству, но и имена тебе неизвестны. Вместо того что не различаешь еще в грамматике осьми частей слова, и что ее знание, которое педанством называешь, и церьковных славенских книг чтение весьма потребны к доброму слогу и правописанию; будь не только знаток, но и критик и учитель в том языке, на котором пишешь Когда хочешь быть Автором, будь не отменно в некоторых случаях и Педант. Потом познай, что период простой, что сложной и употребление частиц соединяющих речь человеческую. Познай, что есть еще правила, которые речь и мысль твою украшают. Изучись отделять понятия и силлогистически представлять твои мысли. Положи основание по правилам Философии практической к благонравию. Пробеги все прочие

---

* Non aliter Samio dicunt arsisse Bathyllo
Anacreonta Teium;
Qui persaepè cava testudine flevit amorem
Non elaboratum ad pedem.
Epod. L. V, ode 14, v. 9.

** Жиралд истор. Стихотв. разд. 9.

*** . . . . Qui Pythia cantat
Tibicen; didicit prius, extimuitque magistrum.
Hor. de arte poët. v. 414.

науки, и не кажись в них пришельцем. Научись тем языкам, в которы библиотеку найдешь тебе учителей. Поступи во глубину чтения книг найдешь науку баснословия, которая тебя вразумит к понятию мыслей старинных стихотворцов. Мы писателей Греческих имеем от двух тысяч и пяти сот лет назад, которые свои веки услаждали. Их старайся знать, и что другими подражателями в них не открыто, того сам доискивайся последуя самому себе. Когда Сафо, когда Анакреонт в сластолюбиях утопленны, мысли свои писали не закрыто, когда Люкреций в натуре дерзновенен, когда Люциан в баснях бесстыден, Петроний соблазняет, оставь то веку их к тому привычному, а сам угождай своему в нежности и в словах благопристойных. Ежели из правил политических знаешь уже должность гражданина, должность друга и должность в доме хозяина, и все статьи, которых практика в Философии поучает; то стихами богатство мыслей не трудно уже украшать, был бы только дух в тебе стихотворческой.

Материю о всем у Сократа найдешь,
К материи слова не трудно приберешь. *

Сими снабден, загляни в историю древнюю, загляни в новую политическую и литеральную. В чем силен Демостен, в чем велик Цицерон, или слаб Квинтилиан, чем друг к другу как Ораторы ревнуют, было бы тебе известно. Чем чтит Гораций Виргилия, в чем Виргилий велик а Овидий нежен, почерпни то в самом языке Латинском. Прочти Француских великих стихотворцев в собственной их красоте а не в переводе. Под сим малым числом я без числа тебе учителей разумею старых и новых. Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собою разнствуют. И для того береги свойства собственного своего языка. То что любим в стиле Латинском, Француском или Немецком, смеху достойно иногда бывает в Русском. Не вовсе себя порабощай однакож употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить. Не будь притом и дерзостен сочинитель новых. Хотя и свой собственный составишь стиль, однакож был бы он чист в правописании и этимологии, плодоносен в изобретении слов и речей приличных, исправен в точности их разума, в ясном мыслей изображении, в непринужденной краткости, в удалении от пустого велеречия в падении по прозодии, в периодах незаплетенных союзами, наречиями и междометиями мысль твою затемняющими.

И хотя ты изобилуешь слогом Грамматическим, красноречием по правилам Реторики, материею из истории и наук, благонравия законами из Философии, богатством мыслей и примеров из чтения всякого рода книг исторических и критических, и всем тем знанием, которое приобрел в юности, то и все сие исполнив не дерзай еще писать учительных поэм. Оратором можно зделаться, хотя бы кто природного таланта к тому и не имел, потому что Реторическая наука может недостаток природный несколько наградить. Но стихотворцем без природного таланта, который

---

* Rem tibi Socratiae poterunt ostendere chartae,
Verbaque provisam rem non invita sequentur.
Hor. de arte poët. v. 31.

Французы называют genie, или без природного духа стихотворческого никак зделаться не можно, и недостатка таковой природы никакая наука наградить не может. Овидий говорит: *

Дар богов имеем, и им действуем,
Стремление наше от них в нас вкоренено.

Оный дар есть тот огонь в стихотворце, который возвышает разум, который дает щастливые мысли, и который их изображает с величеством. Щастлив тот, которого природа сим одарила. Он имея сей талант часто сам выше своего разума возвышается, тогда, как другой без сего таланта что ни скажет в стихах, ползает и пресмыкается по земли. Первый без труда говоря о деле великом в словах величествен, или и в самых малых вещах виден, что стихотворец. Таков был Малерб, таков был Ракан. Боало про них говорит: **

Малерб дела Героев прославлять может,
А Ракан петь Филлису, пастухов и леса.

Но другой в поте лица своего пишет речи площадные и простонародные. Таковы всегда те стихотворцы, которые сами себя хвалят, и чтут себя за великих, не уважая, что публика об них говорит. Обыкновенно они думают, что их стихи велики, но великие стихотворцы стихами своими никогда недовольны, и с сумнительством в народ их выпускают. Виргилий с великою робостью ночью был принужден к Цесаря Августа дому прибить стих свой похвальный: ***

Чрез целую ночь непогоду, а утром позорище видим:
Юпитер и Цесарь владеют светом совокупно.

Он всячески старался укрывать себя, хотя Император с крайнею ревностью желал Автора сыскать столь искусному стиху. Но сие еще удивительнее, что при смерти очень просил, чтоб его Энеиды, над которыми он двенатцать лет трудился, были сожжены, **** ежели бы Цесарь Август от того не удержал, и не отдал в сохранение и для чистой переписки двум славным стихотворцам Тукке и Вариусу, которым притом и повеление дал, чтоб они ни единого слова не отменили. От чего сие? От того что великие стихотворцы николи не имеют высокого о своих стихах мнения, и они крайнего всегда ищут совершенства в том, что издают в свет. Гораций во многих местах говорит про себя, что он на стихотворца не похож, и что будто духа стихотворческого он не имеет.

* Est Deus in nobis, agitante calescimus illo;
Impetus hic sacrae semina mentis habet.
Ovid. Fastorum lib. VI, v. 5.

** Malherbe d'un Heros peut vanter les exploits,
Racan chanter Phillis, les bergers & les bois.
Boileau. Art. poët., ch. I. v. 18.

*** Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane;
Divisum imperium cum Iove Caesar habet.

**** Патеркул, Светоний, Виргилий и проч.

Щастлив тот век, в которой Стихотворцы столь смиренномудрствовали. О! когда ты к нам возвратишься.

Худые поэты веку беспокойство! *
по чему жалуется к Пизонам и учит их Гораций. **

Почти всякой де невежа делать стихов не стыдится,
Что за причина? Дворянин, свободный, и достаток имеешь,
Ежели хочешь быть разумен и рассудлив,
Не имев способности писать отнюдь не дерзай:
Но буде уже что написал, дай Тарпе, отцу и мне прочитать,
Или запри те бумаги в сундук лет на десять;
То еще всегда выскребешь что в народ не издал.
А напечатавши знай, что слова не поворотишь.

К сему в согласие Рапен говорит: ***

«Нет де ничего столь досадного как стихотворец напоенный самолюбием, всему свету наскучит читаючи свои сложения. И как скоро один или другой стих в рифму положит: то всячески старается сам свою мудрость прославить; великие де между тем люди не меньше трудности имеют свое сочинение в публику показать, сколько прилагают попечения от оной укрывать». Боало чрез многие годы от всех Академиков и приятелей был прошен, чтоб свои сатиры отдал напечатать, однакож он долговременно отважности не имел, по его мнению столь слабое сочинение в свет выпустить; но когда уже усмотрел, что рукописные копии везде умножилися, и переведены сатиры его на разные языки, а паче всего переписками изуродован разум текста его, то принужден был с великим нехотением первую эдицию выпустить в 1666 году, дабы исправный оригинал в людях был. ****

Ежели уже испытал в твоем разуме, что ты имеешь дух стихотворческий, то пусти прежде в свет под именем неизвестным нечто малое, и

* Saecli incommoda pessimi poëtae! Catull. 14 23.

** Qui nescit, versus tamen audet fingere. Quidni?
Liber et ingenuus, praesertim census equestrem
Summam nummorum, vitioque remotus ab omni
Tu nihil invita dices faciesve minerva.
Id tibi iudicium est, ea mens, si quid tamen olim
Scripseris, in Metii descendat iudicis aures,
Et patris, & nostras; nonumque prematur in annum.
Membranis intus positis, delere licebit
Quod non edideris. Nescit vox missa reverti.

Гораций о искусст: ст. 382.

*** Il n'y a rien de plus incommode qu'un Poëte entête de son mérite: il en fatigue tout le monde, en pronant eternellement ses ouvrages; et dès qu'on sait rimer un bout des vers, on veut que tout le monde le sçache pendant que les grands hommes ont tant de peine à se produire, et prenent tant de soin de se cacher.

Рапен: рассужд. о стихот.

**** Смотри предисловие его того же году.

не спеши сам себя хвалить, а паче берегись ласкателей, и не лсти себя хвалами тех людей, которые сами не знают, за что тебя хвалят или хулят, но старайся выведывать стороною, что люди искусные о тебе говорят, что публика рассуждает. От нея, а не от себя самого честь себе приемли и похвалу. По сем предуспевши пиши учительные поэмы и веселись, когда уже приобрел стихотворства талант.

Знание одних только языков весьма недовольно, чтоб мы людям могли показывать себя учеными, тем меньше когда еще и в них дальнего совершенства не имеем. Но однакож многие нашего народа люди имея бо́льшее нашего в языках искусство не могут еще своим разумным примером отвратить нас от того, чтоб мы стихов не писали. Малинькая песня или станс, которая и без науки и в худых рифмах может иногда мысль удачную заключить, так нас вредит иногда, что мы и Автора и учителя имя на себя смело и тщеславно приемлем: Вместо того что разумные люди искусство свое в языках в действительную пользу себе обращают, и тем справедливо берут над нами поверьхность. Они прилежно всякого рода читают книги, и час от часу бо́льшее получая просвещение делают себя полигисторами, так что о всех науках генеральное напоследок понятие имеют. Сие средство возвышает их в достоинство то, что они делаются судьями скоропоспешных и незрелых Авторов. Они тот час скажут, свое ли что Автор написал, или тайно взял от какого ни есть стихотворца; Знают, что слогу Лирическому прилично, что Эпическому; Геройских слов и мыслей в песне не терпят; Сатиру от бранных и грубых слов различить умеют, и видят прямо, что Трагедия, что Комедия, что Пастораль, Опера Французская или Италианская. Одним словом, они довольствуются тем, когда мнимых ученых видят посмеянием разумным людям.

Удивительные иногда качества на себя приемлет, ежели смею сказать, таковой мнимый Автор. Он старается в людях себя казать неумытым лицем, и нечесанною головою, дая чрез то знать, что всегда дома сидит над горшком чернил и стопою бумаги. Кому де меня зазреть? Сие оставляю, говорит, людям досужным, а нам сидя с мертвыми друзьями неколи о том помышлять: потом при всяких разговорах Сатириком себя показать не оставит. Ходит часто задумчив, пра́вила вежливости вовсе презирает, к стати или не к стати вчера прочитанную фабулу стихотворческую рассказывает. Буде досадил кому невежеством, тот час кричит вместо извинения слыханную речь Горациеву: стихотворцам и живописцам все дозволено! Не зная того, что тот же автор написал: *

Есть во всех делах посредство и пределы,
Из которых ежели выступишь, правость потеряется.

Гораций пишет, что «в прежние де времена комедианты вольность такую в речах употребляли, что от вольности произошли дерзость и порок. Почему принужден был Магистрат учинить запрещение, которое не обходимо было потребно. От тех пор началася в театрах благопристрой-

* Est modus in rebus, sunt certi denique fines;
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.
Гор. кн. I, Сат. X, ст. 106.

ность, и хор от укоризн персональных воздержался», которых и всеконечно ни в Плавте, ни в Терентие, сочинителях Римских комедий, ужé не видно. «Демокрит де рассуждает, хотя бы кто и знал правила к стихотворству, но ежели здравого ума и наук не знает, то в Геликон не годится. Иной де сидит дома удаляяся от людей, ни ногтей ни бороды не остригая, в том замыкает всю важность стихотворца. Но мне де, когда я сам острым железом быть не могу, то лучше быть желаю точилом, которым железо изощряется, и искать того богатства, которое питает разум стихотворцев, и показывает, что полезно, что вредно, что добродетель, что порок. Кто хочет де прямо писать, тот должен знать начало и источник премудрости».

Ежели я тем утешаюсь, что мое имя в Авторах народу станет известно, то не меньше и опасаться должен, чтоб оно на веки не осталось посмеянием. Многих видим стихотворцев в древности, которых дела к немалому сожалению до времен наших не осталися. Однакож Мевий и Бавий хотя и в Августовы времена с Виргилием жили, мы знаем за тысячу и седмь сот лет, что они были дурные стихотворцы. Виргилий пишет: *

Кто Бавия не ненавидит, пускай любит твои
в наказание, Мевий, стихи.

Лучше когда бы они ничего не писали, то бы ни Виргилий ни Сервий нам памяти об них не оставили, да и имя их не вошло бы в Латинскую пословицу. Но не удивительно, что многие в сию погрешность впадают, потому что литература кроме того, что во внутренности ея сокровенно, наружной в себе много красоты имеет, которою читатель услаждается. Таковому часто кажется, что довольно и того к искусству в словесных науках, когда он читая или изрядную прозу или приятные стихи, понимает их и ими услаждается. Сколь однакож великая разнь между тем, что бы разуметь красоту речи и между тем что бы понимать, и постигать источник и основание, от которого другой столько своею речью в стихе или прозе нас услаждает. Мы только веселимся высокостию разума, а другой к тому присовокупляет знание и науку, которую в нем понимает. Скажет кто, «что мне в том нужды, чтоб знать весь тот источник, из которого красная речь истекает, или льются приятные стихи? Довольно что я ими услаждаюся, и различая доброе сочинение от дурного им подражаю. Дурная мысль мне видима и не нравится, следовательно я столько же вкусу имею как и сочинитель, и ему подражаю». Изрядно! Вкус наш происходит от многого читания таковых ужè сочинителей, а без того прямо и на вкус положиться собственно еще не можем. Ежели прáвил в сочинениях не знаем, ежели собственной материи довольно не имеем, то высокость разума в одно только нас удивление приводит. А хотя и подражать отважимся какому ни есть сочинению, что пускай бы нам и удалося, то в продолжении той же материи, или тому подобной, тот час примечено будет наше истощание. И таковый Автор никогда ни

* Qui Bavium non odit, amet tua carmina, Maevi.

Эклога III, ст. 90.

ровного стиля ни ровного духа иметь не может: но по склонности часа и дня труды его переменять свою цену будут. Виргилий последовал, как Плиний и Светоний свидетельствуют, в Эклогах Феокриту, в Георгиках Гезиоду, а в Энеидах Гомеру; но научася прежде в Неаполе, а после в Афинах больше красоты и сладости придал истории Троянской. Так последовал Боало Горацию, Гораций своему Луцилию, которого далеко превзошел. Все мы глядим с удивлением на картину, когда видим изображенную на ней натуру или страсть человеческую. Но те, которые притом видят растворение красок, смелость кисти живописной, соединение теней с светом, регульную пропорцию в рисовании, изображенное удаление и близость объектов в своей перспективе, смягчение в дальних объектах же света и тени, двойственное увеселение чувствуют. Приятная музыка многих услаждает, но несравненно те ею веселятся, которые правильную гармонию тонов целых и половинных, их дигрессию и резолюцию чувствуют. Одни веселятся потому, что вкус и охоту имеют к живописству и музыке, другие вкусу и охоте присоединяют знание и науку. Так равномерно делается и с красноречием, так и с стихотворством. Сколько щастливых мыслей и украшений в речи или поэме, сколько приятных мест миновать тот может, кто науки словесной прямо не учился, тем паче когда еще и оригинала читать не может? Временем еще те же самые удачные строки по незнанию прогневить его могут. Так как незнающему композиции музыкальной, когда секунда кварта, секста-минор и септима суперфлуа зделают диссонанцию, то по коих пор кварта на терцию, секста на квинту а септима на октаву не разрешатся, ухо его раздражает. Или Рюбенсовы в тенях красные рефлексии неискусному в живописстве глазам досаждают. Но ежели бы всем равно самые науки были известны, то бы и ухо и глаз их тем же равно веселился.

И так чтобы Автором быть, должно ученическим порядком от младых ногтей всему перво учиться, и в науках пребыть до возрастных лет, а потом, ежели нужда, а не тщеславие, позовет издать что либо в свет учительное, готовым быть самому себе и ей во всем дать отчет. От чего бывает, что новый Автор написавши малое число поэм станет тот час ослабевать? Не от того ли, что сочинения его от одного чтения и подражания украшаются. Он сам себе хотя и раждает мысли, но ежели бы не имел оригинала, то бы целого составить не мог. Сие то самое есть, что я говорю; без наук человеку две или три пиэсы сочинить удастся, потому что никто или не знает, или не поверяет, кого Автор за оригинал себе представляет. Но ежели бы таковый счастливый разум исполнен был литературы, то бы не подражанием только, но и своим собственным вымыслом всегда нечто новое и небывалое раждать мог. Не возможно себе не представлять за образец славных людей в свете, но еще то почитать надобно за наилучшее вспоможение, без которого и обойтись Стихотворцам не возможно, однакож при подражании одном оставаться не должно. Ежели бы Цицерон не представлял себе Демостена, Демостен Исократа, Платона, Эшила и других, Виргилий Гомера, Расин Эшила, Софокла и Еврипида, Молиэр Терентиа и Плавта, Гораций Пиндара, Боало Горация и Ювенала: одним словом Греки, как думают ученые, Египтян, Латинщики Греков, Французы и Немцы Латинщиков, то бы и прира-

щения в словесных науках мы не видели; но когда великие великим людям подражают, тогда разум и дух их науками и примерами обогащенный всегда нечто раждает новое, и, как я выше сказал, небывалое. По сим рассуждениям мы видим, что прáвила одни стихотворческой науки не делают Стихотворца, но мысль его раждается как от глубокой эрудиции, так и от присовкупленного к ней высокого духа и огня природного стихотворческого. Ибо кто знает, что стопа, что цезура, что женская, что мужская рифма, и с сим бедным запасом в Стихотворцах себя хочет числить, тот равно как бы хотел воевать имев в руках огнестрельное оружие, не имея ни пуль ни пороху. Цицерон о Стихотворце говорит: * В безделицах я Стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу перстом измеряющего людские пороки.

II. Рассуждение о начале стихотворства

Прежде нежели рассуждаемо было о качествах стихотворца, надлежало было показать свое мнение о начале стихотворства; но тогда нужда востребовала ускорить с тем, чтоб найти прямого стихотворца, и отличить от того, кто напрасно имя сие на себя приемлет: того ради порядок по нетерпеливости нарушен.

Все науки и художества начало свое восприяли не чувствительно и не приметно в роде человеческом, но приращение их более знатными и полезными учинило. Науки и искусства между собою отделяются тем, что первые обращаются к пользе, а последние иногда к пользе а иногда и к единому увеселению или изощрению нашего разума, который после всегда служит руководством к познанию других вещей. Между многими искусствами я почитаю истинное красноречие за средство такое, которое действовать может в сердцах человеческих более нежели каковое либо иное действие, которое от насильства единого происходит. Красноречие искусством стало называться от времен Платоновых, и процветало час от часу больше, пока в упадок стало приходить при Цесаре Тиверии и его наследниках. Но сие только разумеется о правилах Реторических, которые изобретены Платоном, Аристотелем, Цицероном и другими для приведения в известные законы того, что природа в языке человеку дать могла. В прочем красноречие само или паче дух красноречия есть талант, который в естестве рода человеческого врожден почитается. Того ради правилам красноречия начало положить можно, а самое красноречие когда началося и как возрастало, того определить не возможно. Но сколь долго свет стоит, оно всегда, во всяком веке и народе красноречивых людей имело, которые своим языком и речью или тиранов умягчали, или к войне и бою общество побуждали, или страсти утоляли других, или возбуждали речью огонь любовный и преклоняли твердые и окаменелые иногда сердца любовниц своих. Когда сие человеческое свойство положим что оно природное, то следствие натуральное видим, что стихотворство

* Poëtam non audio in nugis, in vitae societate audiam civem digitis peccata dimetientem sua

Цицер., Пародокса, III.

хотя и безрегулльное, от красноречия человеку иногда природного начало свое восприяло. Ибо может быть, уединение пастуху подало в лесах с птицами преклониться к подражанию, увеселять себя таковым же пением. Пасущим стада, натуральная из древле была одежда в теплых краях, обнажение рук и ног, и мужеск и женск пол с стадами в полях совокупно пребывали. Таковое одеяние еще на самых древних статуах свидетельствуется, где руки по плеча и ноги за колено обнажаемы по обыкновению были. Сия одежда, сие уединение, и притом зримая в стадах натуральная к любви склонность пастуха иногда пленяли к подруге своей, что самое обремененному страстию к любовнице в забаву слова приятные к пению прикладывать заставило. Таковые неприметные начатки вероятно произвести могли размер в слогах и их падение, которое мы ныне Просодиею называем. И от таковых малых начал стихотворство час от часу хотя без всяких регул возрастало одним употреблением в забаву и увеселение песенных слов, доколе разумные люди приметя талант природный других к такому сложению речей привычных, почали помышлять о приведении сего таланта в правила и законы, и назвали его Поэзиею, т. е. Стихотворством. Кто первый изобретатель правил стихотворских о том Плиний * говорит, что никаких свидетельств в древних Авторах не находится, ибо он свидетельствует, что поэмы были уже известны прежде Троянской войны, а кто начинатель был, о том де еще великий идет спор. Но понеже намерение мое есть всегда защищать важность стихотворческой науки, то о начале стихотворства я рассуждаю таковового точно, которое к пользе человеческой всегда обращаемо было. Почему надлежит показать, отчего склонность родилася в человеке сочинять поэмы изобразующие добродетели и пороки; что собственно у Греков и у Римлян именем Стихотворства называется; и сочинители таковых поэм, а не иные Стихотворцев имя носили.

Хотя народы разной язык имеющие имеют разные нравы, разные обычаи и разные вкусы, но то бывает по причине воспитания. Ежели бы дикого и степного человека от самого рождения воспитать в истинном благонравии и просвещении наук политических: То какова бы его природа ни была, он всегда уж будет инородный своим родителям. Из сего поищем прямой причины, для чего воспитание делает младенца иным на возрасте человеком, и не остается в нем ничего кроме лица и сложения тела, которое он по плоти приемлет? Причина, уповаю, тому не иная, как та, что человек, ежели бы не имел склонности от рождения своего к подражанию и к перенимке видимого перед собою образца, то бы николи ничего не разумел, ни сделать, ни сказать, как то только одно, что к сохранению его жизни потребно, и к чему натура и болезнь его влечет. Прочее же все от природного своего разума происходящее, которым он яко тварь разумная одарен от бога, составило бы в нем нечто особливое, во вкусе, в мыслях и в рассуждении. Младенец не успеет только начать приходить в разум, перенимает уже то, что видит; и прежде улыбкою, а потом и смехом и немым голосом, дает согласие всему тому чем его забавляют. Между тем приходя в силы предуспевает в свою

* Плиний Секунд, кн. 8, гл. 56, стр. 36.

собственную забаву, тоже сам делать подражанием, чем его хожатые веселили. Из того самого возрастает подражание, и всякой от юности человек наилучшую в том забаву и удовольствие находит, чтобы подражать тому, что себе приятное видит, или дразнить то, что смеху достойно в другом ему покажется. Сия природная к подражанию склонность человеческая не одна в нем действует, но прибавить еще надобно другую, которая с натурою же его рождается; то есть, любление забав и веселия, пока старость и болезнь от того не отвращают. Соединенные два сие в человеке качества и от натуры роду человеческому врожденные, подали причину изобрести не чувствительно различные в свете науки и художества, а наипаче рисование, красноречие, пение, или голосная музыка, начало свое, видится, от сих склонностей восприяли. От рисования произошли уже каменосечное искусство, живописство и Архитектура со всеми ординами, а от голосной музыки, или простого пения, музыка инструментальная. Так как от красноречия и музыки вместе соединенных стихотворство и театры. Возмем самое живописство в пример, и посмотрим, колико подражание ему причиною.

Не только, что в натуре приятно, но и самые те вещи, от которых мы страх, омерзение и отвращение имеем, когда видим их натуру живо на картине изображенную, чувствуем в сердце и в глазах своих удовольствие. Представим себе разбитие кробля, убиение младенца, змию, дракона или гадину, труп мертвого человека: все сие в живе нашему взгляду весьма не приятно; страх, ужас и мерзость наводит. Но когда то же самое видим великим искусством живописным на картине подражаемо, то не гнушаемся за красоту в домах великолепных поставлять. Таковое глазам удовольствие не от чего иного происходит, как от того, что мы по натуре склонны к подражанию, следовательно и художество то нам приятно, которое склонности нашей делает удовлетворение. Почему в старинные времена у Египтян, у Греков и у Римлян Живописство, Музыка и Стихотворство в равном были почтении, и равно в свободных науках почиталися. Плиний пишет: * «Исстари де Живописство в чести было: и крайне напоследок того наблюдали, чтоб рабы оному не были обучаемы». Чего ради и старинные греческие живописцы, о которых тот же Плиний пишет, или полководцы или знатные в обществе люди были. Сия благородная наука столько тогда в забаву служила, что в Коринфе и в Делфах споры поединошные были учреждены. И первый Кавалер Тимагор Халкидонский у Панеа в Пифии преимущество в живописстве картиною выиграл. Хотя неизвестно подлинное время, в которое живописство начало свое показало, ибо Плиний упоминает, что во время Трои еще его не было: однакож свидетельствует Аристотель, что в Египте первый был живописец Гигес Лидийский, а в Греции Евхир. Но Теофраст пишет, что в Греции первый был Полигнот. И не задолго перед Юлием Кесарем живописство вошло в Италию, потому что Плиний себя самовидцем в Юлия Цесаря доме оригинальных картин, которые в гал-

* Кн. 35, гл. 10. Semper quidem honos ei fuit, ut ingenui eam [nempe picturam] exercerent, mox ut honesti, perpetuo inderdicto ne servitia docerentur.

иерее поставлены были, упоминает, и тогда уже в Греции живописство к немалому совершенству Апеллесом и другими были приведено. Не надобно думать, что начало живописства было бы красками многими писано. Хотя Плиний будучи в истории натуральной многознающий человек, и описывает малевание: однакож в живописстве или дальней силы не знал, или оно не столь в его времена было совершенно, сколько в последующие. Он пишет, что первое и лучшее употребление в растворении красок было мел и индиг, или по нашему крутик, которым ныне сукна красят. По чему догадываться можно, что в старину были только картины однофарбные, и изображалися одною тенью и светом, которые сам Плиний называет Monochroma, а французы Camayeu. И таким образом столь славное теперь в свете искусство от самых малых начал в столь великое, как видим, совершенство пришло.

Так точно и Стихотворство, по коих пор в правила определенные пришло, в своих начатках кроме природного Стихотворству огня ничего особливого не имело. Трудно по справедливости определить, в чем состоит натура или сродство Стихотворства, но по мысли моей, как я выше сказал, склонность врожденная в человека к подражанию натуры и к веселию произвела многие науки и художества, в том числе и Стихотворство основанию своему начало показывает. Почитать надлежит страсть любовную больше вкоренену в род человеческий, нежели многие другие страсти, потому что прочие склонности воспитанием строгим одолеть можно, а сия по крови бываемая делает человека невольником своим. Она родила любовные мысли, она произвела любовные речи, которые когда соединялися с голосным пением, произвели падение слов, и для лучшей приметы кончащегося разума, или паче музыкального тону, Рифмы. Таковое к пению слов прибрание, через долгое время, уповательно, одной только забаве служило. Но потому что Стихотворство происходит от особливого духа, огня и веселого нрава, то следовательно час от часу и время от времени оно претворялося в некоторую важность, и своих особенных мудрецов по временам иметь начинало. Или больше знающие люди, которые имели в историях и науках много познания, сей способ писания употреблять начали, яко народу приятный, а притом для приятности же украшали небылицами разумными и материю, о которой пишут утверждающими. Таким образом легко поверить можно, что и наставления в нравах не покидали они в песнях, и храбрость предков своих напевали, нещастия любовников и любовниц оплакивали. Насмеяния делали порокам, и всем сим случаям небывалые вымышляли нравоучительные истории. Одним словом, песнями своими подражание всему тому делали, что с человеком в жизни случалося или случиться могло, и тем себя по склонности к веселию пробавляли. То самое мы видим у нас в простом народе, что люди неведающие никаких правил стихотворческих, да и про то незнающие, что есть на свете между науками особливое искусство называемое Стихотворство, поют истории царей, бояр или молодцов, по их наречию, удалых. И хотя весьма просто, однакож преклоняют сердца иногда к слушанию.

Хотя живущие в полях, и не были прямые стихотворцы, потому что я разумею такое еще время, в которое стихотворство не было наукою,

и никаких правил не имело; однакож дух стихотворческий или огонь всегда своих острецов имел, которые природною способностию были от бога одарены. Иные, положим, не умели и складывать ни истории, ни фабулы, ни похвалы, ни посмеяния; однакож способны были к остроумным изречениям, то что мы теперь по Французски называем bon mot. И таковые дух Эпиграмматической имели. Другие умели делать загадки и их решить, что подало может быть случай пользоваться в язычестве идолослужителям, и простой и суеверной народ обманывать в оракулах ответами двоякой разум замыкающими. Такие неученые стихотворцы у Греков были разумеемы лесные боги или полубоги, которых они Сатирами называли, а у Латинщиков Фауны, о которых Сервий пишет, будто они были долговечные люди. *

Можно видеть, что и в те самые времена, когда стихотворство весьма процветало особливою уже наукою, была у них память и великое почтение к старинным натуральным Стихотворцам. Варрон когда хвалил стих Энниев, то похвальнее сказать не мог, ** что таковые де стихи в старину фауны певали. Но когда уже склонность в натуре человеческой к Стихотворству умножилася и представление хотя не в правильных стихах (ибо правил еще я не полагаю) натуры человеческой в таковых сказаниях к тонам приличных в обыкновение народное вошло, то надобно, чтоб польза и приятность с сим же обыкновением умножалися. Федр говорит: Фабулы де не к чему иному склоняются, как к отвращению людей от пороков. *** Следовательно Стихотворство довольную причину имело вкорениться, когда оно с приятностью столь полезное в себе заключало, а полезное довольную вероятность получало, когда оно столь приятным слогом изображалося, толь наипаче когда и пение тому способствовало. Таковая поэма чем больше в себе совершенства имела, тем больше и правилом в исправлении нравов народу служила. Сочинения же стихотворческие подали мало по малу повод к изображению поэм Героических и Лирических, к представлению действий персонами, которые согласно вымыслу слов, одевалися, и то самое, что говорили, представляли зрителям с телодвижением, дабы тем удобнее подражать натуре: то самое есть, что мы ныне театрами называем. Зрители же напротив того влекомы к веселию и забавам не чувствительно, в том получали пользу и увеселение.

Сие мнится быть происхождение от начала Стихотворства в натуре своей, которое после обратилося в великую важность между учеными людьми. Открыло, или наипаче понудило открыть правила к такой науке, которая пользу и забаву народную в себе заключала; а напоследок превратилося в театры богам у Греков посвященные, и Стихотворцам великим не токмо стали особливый приписывать дух, но и сами они про себя везде говорили, что тем напоены. О чем довольно удостовериться можно во многих древних языческих Авторах.

* Серв. к Энн. I, 372.

** Варрон о лат. язы: кн. 6, [гл.] 3, стр. 72, 10.

*** Nec aliud quidquam per fabulas quaeritur, quam corrigatur error ut mortalium.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОЛЕМИКА ВОКРУГ «ГИМНА БОРОДЕ»

В 1907 г. в Берлине вышла двутомная книга Бернарда Штерна «Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland»; хотя и претендовавшая на научность, но более рассчитанная на сенсацию и нездоровое любопытство буржуазного читателя, привлекаемого густым порнографическим душком, книга Штерна была запрещена царской цензурой. Но в массе сомнительного материала, собранного Штерном, есть несколько любопытных деталей, мимо которых пройти не следует. Есть в ней, между прочим, материал, касающийся одного эпизода в литературной полемике ломоносовского времени. Впрочем сведения, сообщаемые в этой части работы Штерна, очень сбивчивы и не снабжены даже указанием источника; тем не менее, они заслуживают внимания.

Давно известно, что написанный Ломоносовым «Гимн бороде» (1757) вызвал обширную полемику и даже вмешательство высшего религиозно-административного органа тогдашней России — синода. Однако, нигде не указывался внешний повод к написанию этого «Гимна», наличие же этого повода давно уже предполагалась. В упомянутой выше книге Штерна содержится, как будто, ответ на вопрос о генезисе этого антиклерикального сатирического произведения Ломоносова. Говоря о борьбе Петра и его преемников с бородоношением и отметив, что указом Елизаветы 1760 г. ношение бороды оставлялось только духовенству, Штерн пишет: «Великий русский поэт Ломоносов с большим мужеством издевался тогда над этой особенной святостью бороды духовных лиц. На небе, говорилось в этом стихотворении, русским нельзя будет носить бороду, так как она не была крещена. Есть одно только исключение, это поп. Однажды он крестил в купели ребенка и, когда он вынул дитя из воды и поднял его высоко над своей головой,

младенец помочился ему в бороду. Счастливая борода, восклицает поэт, ты одна была крещена и удостоена появления в небе, где будешь блистать, как звезда первой величины».[1]

Совершенно очевидно, что стихотворение Ломоносова, которое изложено в книге Штерна и названо в указателе к ней «Der bepisste Bart», не что иное, как «Гимн бороде». Но самый «Гимн» Ломоносова абсолютно не похож на то, изложение чего напечатано в «Истории общественной нравственности» Штерна. Повидимому, в распоряжении его имелся какой-то, может быть, немецкий, источник, сообщавший анекдот, послуживший отправной точкой для Ломоносова при сочинении «Гимна бороде», все же прочее присочинено Штерном. О «Гимне бороде» существует обширная литература. Впервые упоминание о нем в печати было сделано С. П. Шевыревым в «Москвитянине» 1854 г.[2] Затем А. Н. Афанасьев в цитированной в предыдущих главах статье «Образцы литературной полемики прошлого века» привел как самый «Гимн», так и вызванную им литературу, пользуясь материалами «Казанского сборника».[3] Наконец, в «Ломоносовском сборнике» Академии Наук 1911 г. в статье В. Н. Перетца «К биографии Ломоносова. Кто был Христофор Зубницкий?» были сообщены по архиву митр. Евгения (Болховитинова) дополнительные данные об этой полемике.[4] Первые публикаторы — Шевырев, Афанасьев — считали нужным, конечно, в соответствии со своими верноподданническими воззрениями, представить «Гимн бороде» как одно из звеньев борьбы Ломоносова с суеверием и обскурантизмом и, в особенности, с оплотом их, расколом, но никак не отмечали антиклерикального характера «Гимна».

С. П. Шевырев, сообщая о полемике вокруг «Гимна бороде» и о доносе Тредиаковского на автора «гимна», писал, что Тредиаковский, мол, придрался лишь к случаю, чтобы обвинить Ломоносова в безбожии.

Почти в тех же выражениях говорил и А. Н. Афанасьев о сатире Ломоносова: «Она осмеивает раскольничьи бредни и весьма любопытна; ...смысл этого произведения не давал ни малейшего основания заподозрить его автора в неблагонамеренности; но завистливый Тредьяковский не упустил случая и постарался приписать «Гимну» мнимое безнравственное значение, обвиняя Ломоносова в совершенном безбожии».[5]

Более осторожно отнеслись к подлинному смыслу «Гимна бороде» П. П. Пекарский[6] и М. И. Сухомлинов,[7] не вполне отчетливо высказавшие свое отношение к этому произведению Ломоносова. Но в школьно-учебную литературу дореволюционного времени «Гимн бороде» вошел как факт, свидетельствующий о «просветительстве» и неуклонной борьбе Ломоносова с темнотой, невежеством и суеверием. «Нельзя не признать величия поэтической деятельности Ломоносова — писал В. В. Сиповский в «Истории русской словесности,» — но в то же время, и некоторого ее однообразия, — лишь в последний период его деятельности он несколько расширил пределы творчества, сочинив сатиру «Гимн бороде», обличавшую приверженцев старины, врагов петровской реформы... Потешается он над раскольниками, изуверами и самосжигателями, иронически превозносит «бороду», — мать дородства и умов, «мать достатков и чинов». Очевидно, насмешка была вызвана каким-нибудь общеизвестным тогда фактом».[8]

Лишь через полвека, после первоначальной публикации «Гимна бороде», было высказано более правильное и основанное на фактах суждение об этом произведении Ломоносова. В статье «Кто был Христофор Зубницкий?» В. Н. Перетц писал:

«Пашквиль, написанный очень бойко и по своему времени — недурными стихами, остро, хотя и грубовато, высмеивал конечно, не бороду сам по себе, а привилегированных ее носителей в России XVIII в. — духовенство. Правда, в «Имне» есть полемические выпады против «керженцев» (старообрядцев), против «суеверов», скачущих в пламя — самосожженцев, но строфа 6-я определенно, хотя и иносказательно, указывает на «жрецов» носителей бороды, а 8-я говорит о ней, как о «завесе мнений ложных», т. е. мнений, неприемлемых наукой, за которую Ломоносов готов был бороться до крови с обскурантами своего времени».[9]

С цитированным мнением нельзя, в основном, не согласиться. Но судить о подлинном смысле «Гимна бороде» можно, только не отрывая это произведение Ломоносова от всей совокупности его сочинений, и в особенности тех, в которых затрагиваются вопросы религии, с одной стороны, и его отношения к духовенству, с другой. Только на этом фоне будут понятны идеи, заложенные в «Гимне бороде» и в прочих, относящихся к этой полемике, произведениях Ломоносова.

В творчестве Ломоносова темы «религиозные» занимают, как это известно, значительное место. Его «Утреннее» и «Вечернее размышление о божьем величестве» вошли в старые школьные хрестоматии как «образцы» его религиозной лирики. И несмотря на все сказанное по этому поводу прежними историками литературы можно утверждать, что в своем «религиозном» поэтическом творчестве Ломоносов был не ортодоксальным христианином, каким его обычно представляют, а рационалистически настроенным деистом. Это чувствовали уже в дореволюционное время молодые литературоведы, ученики В. В. Сиповского. Так, А. В. Попов в статье «Наука и религия в миросозерцании Ломоносова», доказывая, что «новую науку Ломоносов принял как религию, как новый орган религиозного творчества, и служение ей сделал подвигом своей жизни», не мог не согласиться с тем, что «в аргументации всех... требований (в области отмены ряда религиозных обычаев и установлений) Ломоносов является чистым рационалистом», что «в ломоносовской религии говорится о начале мира, и ничего — о конце его, о душе человека, — о загробном мире». Далее А. В. Попов констатирует полное, за единственным исключением, отсутствие у Ломоносова суждений об основных догматах православия и вообще христианства, правильно связывая этот факт с тем, что всего этого из «естественных тайн» природы нельзя было вывести.[10]

Еще дальше пошел другой ученик В. В. Сиповского, В. Н. Тукалевский. В статье «Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов)» В. Н. Тукалевский хотел показать, что «Ломоносов близок был к воссозданию всей системы Лейбница, с которой он ознакомился при посредстве Вольфа», и пришел к выводу, что «Ломоносов, как и Лейбниц, является типичным *рационалистом* (курсив В. Н. Тукалевского) первой половины XVIII века».[11] Но дальше цитируемый автор не счел нужным итти, хотя им собран был очень любопытный, поучительный и толкающий к выводам материал. Так, например, В. Н. Тукалевский просто констатирует, не пытаясь осмыслить, интересный факт, что нередко, особенно в научных статьях своих Ломоносов ставит вместо слова «бог» — слова: «разумное существо», «строитель мира» и т. д.[12]

Между тем, эти данные совершенно несомненно говорят о том, что Ломоносов был деистом рационалистического толка.

Деизм, по словам Маркса, это одна из буржуазных разновидностей христианства. Для Ломоносова, в мировоззрении которого было не мало элементов буржуазности, не было невозможно воспринять и деизм, как часть западного философско-религиозного движения современной ему эпохи. Классово-ограниченное мировоззрение Ломоносова не позволило ему правильно осмыслить его собственные великие открытия, представляющие этапы в развитии философского материализма, например, закон о сохранении вещества (веса) и количества движения, сформулированный им за 40 лет до вторичного открытия этого закона французом Лавуазье (1789). Классовая ограниченность и политическая обстановка препятствовали Ломоносову более откровенно и ясно изложить его философские воззрения. Но и тот материал, который сохранился, говорит о деизме Ломоносова. Для Ломоносова, при всех его обращениях к арсеналу библейской поэзии, «бог» и «натура», «божество» и «естество» равнозначущи.

Всматриваясь в звездное небо, Ломоносов говорит в «Вечернем размышлении о божием величестве при случае великого северного сияния»:

Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общей славы божества
Там также сила естества.

Приводя это мнение «премудрых», хотя и сильно расходящееся с церковно-птоломеевской геоцентрической системой, Ломоносов как будто согласен с ним. Однако, появление на небе северного сияния заставляет его усумниться:

Но гдеж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!

Дальнейшие стихи этого «Размышления» напоминают скорей лирику натур-философов, чем благонамеренного академика. Обращаясь к естествоиспытателям, «пронзающим своим зраком книгу вечных прав (законов)», Ломоносов говорит:

О вы, которых быстрый зрак
Пронзает книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак

Являет естества устав,
Вы знаете пути планет,
Скажите, что наш ум мятет?

Задав ряд вопросов из области астрофизики и метеорологии, Ломоносов принужден признать малую удовлетворительность научных гипотез своего времени:

Сомнений полон ваш ответ,
О том что окрест наших мест...

Отсюда он делает дальнейший вывод, который, однако, не идет в разрез с его пантеистическим мировоззрением:

Ктож знает, коль велик творец? [13]

Таким образом, не «натура», оказывается, изменяет свой закон, а только «премудрые пытатели естества» не могут пока, бессильны еще узнать все эти тайны. Бог не стоит поверх естества, а они представляют одно и то же, вот какова мысль Ломоносова. В «Оде» 1747 г. он пишет:

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна...
Но бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами...
Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса.
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса. [14]

Эта равнозначность «натуры» и «бога» для Ломоносова есть только часть его мировоззрения. Первое и важнейшее место занимает в его философии самый процесс познания конкретного мира:

О вы щастливые науки!
Прилежны простирайте руки
И взор до самых дальних мест.
Пройдите землю и пучину
И степи и глубокий лес
И нутр Рифейский и вершину
И саму высоту небес,
Везде исследуйте всечасно
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет. (Ода 1750.)

И все эти усилия наук, говорил Ломоносов в той же «Оде» (1750), должны быть не самоцелью, но

Отечества умножить славу
И вящше укрепить державу, [15]

то есть, служить защитой государству.

Таким образом, для Ломоносова «наука» имеет не только прикладной, хотя в этом и главное, но и философски-познавательный смысл. В связи с этим для него является серьезной проблемой отношение «науки» к «вере». Однако, приемлет он только то в религии, что не противоречит «науке» в его понимании.

В стихотворении «Блаженство общества всядневно возрастает» (1763) Ломоносов писал:

Похвально дело есть убогих призирать,
Сугуба похвала для пользы воспитать:
Н а т у р а то гласит, повелевает в е р а. [16]

И в других местах, в особенности в «Письме о пользе стекла» (1752), Ломоносов касается вопроса о «науке» и «вере» и повсюду решает его в том смысле, что изучение природы якобы приводит к деизму. Он утверждает, будто

Стекло приводит нас чрез Оптику к сему,
Прогнав глубокую неведения тму.

В связи с этим Ломоносов отвечает противникам науки, преимущественно духовенству и прочим обскурантам, которых выводит под именем Клеантов.

Клеантов не боясь мы пишем все согласно,
Что истинне они противятся напрасно.
В безмерном углубя пространстве разум свой,
Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной.
Везде божественну премудрость почитаем,
В благоговении весь дух свой погружаем.

Характеризуя в дальнейшем этого «натур-философского» бога, Ломоносов прибавляет:

Нас больше таковы идеи веселят,
Как [= чем] божий некогда описывая град
Вечерний Августин душею веселился. [17]

И дальше Ломоносов упрекает последнего, что тот и «разумну тварь толь тесно... включал», то есть, иными словами, глядел

на мир глазами церковно-птолемеевской геоцентрической системы. Это место очень важно для понимания одного стихотворения Ломоносова, или, точнее, приписываемого и, повидимому, небезосновательно ему. Дело в том, что Ломоносову приходилось, по долгу службы, писать надписи в стихах к ракам с мощами святых. Насколько могли быть искренни и отражать подлинные взгляды химика и физика Ломоносова такие произведения, судить трудно, но, скорее всего, можно предположить некоторую осторожность Ломоносова в подобных произведениях. Тем больший интерес представляет стихотворение, являющееся надписью на раке Дмитрия Ростовского:

О вы, что божество в пределах чтите тесных,
Подобие его мня быть в частях телесных,
Вперите в мысль, чему святитель сей учил,
Что ныне вам гласит от лика горьних сил:
На милость вышнего, на истину склонитесь
И к матери своей вы церькви примиритесь. [18]

Комментируя первые два стиха, акад. М. И. Сухомлинов писал: «Относится к раскольникам, представлявшим себе божество в человеческом виде и верившим, что образ и подобие божие заключается преимущественно в бороде, вследствие чего св. Димитрий и называл их «бородианами». Их же [т. е. раскольников] — прибавляет Сухомлинов, — осмеивал Ломоносов в своем Гимне бороде». [19] Не отрицая того, что все это стихотворение обращено к раскольникам, которые призываются «примириться к матери своей церькви», нельзя, вместе с тем, полностью согласиться с комментатором в том, что под «чтящими божество в пределах тесных» разумеются только раскольники. Соответствующая параллель из «Письма о пользе стекла», где речь идет об Августине, показывает, что «тесные пределы» Ломоносов противопоставляет «безмерному пространству», то есть, церковное мировоззрение противополагал научному исследованию. Таким образом и в надписи Дмитрию Ростовскому Ломоносов, может быть, имел в виду не только раскольников, хотя в последних четырех стихах обращался, повидимому, непосредственно к ним.

Итак, Ломоносов — деист, ненасытный исследователь естества, считает необходимым в своем задушевном, наиболее полно излагающем его взгляды произведении, в «Письме о пользе стекла» выступить против «Клеантов», против духовенства, с кото-

рым у него были помимо философских, очевидно какие-то иные основания сводить счеты. Повидимому, трения эти начались еще в сороковых годах, может быть, в 1744—1745 гг. после выхода «Краткой риторики» или года через три по выходе «Риторики» 1748 г. На эту мысль наводит стихотворение Ломоносова, которое представляет односторонний фрагмент какой-то недошедшей до нас полемики.

Пахомей говорит, что для святого слова
Риторика ничто; лишь совесть будь готова.
Ты будешь казнодей, лишь только стань попом,
И стыд весь отложи. Однако врешь, Пахом.
На что риторику совсем пренебрегаешь?
Ее лишь ты одну, и то худенько знаешь.
Василий, Златоуст — церьковные столпы —
Учились долее, как нынешни попы;
Гомера, Пиндара, Демосфена читали.
И проповедь свою их штилем предлагали;
Натуру, общую всей протчей твари мать,
Небес, земли, морей, старались испытать,
Дабы творца чрез то по мере сил постигнуть
И важностью вещей сердца людски подвигнуть;
Не ставили за стыд из басен выбирать,
Чем к праведным делам возможно преклонять.
Ты словом божиим незнанье закрываешь,
И больше тех мужей у нас быть уповаешь;
Ты думаешь, Пахом, что ты уж Златоуст.
Но мы уверены о том, что мозг твой пуст.
Нам слово божие чувствительно, любезно,
И лишь во рте твоем бессильно, бесполезно.
Нравоучением преславной Телемак
Стократ полезнее твоих нескладных врак. [20]

Впрочем, может быть, это стихотворение относится к более позднему времени, к 1759 г., когда вышло второе издание Риторики, и является ответом на следующие места в проповеди Гедеона Криновского, говорящего о тех, «которые будто и со вниманием стоят во время проповеди, но ничего более притом, разве только слог проповеднический примечают: например, выборны ли его слова? красно ли сочинение? не отстает от материи? наблюдает ли риторические правила; и подобная? а не рассуждают того, что пришли они не в Демосфенову или Цицеронову школу, но в христову, где не учат словам, а делам». В другом месте той же проповеди Гедеон говорит: «Как семя на пути поверженное, легко ногами мимо ходящих бывает попи-

раемо, так и ленивый слышатель ничего столько, сколько слово божие, не презирает: Охотнее ему читать Аргениду или Телемака, нежели христово Евангелие, приятнее всегда он слушает, где о псовых ловлях, о конных заводах, и подобных вещах разговор имеют, нежели где християнскому житию наставляют». [21]

Но если у Ломоносова были столкновения с церковниками в связи с «Риторикой», в появлении которой его противники могли видеть вторжение в сферу, до того времени принадлежавшую исключительно им, то несомненно большее основание для всяких недоразумений представляла научная деятельность поэта. В своих речах он неоднократно касается вопроса об отношении науки к религии, причем совсем в духе деизма, утверждает, что «священное писание не должно везде разуметь грамматическим [т. е. буквально], но не редко и риторским разумом», [22] еще чаще затрагивается, хотя и в очень осторожной форме, вопрос об отношении духовенства к науке. Иногда Ломоносов говорит о «людях грамотных, чтецах писания и ревнителях к православию, кое святое дело само собою похвально, естьли бы иногда не препятствовало излишеством высоких наук приращению». [23] В другом случае Ломоносов ведет речь якобы о «еллинских жрецах и суеверах», об «идолопоклонническом суеверии», но очень тонко подводит под обсуждение как коперникову, так и птоломееву систему, решая, конечно, дело в пользу первой. [24] Так решая вопрос в своих публичных выступлениях, по необходимости или, может быть, сознательно избегая откровенной борьбы с клерикальными кругами, в своих черновых заметках, набросках и в частных письмах, наоборот, Ломоносов гораздо откровеннее. Например, в письме к И. И. Шувалову он сообщает «черную [черновую] идею» «Об обязанностях духовенства», в которой довольно резко характеризует попов. [25] В другом черновом отрывке Ломоносова сохранилось четверостишие, в котором осмеивается монашество:

Мышь некогда любя святыню
Оставила прелестный мир,
Ушла в глубокую пустыню,
Засевшись вся в голанской сыр. [26]

Несомненно, духовенство следило за деятельностью Ломоносова и не оставляло без внимания его позицию — в вопросах науки и религии. Что нападки на Ломоносова в выступлениях

церковных ораторов елизаветинской поры могли иметь место, показывает то обстоятельство, что у придворного проповедника, Гедеона Криновского, встречаются выпады против «натуралистов, фармазонов и ожесточенных безбожников». В другом месте Гедеон говорит о тех, которые «не хотели или не хотят еще ничего допустить, разве чтоб разумом своим постигнуть им было можно... Оттуда и натуралисты, афеисты и другие богомерзкие и душам благочестивых людей нестерпимые имена произошли в свете, и происходят».[27] Конечно, прямых и неоспоримых доказательств того, что под рационалистами и натуралистами должно разуметь Ломоносова, нет, но, весьма вероятно, все же цитированные места обращены именно против него.

В одном из проектов Ломоносова («Регламент университета», 1759) в отделе «Привилегии» он отмечал: «Духовенству к учениям, правду физическую для пользы и просвещения показующим, не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях».[28] Очевидно, введение Ломоносовым подобной «привилегии» диктовалось необходимостью, и высказанное выше предположение о том, что церковники выступали против него в своих проповедях, тем самым подтверждается.

Таково было отношение духовенства к Ломоносову и Ломоносова к духовенству. И, конечно, его деистическими взглядами и малой симпатией к русскому духовенству были продиктованы такие произведения, как «Гимн бороде» и дальнейшее, связанное с ним. Поэтому не совсем прав В. Н. Тукалевский, утверждая, что «из разногласий, которые выходили у Ломоносова с официальными представителями богопочитания» на почве отношений к науке, «и вышли те мысли, которые мы читаем в «Гимне бороде» и др. произведениях, где так ядовито осмеяна внешняя святость и внешняя набожность».[29] «Гимн бороде», конечно, не антирелигиозное произведение, но что оно антиклерикальное — сомнений быть не может. При этом антиклерикальность эта носит на себе печать буржуазности, она выступает в защиту «свободы исследования» против «завесы мнений ложных» и т. п., то есть борется за то, что стояло на знамени тогдашней «передовой» буржуазии. Это, как отмечено было выше, вполне свободно могло возникнуть у Ломоносова, цехового ученого и поэта с элементами буржуазного мышления, но находившегося на службе у «вельможной» верхушки дворянско-помещичьей России.

Вот этот несколько грубоватый «Гимн бороде»:

Не роскошной я Венере,
Не уродливой Химере
В гимнах жертву воздаю;
Я похвальну песнь пою
Волосам от всех почтенным,
По груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.

Борода предорогая!
Жаль, что ты некрещена,
И что тела часть срамная
В том тебе предпочтена.

Попечительна природа
О блаженстве смертных рода
Несравненной красотой —
Окружает бородой
Путь, которым в мир приходим.
Не явилась борода,
Не открыты ворота.
Борода и т. д.

О коль в свете ты блаженна,
Борода, глазам замена!
Люди обще говорят
И по правде то твердят.
Дураки, врали, пролазы
Были бы без ней безглазы;
Им в глаза плевал бы всяк,
Ею здрав и цел их зрак:
Борода и т. д.

Естьли правда, что планеты
Нашему подобны светы,
Конче все их мудрецы
И всех пуще там жрецы
Уверяют бородою,
Что нас нет здесь головою.
Скажет кто: мы в-правду тут,
В срубе там того сожгут.
Борода и т. д.

Борода в казну доходы
Умножает по вся годы;
Керженцам любезный брат
С радостью двойной оклад
В сбор за оную приносит,

И с поклоном низким просит
В вечной пропустить покой
Безголовых с бородой.
Борода и т. д.

Не напрасно он дерзает,
Верной свой прибыток знает:
Лишь разгладит он усы,
Смертной не боясь косы, —
Скачут в пламень суеверы;
Сколько с Оби и Печеры
После тех богатств домой
Достает он бородой!
Борода и т. д.

Естьли кто невзрачен телом,
Или в разуме незрелом,
Естьли в скудости рожден,
Либо чином непочтен, —
Будет взрачен и рассуден,
Знатен чином и нескуден
Для великой бороды:
Таковы ее плоды!
Борода и т. д.

О прикраса золотая,
О прикраса дорогая,
Мать дородства и умов,
Мать достатка и чинов,
Корень действий невозможных,
О завеса мнений ложных!
Чем могу тебя почтить,
Чем заслуги заплатить?
Борода и т. д.

Через многие расчесы
Заплету тебя я в косы,
И всю хитрость покажу —
По всем модам наряжу;
Через разные затеи
Завивать хочу тупеи.
Дайте ленты, кошельки
И крупичатой муки!
Борода и т. д.

Ах, куда с добром деваться?
Все уборы не вместятся.
Для их многого числа
Борода не доросла.
Я крестьянам подражаю,

И как пашню удобряю.
Борода! теперь прости,
В жирной влажности расти.
Борода и т. д. [30]

Появление «Гимна бороде» было, повидимому, связано с каким-то конкретным фактом, если не тем, о котором сообщает Б. Штерн, то аналогичным. Новое произведение Ломоносова стало очень популярным, оно известно во множестве разнообразных списков, разнящихся порядком и количеством строф. Повидимому, списки эти были современны моменту «опубликования» «Гимна». Но чем мог быть вызван такой успех этой сатиры?

Повидимому, во 1), злободневной пикантностью произведения, во 2), тем «волтерьянским» духом, которым щеголяло и высшее и среднее, впрочем, только в столичной части, дворянство в эпоху Елизаветы, в 3), наконец, некоторой шумихой, поднятой вокруг «Гимна».

В одном из списков и в другом авторитетном источнике «Гимн бороде» назван «стихами на архиепископа Сильвестра Кулябку», [31] который был с 1750 г. по 1761, т. е. по год смерти, архиепископом петербургским, и считался выдающимся церковным оратором. [32] Осторожный м. Евгений характеризует его проповеди, как отличающиеся «строгой нравственностью и рассудительностью». [33] Но очень возможно, что за этой «строгой нравственностью и рассудительностью» скрывалось именно то невежественное отношение к науке, против которого так восставал Ломоносов. Если принять в соображение время пребывания Сильвестра на архиепископской кафедре — 1750—1761 гг. т. е., эпоху, когда Ломоносов особенно часто выступал с публичными речами на научные темы, то может оказаться вполне возможным, что Сильвестр и был одним из церковных врагов Ломоносова. Может быть, если задаться трудом и пересмотреть проповеди Сильвестра, в них окажутся даже нападки или хотя бы намеки на Ломоносова. [34] Впрочем, для целей настоящей работы достаточно указать и то, что синод, в котором, как архиепископ петербургский, Сильвестр играл первую роль, вызвал к себе на заседание Ломоносова, чтобы поговорить о «Гимне». Впоследствии об этом свидании синод сообщал Елизавете в следующих словах:

«По случаю бывшего с профессором академии наук Михайлом Ломоносовым свидания и разговора о таковом во вся непотребном сочинении, от синодальных членов рассуждаемо было, что оной пашквиль, как из слогу признавательно, не от простого, а от какого нибудь школьного человека, а чють и не от него ль самого произошел, и что таковому сочинителю, ежели в чювство не придет и не раскается, надлежит как казни божией, так и церковной клятвы ожидать». [35]

Однако, угроза церковным проклятием не подействовала на Ломоносова.

«То услыша, означенной Ломоносов исперва начал оной пашквиль шпински защищать, а потом сверх всякого чаяния, сам себя тому пашквильному сочинению автором оказал, ибо в глаза пред синодальными членами таковые ругательства и укоризны на всех духовных за бороды их произносил, каковых от доброго и сущего христианина надеяться отнюдь не [воз]можно».

Повидимому, «свидание» членов Синода с Ломоносовым по вопросу о «Гимне бороде» кончилось, если не скандалом, то, во всяком случае, бо́льшим ожесточением обеих сторон. Здесь столкнулись две силы: с одной стороны, сильно европеизировавшееся, усвоившее значительные черты буржуазного мировоззрения разночинство; с другой, верхи феодально-дворянского духовенства, лишь в очень небольшой степени поддававшегося тому процессу превращения феодальной России в абсолютистско-феодальную, который приходится на первую половину XVIII в. Результатом свидания было то, что Ломоносов —

«не удовольствуяся тем, еще опосле того вскоре таковой же другой пашквиль в народ издал, в коем, между многими явными уже духовному чину ругателствы, безразумных козлят далеко почтеннейшими, нежели, попов, ставит. А при конце точно их назвавши козлами, упомянениую ему при рассуждении церковную клятву за единую тщету вменяет»

В самом деле, вслед за «Гимном бороде», стал распространяться новый «пашквиль», в котором церковники сразу признали произведение Ломоносова. Можно предположить, что данными для подобного заключения послужило членам синода то обстоятельство, что Ломоносов обычно в своих эпиграммах и вообще сатирических произведениях в стихах использовал свои же прозаические нападки; может быть, такое совпадение имело место и тут.

О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны,
Которы подо ртом висят у сатаны.
Ты видишь, он за то свирепствует и злится,
Дыравый красный нос — халдейска пещь дымится.

Огнем и жупелом наполнены усы.
О как бы хорошо коптить в них колбасы!
Козлята малые родятся с бородами —
Как много почтены они перед попами!
О польза! я одной из сих пустых бород
Недавно удобрял бесплодный огород.
Уже и прочие того ж себе желают
И принести плоды обильны обещают.
Чего не можно ждать от тех мохнатых лиц,
Где в тучной бороде премножество площиц
Сидят и меж собой как люди рассуждают,
Других с площицами бород не признавают,
И проклинают всех, кто молвит про козлов:
Возможно ль быть у них толь много волосов! [36]

Особенное возмущение вызывало у членов синода последнее двустишие. Все эти обстоятельства повлекли за собой то, что 6 марта 1757 г. синод поднес Елизавете «всеподданнейший доклад».

«В недавнем времени проявились в народе пашквильные стихи надписанные: Гимн бороде, в которых не довольно того, что пашквилянт под видом якобы на раскольников крайне скверные и совести и честности христианской противные ругательства генерально на всех персон, как прежде имевших, так и ныне имеющих бороды, написал; но и тайну святого крещения, к зазрительным частям тела человеческого наводя, богопротивно обругал, и через название бороду ложных мнений завесою всех святых отец учения и предания еритически похулил».

Изложив затем известные уже из предыдущего обстоятельства «свидания» и появления нового «пашквиля», доклад синода прибавляет:

«Из каковых нехристианских, да еще от профессора академического, пашквилев не иное что, как только противникам православныя веры и таковым предерзателем к бесстрашному кощунству [им] святых таин и к ругательству духовного чина явный повод происходит и впредь, ежели не пресечется, происходить может. А понеже, между протчими вседражайшего вашего имераторского величества родителя блаженныя и вечной славы достойныя памяти государя императора Петра Великого правами, жестокие казни хулителям закона и веры чинить повелевающими, Военного артикула, главы 18, 149-м пунктом [таковых] пасквилей сочинителей наказывать, а пасквильные письма через палача под висилицею жечь узаконено: того ради со оных пасквилев всеподданейше вашему императорскому величеству подносит синод копии, и всенижайше просит, чтоб ваше императорское величество, яко богом данная и истинная церкви и веры святой и духовному чину защитница, высочайшим своим указом таковые соблазнительные и ругательные пасквили истребить и публично

сжечь, и впредь то чинить запретить, и означенного Ломоносова, для надлежащего в том увещания и исправления, в синод отослать — всемилостивейше указать соизволили.

вашего императорского величества всенижайшии раби и богомольцы
Смиренный Силвестр, архиепископ санкт-петербургский.
Смиренный Димитрий, епископ рязанский.
Смиренный Амвросий, епископ переславский.
[Смиренный] Варлаам, архимандрит донской».

Порядок подписей в докладе чрезвычайно любопытен; дело в том, что Сильвестр Кулябка был назначен в 1750 г. членом синода «вторым по первоприсутствующем». Первоприсутствующими членами синода со времени Феофана Прокоповича, архиепископа Новогородского, были его преемники, но по смерти Стефана Калиновского (1753) новгородская кафедра не была замещена, и, очевидно, Сильвестр, будучи номинально вторым, был на деле первым членом синода. Вторым в списке идет Димитрий Сеченов, епископ рязанский. Акад. М. И. Сухомлинов, комментируя «Гимн бороде», приводит чрезвычайно ценное указание Пушкина: «Немногим известна стихотворная перепалка Ломоносова с Дмитрием Сеченовым по случаю Гимна бороде, не напечатанного ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости поэта, как и о нетерпимости проповедника».[37] Не анализируя данного указания Пушкина, Сухомлинов ограничивается только тем, что пишет: «За неимением положительных доказательств точности этих известий, возможно предположить, что источником для них послужил доклад, подписанный членами св. синода и в их числе Сильвестром Кулябкою, архиепископом с. петербургским, и Димитрием Сеченовым, епископом рязанским».[38]

В настоящее время можно с большей точностью указать источник сведений Пушкина. В только что вышедшем сборнике «Рукою Пушкина», составленном М. А. Цявловским, Л. Б. Модзалевским и Т. Г. Зенгер, напечатаны по рукописи Пушкина «Неизданные стихи Ломоносова и Дмитрия Сеченова». В дальнейшем придется более подробно коснуться пушкинской записи, сейчас же достаточно сказать, что список, которым пользовался Пушкин, не отличался особенной точностью, но, тем не менее, он представляет важное звено в изучаемом вопросе. Самое же любопытное в пушкинском материале это аттрибуция «Передетой бороды» Дмитрию Сеченову.[39] Это значительно осложняет реше-

ние вопроса. Между тем, Сухомлинов почти без всякой аргументации отводит указание Пушкина.

Поскольку вопрос об авторе появившихся позднее ответных стихов на «Гимн бороде» не может считаться до сих пор решенным, постольку необходимо более основательно заняться теми аргументами относительно Дмитрия Сеченова, какими пользуется для отвода его кандидатуры Сухомлинов. Во 1), нужно признать его предположение о докладе синода, как источнике сведений Пушкина, совершенно несостоятельным. В самом деле, «доклад, как писал сам Сухомлинов, — не был утвержден императрицею, а потому и не был возвращен в св. синод. Подлинник хранится в Государственном архиве».[40] Насколько затруднено было пользование Государственным архивом во времена Пушкина общеизвестно, и допустить вероятие, что с материалом этим он ознакомился, работая над «Историей Пугачева» или по эпохе Петра Великого, едва ли возможно. Во 2), если даже признать на минуту, как доказанное, предположение М. И. Сухомлинова о всеподданнейшем докладе как источнике пушкинской записи, тогда совершенно непонятно, почему поэт обратил внимание не на Сильвестра Кулябку, идущего в списке первым, а на Дмитрия, стоящего на втором месте. Наконец, у Пушкина идет речь именно о «стихотворной перепалке». Правильнее всего предположить, что сведения Пушкина идут из устной или письменной традиции литературных кругов XVIII — начала XIX вв. И, надо полагать, Дмитрий Сеченов упоминался при этом не случайно. Дело в том, что есть два немаловажных обстоятельства, которые приводят к заключению, что, повидимому, если не литературным противником Ломоносова в этой полемике, то объектом стихов Ломоносова — «Борода предорогая» — был не Сильвестр Кулябка, а Дмитрий Сеченов. Первое: портрет изображает Сеченова с исключительно длинной и холеной бородой.[41] Между тем у Сильвестра борода вовсе не отличается пышностью.[42] Ломоносов же говорит о «волосах, по груди распространенных» (строфа 1), о «великой бороде» (строфа 7), о «многих расчесах», о возможности заплести ее в косы (строфа 9). Конечно, можно допустить, что у Ломоносова речь шла о бороде «абстрактной», что, впрочем, едва ли возможно. Однако, если считать, что «Гимн» Ломоносова имел в виду, так сказать, «конкретную» бороду, то Дмитрий Сеченов должен быть предпочтен Сильвестру Кулябке.

Не меньший интерес представляет и следующее обстоятельство: 22 октября 1757 г. Дмитрий Сеченов был назначен архиепископом новгородским, после четырехлетнего незамещения этой вакансии.[43] Конечно, этот факт мог быть нисколько не связан с тем обстоятельством, что Елизавета не утвердила доклада синода о Ломоносове. Но не лишено вероятности и следующее предположение: стихи Ломоносова о бороде были направлены против Дмитрия Сеченова, последний почувствовал себя, естественно, оскорбленным, синод (т. е., главным образом, Сильвестр Кулябка и Дмитрий Сеченов) обратился за помощью к императрице, которая, однако, не санкционировала предложений церковников, вероятно, благодаря предстательству за Ломоносова Шуваловых и Воронцовых. Отказ императрицы вызвал повидимому, раздражение в синодальных кругах, и для успокоения их, и главным образом, Дмитрия Сеченова последовало назначение его архиепископом новгородским.

Повидимому, отрицательный ответ Елизаветы на «всеподданнейший» доклад стал известен синоду в начале июля 1757 г., и тогда церковники решили повести иными методами борьбу с Ломоносовым. Был разработан очень тонкий план, в результате которого одновременно разным лицам были сообщены документы — письма и стихотворения, касающиеся Ломоносова и его «Гимна бороде». Списки с этих документов, о которых подробнее сказано будет ниже, имеются в различных рукописных сборниках XVIII в. и в особенно полном виде в бумагах м. Евгения Болховитинова, по которым они были опубликованы в 1911 г. В. Н. Перетцом.[44]

Первое из этих писем было обращено непосредственно к виновнику всей полемики, Ломоносову. Вот оно:

Государь мой!

Не довольно ли того к чести и награждению ума человеческого, что произведений оного не может остановить никакая далность стран и никакое время может их подвергнуть неизвестности, хотя бы кто нарочно скрывать оные старался? Как ни за далную сторону в России почитается отечество ваше, однако и тут сочинение, происшедшее от некоего стихотворца и названное Имн бороде обще от всех читается. Но та беда, что такие плоды парящих умов тогда только от всех с похвалою приняты бывают, когда клонятся к утверждению общего блага и к прочим полезным и приятным намерениям, которые в рассуждении общества могут быть бесчисленны. Противным же образом, ежели для того только в свет выпущаемы бывают, чтоб заводить раздоры и поспешествовать несогла-

сиям, а особливо чтоб изъявить хульные свои мысли и богопротивное непочтение в святости закона; то не только не помогут получить общей апробации, но еще более заслуживают отвращение и хулу, авторам же своим привлекают ненависть, а часто бедственны и строгих казней причиною бывают. Ежели терпеливо послушаете, государь мой, то я вам расскажу какой успех получил и вышеупомянутой Имн в здешней стороне. Не могу вам доказать, каким образом и от кого из С. Петербурга сюда он прислан; но то правда, что все оной почли за чудную некоторую редкость и с великою поспешностью начали списывать, друг пред другом читали и друг друга спрашивали об нем мнения. Мне не случилось слышать, чтоб кто хотя мало в пользу сочинителя сказал; а все обще говорили, что такое беспутное сочинение от доброго человека, кольми паче от христианина произойти не может. Вы знаете, как земляки ваши к закону почитательны. Между прочими попался тот Имн в руки одному из моих знакомцев, человеку такому, который крайне ненавидит всякое нестроение во обществе, и следовательно вводящим оное не великий приятель; чтож до закону касается, то, почитая оной без суеверия, отвращается он от всех тех, которые тот презирают и стараются находить в нем что-нибудь смешное к великому других соблазну и развращению. Это было в компании, что он помянутой Имн получил, и по прочтении оного, узнавши автора, как будто по ступени Геркулеса, с видом некоторой ревности начал говорить: «Лучшего де ничего нельзя ожидать от безбожного сумазброда и пьяницы. Недовольно того, что сей негодной ярыга, ходя по разным домам и компаниям, в разговоры употребляет всякие насмешки и ругательства благочестивому закону нашему, что презирает уставы оного, и все то ни во что вменяет, что добрые люди, родившиеся в христианстве, за святое и спасительное почитают; недовольно и того, что он без разбору на весь духовный чин везде как пес лает; он уже и письменные противу таинств веры нашея и святыни закона глумления и ругательства употребить отважился. Не думайте, господа: продолжал он речь, чтоб одной Имн[ом] бороде поругание сделать он намерился; нет, его безбожное намерение было, чтоб нам смешным представить и весь закон наш; возьмите только в рассуждение одно то, к каким непотребным изображениям применяет он тайну святого крещения, посредством которыя мы ожидаем будущего блаженства! Или что он разумеет чрез «завесу ложных мнений?» Не учение ли, предлагаемое нам в священном писании и догматах церкви нашея, преданное нам чрез великих учителей и проповеданное от них преемников, которые нам других мнений сообщать не могут и не должны кроме тех, которым они оттуда научились. Возможно ли таковые мнения назвать ложными человеку, неотрекшемуся совести, честности и веры? Что ж просто и собственно до бороды касается, то не думайте, господа, чтоб я толь ревностный оныя защитник был; я и сам держусь старой латинской пословицы, что борода не делает философа. Однако между бородою и бородою надлежит иметь различие. Раскольщики наши, которых бород для прикрытия только злого своего намерения, несколько коснулся пьяный сочинитель Имна, носят оную по упрямству, по предуверению и некоторому ложному надеянию в получении спасения; а напротив того духов-

ной наш чин носит оную по древнему церковному узаконению и обыкновению, последуя в том и некоторым, хотя внешним, видом подобясь первоначальнику веры нашея и святым его последователям, которых вид носить и самые высочайшие власти за честь себе вменяли, не имея притом об ней никакого мнения, которое другим могло б служить к предосуждению. Из чего следует, что борода в одних только раскольниках презрения и смеха достойна, а напротив того в духовном чине никаким образом того не заслужила, тем меньше в разумных и незазорного жития духовных людях; но сего, как видите, сумазбродный стихотворец не разбирая ругает генерально бороду, и следовательно всех тех, которые оную имеют и имели. Впрочем же нельзя лутче заплатить сему продерзкому безбожнику, как сей же самой Имн переворотить и вместо бороды описать пьяную его голову со всеми ее природными свойствами, кои бы нам его живо представляли. Жаль только, что всех его добродетелей в так коротком сочинении описать не можно. Однако по чести вас, господа, уверяю, что он точно таков, каков будет описан, придав только то, что несравненно хуже и несноснее в самом деле, нежели в описании. Поверьте, что он столько подл духом, столько высокомерен мыслями, столько хвастлив на речах, что нет такой низкости, которой бы не предприял ради своего малейшего интереса, например для чарки вина; однако я ошибся, это — его наибольший интерес! Нет в свете и не бывало такого человека, которого б он хотя в малую цену против себя поставил. Не велик пред ним Картезий, Невтон и Лейбниц со всеми новыми и толь в свете прославленными их изысканиями; он всегда за лучшие и важнейшие свои почитает являемые в мир откровения, которыми не только никакой пользы отечеству не приносит, но еще напротив того вред и убыток употребляя на оные немалые казенные расходы, а напоследок вместо чаемой хвалы и удивления от ученых людей заслуживая хулу и поругание, чему свидетелем быть могут «Лейпцигские комментарии». Во всех науках и во многих языках почитает он себя совершенным, хотя о некоторых весьма стредственное, а о других никакого понятия не имеет; со всем тем ежели незнающий ученых шарлатанов его послушает, легко поверить может, что он в свете первой полигистор. Правда, что стихотворством своим, и то на одном русском языке мог бы он получить некоторую похвалу, ежел б не помрачил оной пьянством и негодным поведением. Таковые суть свойства славного сего бороды описателя, которые завтра я вам, господа, на стихах представить потщусь: оные хотя не красны будут слогом, и не таковы, каковых бы заслужил автор, ибо Гораций, и Персий, и Ювенал добродетелей его по достоинству описать не могут: однак, в изображениях своих справедливы». На завтрашний день он и подлинно то сделал, и пришедши в компанию, прочитал свой «Имн» в слух перед всеми. Смеялись больше, нежели как надобно, и все обще рассуждали, что не худо б оной сообщить сочинителю Имна бороде; но автор им отвечал, что он к нему самому послать не хочет, а других знакомцев в Петербурге не имеет, кои б ему сообщили. Все напали на меня, чтоб я взял на себя сию комиссию, будучи известны, что я несколько знаком вам, государю моему, как главе российской стихотворцев, и притом и прочим ученым людям. Не мог я им в том отказать, не показавши по

себе, что и я приятствую толь непотребному сочинению, каков есть Имн бороде. Итак сообщаю вам при сем «Передетую бороду, или имн пьяной голове» — с такою просьбою, чтоб, ежели вам знаком автор часто помянутого Имна, оный ему сообщили; не придет ли он хотя таким образом в раскаяние и не отстанет ли от таких вредных обществу сочинений и худых своих поступок? Однако, прежде сообщения ему, просит автор, чтобы сей «Имн» высмотрели и по известной вашей к стихотворству способности что-нибудь в похвалу пьяной голове прибавили, которыя и неописанные здесь добродетели вам может быть известны. Ежели же он имени своего в свет не объявил и вам неизвестен, то, имея власть и силу в канцелярии академии наук, велите напечатать сей «Имн» в «Ежемесячных сочинениях», тут он сам себя как в зеркале увидит. Я же пребываю и пребуду с подобающим почтением

Ваш и протч. [Христофор Зубницкий.] [45]

Из Колмогор
июля дня
1757

В этом письме, по внешности исключительно почтительном к адресату, т. е. Ломоносову, и наполненном грубой брани против якобы неизвестного автора «Гимна бороде,» т. е. против того же Ломоносова, сейчас необходимо отметить одно: к письму были приложены стихи, названные «Передетая борода или имн пьяной голове». Текст «Передетой бороды» также известен по ряду списков. Здесь он воспроизводится по «Казанскому сборнику» с учетом разночтений, представляемых другими списками.

Передетая борода, или имн пьяной голове.

Бороды я не ругаю
И ей имнов не слагаю;
Почитая праотцов,
Я пою из тех творцов
Одного главу избранну,
Славно гедерой венчанну,
С молодых котора лет
Сыном Бахуса слывет.
Голова предорогая!
Жаль, что ты и крещена,
И что тела часть срамная
Пред тобой не почтена!

Попечительна природа
О блаженстве смертных рода
В свет тебя произвела —
Вить не тем путем вела,
Что украшен бородою:

Бочки ты тоя дирою
В человеческий лез род,
Оной где сидит урод.
Голова и т. д.

Голова в казне доходы
Уменьшает по вся годы;
Пьяницам любезный брат,
Взявши годовой оклад,
Бесполезно пропивает
И беспутства причиняет.
Не дадут когда вина —
Сходит он тогда с ума!
Голова и т. д.

Не напрасно он дерзает;
Пользу в том свою считает,
Чтоб обманом век прожить,
Общество чтоб обольстить
Либо мозаиком ложным,
Или бисером подложным,
Иль сребро сыскав в дерме,
Хоть к ущербу всей казне.
Голова и т. д.

О, коль в свете ты блаженна,
Голова, браде замена.
Люди, правда, хоть велят
В бороду глупцам плевать;
Но твоя хмельная рожа
Более к тому есть гожа,
И на твой раздутой зрак
Правей харкать может всяк.
Голова и т. д.

Естьли правда что планеты
Нашему подобны светы,
Конче пьяниц там таких,
Нет и сумазбродов злых,
Веру чтоб свою ругали,
Тайны оных осмевали;
Естьлиж проявятся тут,
Дельно в срубе их сожгут!
Голова и т. д.

С хмелю безобразен телом
И всегда в уме незрелом,
Ты, преподло быв рожден,
Хоть чинами и почтен;
Но за пребезмерно пьянство,

Бешенство, обман и чванство
Всех когда лишат чинов,
Будешь пьяный рыболов.
Голова и т. д.

Голова, о прехмельная,
Голова, ты препустая,
Дурости, бесчинства мать,
Нечестивых мнений клад,
Корень изысканий ложных,
О забрало дел безбожных.
Чем могу тебя почтить,
Чем заслуги заплатить?
Голова и т. д.

Я тебе триумфы новы,
Чести я тебе отцовы,
Сколько можно, покажу:
В те ж уборы наряжу,
Украшу тебя рогами,
И индейскими слонами
Прямо везть велю в кабак,
С хором пьяниц и бурлак.
Голова и т. д.

Уж и чарки, уж и канны,
Склянки, кружки и стаканы
Там готовы для тебя;
Уж и стойка там чиста;
Колмогорские ярыги
Собрались встречать тя с лики;
Дайте дудку и сопель,
И волынку и свирель!
Голова и т. д.

Ах куда с добром деваться?
Все приборы не годятся
Для Денисова сынка:
Он, бежав до кабака,
На пути в кал повалился,
И там торжества лишился.
Голова, теперь прощай!
В век с свиньями почивай.
Голова... и т. д. [46]

Как видно из приведенного текста, лицо, скрывшееся под псевдонимом Христофор Зубницкий, не считало нужным соблюдать какие-либо приличия: в «Передотой бороде» Ломоносов обвиняется в пьянстве, в обмане государства «мозаиком лож-

ным» или «бисером подложным» и т. д., подвергается оскорблению в том, что «преподло был рожден, хоть чинами и почтен», и что в будущем, лишенный чинов, он вновь станет «пьяным рыболовом».

В противовес Ломоносовским стихам

Корень действий невозможных,
О завеса мнений ложных! —

Христофор Зубницкий пишет:

Корень изысканий ложных,
О забрало дел безбожных!

Вообще нужно признать, что «Передетая борода», построенная по обычному образцу сатирических пародий XVIII в., использующих в качестве канвы пародируемое произведение, написана остро, местами язвительно и в общем чистым языком, а со стороны версификации вполне грамотно. В. Н. Перетц уже отмечал стилистические черты этого стихотворения. Желая отвести старинные гипотезы о принадлежности «Передетой бороды или имна пьяной голове» Тредиаковскому, В. Н. Перетц писал: «Слог этого стихотворения, живой и легкий, даже слишком развязный для Тредиаковского, особенно в последних строфах (8—11), также мало похож на Тредиаковского, как и стиль «Гимна бороде»... Не составлен ли «Имн голове» каким-нибудь бойким секретарем Сильвестра?», спрашивает в заключение В. Н. Перетц, считая, что Христофор Зубницкий и Сильвестр Кулябка одно лицо. [47] В дальнейшем придется более подробно коснуться вопроса об авторе «Передетой бороды», сейчас же следует отметить, что лишь апелляция В. Н. Перетца к «бойкому секретарю» Сильвестра недостаточно аргументирована и поэтому нисколько не убедительна.

Христофор Зубницкий не ограничился отправкой письма с приложением «Передетой бороды» Ломоносову. В бумагах м. Евгения имеется еще два письма: «к профессорам Миллеру и Поповскому» и «к профессору Тредиаковскому».

Адрес первого письма кажется особенно странным: по содержанию оно, как видно из приводимого ниже текста, обращено к лицам, редактировавшим «Ежемесячные сочинения», между тем, известно, во-1), что редактором этого журнала за все время его существования был Г. Ф. Миллер; во-2), что

с 1755 г. Н. Н. Поповский был профессором философии в Московском университете и, следовательно, не мог принимать участия в редактировании «Ежемесячных сочинений». Повидимому, в рукописи, которой пользовался В. Н. Перетц, имела место описка—вместо Поповский, надо читать Попов; в самом деле, академик Никита Попов имел касательство к изданию «Ежемесячных сочинений»; по крайней мере в 1757 г. он имел отношение к редактированию журнала, а в 1759 г. все поступавшие в редакцию рукописи на русском языке направлялись к нему.[48] Итак, в печатаемом ниже втором письме Христофора Зубницкого адресат приводится в исправленном чтении:

Письмо к профессорам Миллеру и Попову

Государь мой!

Благосклонность, с которой вы принимаете сообщаемые к «Ежемесячным сочинениям» разные пиесы не могла неизвестна быть и в отдаленных странах России. Автор рассеянного повсюда «Имна бороде», как во многих местах, так и здесь сыскал себе подражателя, который есть один из моих знакомцев; чтоб заплатить сему продерзкому стихотворцу за толь не потребное его, а обществу и закону вредительное сочинение, не избрал он лучшего способа, как чтоб меч его оборотить на егож самого голову и зделать другой имн, под именем «передетой бороды», описав в оном все хорошие того качества; но чтоб по отдаленности сей стороны не остался труд его в неизвестности, советовали ему приятели послать оной в Санктпетербург к некоторым славным стихотворцам, которые, может быть, сочинителя первого имна знают и сей ему по приятству показать могут, а особливо сообщить Вам и вашему товарищу для издания оного на свет в «Ежемесячных сочинениях». Он не имея сам знаемости в Санктпетербурге положил сию комиссию на меня, почему я вас, государя моего так как и сотрудника вашего, прошу определить место в ваших книшках такому сочинению, которое кроме явных пороков никого не ругает: ибо ежели по пронесшемуся здесь слуху автору «Имна бороде» можно было требовать, чтоб оной в «Ежемесячных сочинениях» напечатан был, то тем с большею смелостью может того требовать сочинитель «Имна пяной голове», который с нею только одною и разведывается, не употребляя никаких насмешек и ругательств закону и тайнам веры, но паче оные защищая. Ежели ж вам самим сумнительно будет оной напечатать, то прошу учинить то хотя с докладу академической канцелярии. Присутствующий во оной приятель мой, многомощный господин советник Ломоносов, уповаю, вам будет в сем хорошем деле способствовать, ибо и к нему такой же список имна сообщен при особливом письме, с которого вам для вероятности при сем сообщаю копию. Может быть, вы и оное печатать удостоите. В прочем

будучи надежен, что вы автору сего имна честь, а моей просьбе снисхождение зделаете пребываю с должным почтением. [49]

Из Колмогор Июля дня 1757.

Наконец, Христофор Зубницкий обратился с письмом и к Тредиаковскому. Вот текст его:

Государь мой!

Как я никогда не надеюсь, чтоб вы какое-нибудь участие принять хотели во всем том, что только касается к предосуждению благочестивого нашего закона; так и не сумневаюсь, чтоб приложенный при сем Имн вам приятен не был. Уповаю, довольно известно вам, каким удаленным от всякия чести и совести образом автор непотребного Имна бороде явил безбожное свое намерение и желание, чтоб обругать христианское учение и таинства веры нашея к немалому одних соблазну и развращению, а других сожалению и ревности. Хотя, правда, к отвращению таковых проде зостей наилучшее б средство быть могло, чтоб в пример другим удостоить сего ругателя публичным наказанием; однако пока то сделается, нехудо безбожные его мнения и разглашения отражать другими способами. В сем-то намерении один из моих знакомцев переделал помянутой его Имн на свой строй, и просил меня как к прочим в стихотворстве искусным людям, так и к вам, государю моему, в С. Петербург послать—в таком уповании, что ежели в «Ежемесячных сочинениях» оного не напечатают (о чем я к господам издателям оных с просьбою писал), то вы довольный сыщите случай сообщить тот вашим приятелям и прочим, лучшее в вере своей, нежели списатель «Бороды», почтение имеющим. Я о сей же материи писал и к господину советнику Ломоносову и для куриозности сообщаю вам копию моего письма; думаю, что и он с своей стороны приложит старание о напечатании или разглашении оного Впрочем есмь с должным почтением вам покорный слуга Христофор Зубницкий. [50]

Из Холмогор, Июля 15 дня 1757 года.

Из приведенных материалов видно, что план Зубницкого состоял в том, чтобы по мере возможности шире распространить письмо к Ломоносову и «Передетую бороду», которые в копиях сообщались Миллеру и Тредиаковскому. Очень возможно, что письма, аналогичные тем, с которыми Х. Зубницкий обратился к Миллеру и Тредиаковскому, были, с приложением «Передетой бороды», отправлены и другим лицам; почти несомненно, надо полагать, было оно направлено Шуваловым и Воронцовым, меценатам Ломоносова. В портфелях Миллера, хранящихся в Московском ГАФКЭ (портфель № 150—1), имеется экземпляр «Передетой бороды», очевидно, полученный

при письме, текст которого напечатан выше. Где находится самое письмо, установить не удалось.

Здесь уместно отметить, что Тредиаковский «добросовестно» исполнил возложенное на него Зубницким поручение: как письмо Зубницкого к нему, так и приложенное в копии письмо к Ломоносову, вместе с «Передетой бородой», были распространены именно Тредиаковским. Они имеются в списках в «Казанском сборнике» и в одном рукописном сборнике XVIII в. в Госуд. Публичной библиотеке (Ленинград). [51] Отсутствие письма к Миллеру и Попову заставляет предположить, что разглашение исходило не от Зубницкого—Кулябки, а от Тредиаковского; на это же указывает и одинаковая последовательность писем в обоих сборниках—сперва письмо Зубницкого к Тредиаковскому, а затем как приложения письмо к Ломоносову и «Передетая борода» (в «Казанском сборнике» №№ 16, 17 и 18).

Опубликовавший все три письма по бумагам м. Евгения, В. Н. Перетц справедливо отметил, что «все они написаны в одной манере и принадлежат одному лицу». [52] Обращаясь к афанасьевской гипотезе о том, что Х. Зубницкий—Тредиаковский, В. Н. Перетц указывал, что «уже сразу, при чтении первого и второго письма, бросается в глаза полное несоответствие запутанного, мелочно придирчивого стиля Тредиаковского со спокойным, холодно отточенным, полным иронии и сарказма стилем приведенных писем. Надписание последнего, третьего—указывает на то, что Тредиаковский, как известный литературный противник Ломоносова,—также получил пародию на «Имн бороде» и приглашался к разглашению ее. Странным было бы предположение, что он сам себе адресовал это письмо, повторяющее мотивы предыдущих». [53] Если нельзя не согласиться с автором приведенных строк в отношении стилистической характеристики Тредиаковского и Зубницкого, то последнее соображение можно принять только в том случае, если считать не подлежащей сомнению авторитетность списка. Хотя полной уверенности в такой авторитетности нет, можно все же принять и этот аргумент, так как последующие доказательства В. Н. Перетца еще более подтверждают его тезис о том, что Х. Зубницкий не был Тредиаковским.

Доказательства эти состоят в интересном сопоставлении фразеологических совпадений между «всеподданнейшим докладом» синода и письмами Зубницкого.

Доклад синода:	Письма:
1) «... ругательства генерально на всех персон...»	«...не разбирая ругает генерално бороду» (1-е).
«...ругательства и укоризны на всех духовных...»	«...па весь духовной чип везде как пес лает» (1-е).
«...духовному чину ругательствы...»	
«...к ругательству духовного чина явный повод...»	«..великие насмешки и ругательства» (1-е).
2) «...совести и честности христиан противные».	«удаленным от всякие чести и совести образом» (3-е). «...не отрекшемуся совести честности и веры» (1-е).
3) «...тайну святого крещения ... богопротивно обругал».	«...чтобы обругать и таинства веры нашея...» (3-е). «... применяет он тайну св. крещения...»(1-е).
«...кощунству святых таин..»	«...хуление свои мысли и богопротивное непочтение к святости закона...»(1-е).
«...всех святых отец учения и предания еретически похулил».	«...писменные противу таинств веры нашея и святости закона глумления» (1-е).
4) «о таковом вовся непотребном сочинении...»	«...толь непотребному сочинению» (1-е). «...за толь непотребное, а обществу и закону вредительное сочинение» (2-е).
5) «...Пашквилянт под видом якобы на раскольников...»	«...Раскольщики (вар. раскольники) наши, которых бород для прикрытия только злого своего намерения несколько коснулся пяной сочинитель...» (1-е).
6) «...жестокие казни хулителям закона и веры...; пасквилей сочинителей наказывать, а пасквильные письма чрез палача под виселицею жечь узаконено...»	«...автором же своим привлекают ненависть, а часто бедственны и строгих казней причиною бывают» (1-е). [54]

Приведенные В. Н. Перетцом совпадения достаточно убедительно говорят о том, что Х. Зубницкому был хорошо знаком текст «доклада» синода и что, очевидно, он и был одним из авторов этого доклада. Это обстоятельство, в связи с указаниями как на рукописном экземпляре «Гимна бороде», принадлежавшем А. М. Княжевичу, так и в бумагах м. Евгения о том, что сатир- Ломоносова написана на Сильвестра Кулябку, [55] и привел

В. Н. Перетца к выводу, что Христофор Зубницкий и есть Сильвестр Кулябка. Косвенное подтверждение своей гипотезы В. Н. Перетц видит в псевдо-имени автора писем—Христофор: «не есть ли это намек на образ Христа, носимый на груди архиепископами (епископы носят панагию—образ богоматери)?» вопросительно заканчивает свою статью В. Н. Перетц.

До сих пор были приведены соображения о Х. Зубницком В. Н. Перетца, который, насколько можно было установить, единственный из литературоведов, занимался этим вопросом. Сейчас можно дополнить эти соображения новыми.

Во-первых, следует отметить еще одно и очень существенное место в письме Зубницкого (к Тредиаковскому) тесно связанное и текстуально и логически со «всеподданейшим докладом».

Доклад синода	Письмо Зубницкого.
Синод... всенижайше просит... высочайшим., указом таковые соблазнительные и ругательные пасквили истребить и публично сжечь, и впредь то чинить запретить, и означенного Ломоносова, для надлежащего в том увещания и исправления, в синод отправить.	Хотя, правда, и отвращению таковых продерзостей наилучшееб средство быть могло; чтоб в пример другим удостоить сего ругателя публичным наказанием; однако, пока то зделается, не худо безбожные его мнения и разглашения отражать другими способами.

Можно сказать, что приведенная сейчас цитата из доклада синода эго основной тезис, важнейший вывод, к которому подводилось все хитросплетение церковников; повторение этого тезиса в письме Зубницкого показывает, что автор знал о принятых синодом шагах и не терял надежды, что «то зделается», но пока решил «отражать другими способами» «безбожные мнения» Ломоносова.

Во-вторых, В. Н. Перетц, с решительностью и достаточной убедительностью доказывая свою гипотезу о Зубницком—Сильвестре Кулябке, неожиданно выдвинул новую гипотезу об авторе «Передетой бороды», видя его в «бойком секретаре Сильвестра». Непонятно, почему понадобился В. Н. Перетцу этот секретарь. Почему нельзя предположить, что и стихи были написаны Христофором Зубницким? Стихи эти не менее язвительны, ироничны и спокойны, чем самые письма, и следовательно, со стороны и идеологической и стилистической, могут быть признаны произведениями одного и того же автора. Гипотеза

В. Н. Перетца о бойком секретаре таит в себе две предпосылки: во 1), что Сильвестр Кулябка не мог написать этих стихов; во 2), что «бойкий секретарь» мог их написать. Какие данные имелись у В. Н. Перетца, чтобы утверждать, что Сильвестр не умел, а «бойкий секретарь» умел писать стихи, в его работе не указано. Между тем, a priori можно было бы допустить, если бы у нас не было прямых доказательств, о которых ниже что Сильвестр Кулябка, учившийся в высшем духовном учебном заведении, где риторика и пиитика были обязательными предметами обучения, должен был, хотя бы теоретически, знать стихосложение. Однако, есть данные более убедительные: он сам с 1727 г по 1740 г. был преподавателем пиитики в Киево-Могило-Заборовской Академии, а с 1740 по 1745 г. ее же ректором. [56]

Итак, повидимому, именно Сильвестр Кулябка и написал под псевдонимом Христофора Зубницкого (т. е., Зубастого? с зубами?) как письма, так и «Передетую бороду».

Впрочем, необходимо указать, что в пушкинском списке полемических материалов о «Гимне бороде» стихотворение «Бороды я не ругаю» имеет заглавие: «Передетая борода или гимн пьяной голове. Пасквиль митрополита Димитрия Сеченова на Ломоносова по поводу предыдущих стихов». [57]

После всего изложенного, после всех за и против в отношении Сильвестра, Дмитрия Сеченова и Тредиаковского, может возникнуть вопрос: сами стихи Ломоносова были обращены против Дмитрия Сеченова, чем же объяснить, что ответ на них последовал со стороны Сильвестра Кулябки. С полной уверенностью, за отсутствием прямых доказательств ответить на этот вопрос нельзя. Может быть, и в самом деле автором «Передетой бороды» был Дмитрий. Впрочем, роли это не играет: важно только одно — за Христофором Зубницким скрывался не Тредиаковский, а кто-то из церковников, скорее всего Сильвестр Кулябка.

Выше указывалось, что до появления статьи В. Н. Перетца «К биографии Ломоносова (Кто был «Христофор Зубницкий»)», в истории литературы было распространено твердое убеждение в том, что Зубницкий — это Тредиаковский. Повод к этому подало стихотворение Ломоносова «Зубницкому»:

Безбожник и ханжа, подметных писем враль!
Твой мерский склад давно и смех нам и печаль:

Печаль, что ты язык российский развращаешь,
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.
Но плюем мы на страм твоих поганых врак:
Уже за тридцать лет ты записной дурак,
Давно изгага всем читать твои синички,
Дорогу некошну, вонючие лисички;
Никто не поминай нам подлости ходуль
И к пьянству твоему потребных красоуль.
Хоть ложной святостью ты бородой скрывался,
Пробин на злость твою взирая улыбался:
Учения его_и чести и труда
Не можешь повредить ни ты, ни борода. [58]

По всему их содержанию явствует, что обращены они к Тредиаковскому; в них высмеиваются известные рифмы последнего — «лисички — синички» («Песенка которую я сочинил еще будучи в Московских школах на мой выезд в чужие краи») «Красоули — ходули» («Эпиграмма на человека, которой вышед в честь так начал бы гордиться, что прежних своих равных другов пренебрегал бы»), его причудливое словоупотребление вроде «дорога некошна» («Стихи эпиталамические на брак его сиятельства князя Александра Борисовича Куракина и княгини Александры Ивановны»).
Особенно важно, однако, последнее четверостишие:

Хоть ложной святостью ты бородой скрывался,
Пробин на злость твою взирая улыбался:
Учения его и чести и труда
Не можешь повредить ни ты, ни борода.

Повидимому, в последней строчке, как будто отделяющей Тредиаковского от «бороды», т. е. духовенства, Ломоносов все же хотел подчеркнуть связь между докладом синода («борода») и письмами Зубницкого («ты»), которые он приписывал Тредиаковскому. На то, что Ломоносов в Зубницком видел не подлинный стиль Тредиаковского, а имитацию стиля церковников, указывает стих:

Хоть ложной святостью ты бородой скрывался...

При всем том, Ломоносов, повидимому, все же был не прав, идентифицируя Тредиаковского и Зубницкого.

Ломоносову приписывается еще одно стихотворение против Тредиаковского, связанное с полемикой вокруг «Гимна бороде»;

это так называемая «Ода Тресотину», озаглавленная в «Казанском сборнике» — «Сатира Ломоносова на Тредиаковского»:

Что за дым
По глухим
Деревням курится?
Там раскол,
Дно крамол,
В грубости крутится.
Середи того гнезда
Поднятая борода.
Глупых капитанов флаг,
Дала к сборищам их знак.

* * *

Все спешат,
Все кричат:
Борода святая!
Мы тобой,
С дорогой,
В рай идем пылая.
То нам вера и закон,
То обедня и трезвон
О апостольская сеть!
Ради мы с тобой сгореть

* * *

Кто зажог?
Лжепророк.
Из какого лесу?
Он один
Тресотин
Сердцем сроден бесу,
Он безбожный лицемер
Побродяга, изувер, —
Он продерзостью своей
Ободрил бородачей.

* * *

Оным в лесть
Добрых честь
Поноса терзает,
И святош
Глупу ложь
Правдой объявляет;
Только ж угождая им,
Мерзок бредом стал своим,
И хотя чтить праотцов,
Он почтил отца бесов.

* * *

Оглянись,
Веселись,
Адская утроба!
Твой комплот —
Скверной род
Восстает из гроба;
Образ твой [есть] Герострат,
Храм зажечь Парнасский рад;
Ад готов тебе помочь,
День наук затмить как ночь.

* * *

Братец твой
Керженской
Адским углем пышет;
Как пес зол,
За раскол
На святыню дышет;
На российского [?] Христа
Отпер срамные уста.
К защищению бород
Злой к тебе валится сброд.

* * *

Ах, как рад
Пустосвят —
Для того, распопа,
Что в тебе,
Как в себе,
Видит злу холопа;
Аввакум протопоп
Поднял лысину и лоб,
Улыбаясь на тебя,
Смотрит, злость твою любя.

* * *

Что за гам!
Валаам,
Иуда, Каиафа!
Чу, кричат:
«Эй, наш брат,
Ты не бойся штрафа!»
И от тартарского дна
Сам поднялся сатана;
Он поджог тебя на зло,
За свое мстит помело!

* * *

«Ну-ж, хватай
Поскоряй,
Не теряй минуты.
Тешься так,
Как и сяк [вар., Как Исаак]
В пляску, в валку, в жгуты,
Как Педрил тебя катал
И Балакирев гонял!
Все ревут тебе: кураж,
Тресотин, угодник наш!

* * *

Лжесвятой,
Керженской,
Как тебя прославить?
Как почтить
Чем кадить,
Что тебе поставить
Вместо ладану и свеч?
В бородах тебя — сожечь,
Чтобы их поганой смрад
Был горчае, как сам ад.[59]

Акад. М. И. Сухомлинов не счел возможным, к тому же без какой бы то ни было аргументации, поместить это произведение в издававшихся под его редакцией сочинениях Ломоносова и привел «Оду Тресотину» в примечаниях. Едва ли можно согласиться с подобной — неаргументированной — осторожностью: в «Оде Тресотину» нет ничего такого со стороны идеологической, что могло бы быть противопоказателем в отношении авторства Ломоносова; в стилистическом плане, в отношении языкового употребления, оно вполне отвечает тому, что известно о Ломоносове. Достаточно указать на типично ломоносовское выражение.

И хотя [= желая] чтить праотцов
Он почтил отца бесов.

Ср. в «Письме о пользе стекла»:

С натурой некогда он произвесть хотя
Достойное себя и оныя дитя...[60]

Ср. также стихи «Середи того гнезда» и насмешки Елагина над употреблением Ломоносовым слова «середи» (см. выше стр. 102).

Затем непонятно, у кого, кроме Ломоносова, могли быть основания для написания этого стихотворения; кто мог, кроме Ломоносова, с тех же деистических позиций обстреливать Тредиаковского, в котором предполагался Христофор Зубницкий.

В ответ на это стихотворение Тредиаковский написал едва ли не удачнейшее из всех своих произведений в смысле простоты, ясности и даже легкости языка. Начинается этот ответ намеком на опечатку в первой оде Ломоносова, где вместо «росой кастальской» напечатано было «росой кастильской».[61]

Цыга́носов, когда с кастильских вод проспится, —
Он буйно лжет на всех, ему кто ни приснится;
Немало изблевал клевет и на меня,
Бесчестя без причин и всячески браня.

Затем Тредиаковский отмечает причины появления настоящего ответа:

Его не раздражал поныне я ни словом,
Не то чтоб на письме в пристрастии суровом.
Пусть так! Я в месть ему хвалами заплачу;

Далее он переходит к сатирической части:

Я лаять так, как пес, и в правде не хочу.
Цыганосов сперва не груб, но добронравен,
Не горд, не самохвал и в должностях исправен,
Цыганосов не зол, ни подлости в нем нет,
К непостоянству вдруг не зрится ни примет;
Цыганосов есть трезв, невздорлив и небешен,
Он кроток, он учтив, он в дружестве утешен;
Цыганосов притом разумен и учен,
Незнанием во всем отнюдь не помрачен;
Цыганосов всем вся, как дивный грамматист,
Как ритор, как пиит, историк, машинист,
Как физик, музыкант, художник, совершитель,
Как правоты нигде в речах ненарушитель;
Цыганосов не враль, а стилем столь высок,
Что все писцы пред ним, как прах или песок;
Цыганосов своим корысти чужд рассудком,
К чухоночкам ему честь только есть побудком,
Не хульник мужних жен, пронырством не смутник,
Не роет сверстным рва, затем не наушник;
Цыганосов не плут, да правосерд и верен,
Чист в совести своей, всегда нелицемерен;
Цыганосов святынь любитель, в том нельстив,
Священства чтитель он и внутрь благочестив:

Цыганосов душой, как не ханжа, неложен,
Благоговенья полн и верою набожен;
Цыганосов толь благ, почтить коль не могу;
Цыганосов... Цыть, цыть! вить похвалу я лгу. [62]

Нельзя не согласиться с А. И. Артемьевым, описавшим «Казанский сборник», что «стихотворение это замечательно гладкостью стиха. Давно уже, — прибавляет Артемьев, — кажется, Полевым или Сенковским, было замечено, что Тредьяковский в порывах раздражения писал без вычур, языком понятным». [63]

А. Н. Афанасьев относит к этой же полемике стихотворение Ломоносова: «Отмстить завистнику меня вооружают...» и ответ Тредиаковского: «Бестыдный Родомонт, иль буйвол, слон иль кит». [64] Однако, в тексте обоих этих произведений нет ничего такого, что позволило бы связать их именно с данной, а не какой-либо иной полемикой Ломоносова с Тредиаковским. Поэтому названные произведения могут быть опущены при рассмотрении материалов, относящихся непосредственно к полемике вокруг «Гимна бороде».

«Казанский сборник» сохранил еще два произведения, связанных с полемикой вокруг «Гимна бороде» — «Суд бородам» и «Пронесся слух», — и оба они приписаны в сборнике этом Сумарокову. [65] Но в других источниках есть указания на то, что автором этих произведений являются иные лица. Так, например, в пушкинском списке, вслед за «Передетой бородой» идет стихотворение, носящее в других списках название «Суд бородам» и озаглавлено оно у Пушкина «Возражение Ломоносова. Гимн II»; [66] в сборнике Л. Б. Модзалевского (бывшем сборнике акад. П. П. Пекарского) оно названо: «Второй гимн бороде», [67] то есть, подчеркнута его связь — по автору? — с первым «Гимном бороде». В самом деле, едва ли Сумароков, недавний враг Ломоносова, мог написать «Суд бородам». Несомненно, это стихотворение особенно портретно; нет оснований предполагать, что различные «бороды», изображенные в «Суде бородами», были нарисованы абстрактно, не относясь к определенным живым лицам, в особенности после вызова Ломоносова в синод. Вот это стихотворение:

Не Парисов суд с богами,
Не гигантов брань пою,
Бороде над бородами
Честь за суд я воздаю,

Бороде, что тех судила,
Коих ненависть вредила
Посмеянием своим
И ругаясь явно им.
О брада, что для покою
Там сидишь, где все стоят,
Чешешься чужой рукою,
Вкруг тебя всегда кадят!

* * *

Бороде все поклонялись,
Бороду за старость чли;
Тут перед нею показались
Разных тьмы бород вдали.
Перьвая к ней подступила,
И расширясь говорила:
«О, защита бородам!
Дай совет и суд ты нам».

* * *

Так брада возопияла,
Растрепавшись пред судьей:
«Ненависть на нас восстала
Дерзкой наглостью своей;
Брадоборец неотложно
Говорит, что есть безбожно
Почитать наши чины
Тем, что мы некрещены».

* * *

Только речи окончала
Борода пред бородой,
Издалека подступала
Тут другая чередой,
И с-сердцов почти дрожала;
Издалека заворчала
Сквозь широкие усы,
Что ей придало красы:

* * *

«Я похвастаться дерзаю,
О, судья наш! пред тобой:
Тридцать лет уж покрываю
Брюхо толстое собой.
Много я слыхала злого,
Но ругательства такого
Не слыхала я нигде,
Что нет нужды в бороде!».

* * *

После той кричит сквозь слезы
Борода вся в сединах,
Что на-силу из трапезы
Поднялась на костылях:
«Сколько лет меня все чтили,
Все меня всегда хвалили;
А теперь живу в стыде.
Сносно ль старой бороде!»

* * *

Множество бород ходили
Друг за другом пред судью,
Все отмщения просили
За обиду им свою:
Та служила многи годы,
Та запомнит все походы,
Та умеет всех учить.
Как за них не отомстить?

* * *

Наконец чуть слышны речи
Бороды еще одной,
Что судье, взвалясь на плечи,
Шепчет в ухо с бородой.
Что две бороды шептали?
Говорят, что отгадали,
О, жестокой суевер!
Что поставил им в пример.

* * *

Тут уже не стало мочи
Бороде хулы сносить;
Возводя на небо очи,
Стала во слезах просить;
Чтоб ей помощи послало
Притупить клевет всех жало;
Но какую б казнь сыскать —
Брадоборца наказать?

* * *

Борода над бородами,
С плачем к стаду обратясь,
Осеняла всех крестами
И кричала рассердясь:
«Становитесь все рядами,
Вейтесь, бороды, кнутами,
Бейте ими сатану;
Сам его я прокляну!»

* * *

О, какой же крик раздался
От бород сердитых тут;
Ус с усом там в плеть свивался,
Борода с брадою в кнут;
Тамо сеть из них готовят,
Брадоборца чем изловят;
Злобно потащат на суд
И усами засекут!
О брада, что для покою, и проч. [68]

Итак, в «Суде бородам» в основном фигурируют четыре «бороды»: первая — борода — судья, или «борода над бородами»; вторая «борода растрепанная»; третья «борода с широкими усами»; наконец, четвертая «борода на костылях». Вряд ли является случайным совпадением то, что «всеподданейший доклад» синода был подписан также четырьмя «бородами». Может быть, именно и нужно понимать «Суд бородам», как картину заседания синода, на котором было постановлено обратиться к Елизавете с «докладом»? Не об этом ли «шептались» две бороды? Не конкретная ли проповедь кого-либо из церковных антагонистов Ломоносова изображена в «Суде бородам» в стихах:

Борода над бородами,
С плачем к стаду обратясь,
Осеняла всех крестами
И кричала рассердясь:
«Становитесь все рядами,
Вейтесь, бороды, кнутами,
Бейте ими сатану;
Сам его я прокляну!»

Что в четырех «бородах» даны портреты, можно видеть из следующего: в «третьей бороде», которая

Издалека заворчала
Сквозь широкие усы,
Что ей придало красы, —

конечно, изображен Сильвестр Кулябка, украинец по происхождению, у которого были действительно широкие и длинные, «казацкие» усы. [69] Если, таким образом, в отношении одной «бороды» устанавливается портретность, то, очевидно, и в отношении других может и должно быть сделано то же самое. В частности, повидимому, «борода над бородами», против кото-

рой и обращен в основном «Суд бородам», — это Димитрий Сеченов, и, вероятно, приведенная выше строфа о произнесенной «бородой над бородами» проповеди метит именно в одну из его проповедей, сказанных в связи в «Гимном бороде».

Возможно, что здесь имелась в виду не проповедь Дмитрия Сеченова, а именно Гедеона Криновского. В «Слове в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла», произнесенном 29 июня 1757 г., Гедеон Криновский, касаясь «гонений, претерпенных церьковью», довольно прозрачно затронул ломоносовский «Гимн бороде». Обращаясь к своим слушателям, Гедеон говорил: «Сами вы, чаю, довольно знаете, что церьковь никогда без гонителей не бывает... И хотя ныне, слава богу, явные гонения утихли, но не перестают тайные и политические терзать ее утробу, то есть ереси, расколы, и другие некие странные врагов ее предприятия. Что точно показано в Апокалипсисе, где змий гонит жену, облеченную в солнце, которая по общему учителей церьковных толкованию знаменует церьковь. Гонит бо, видим мы там, змий той, то есть, сатана жену сию, но не может догнати: Что же убо делает. Престает уже более зубами и ногтми хватать ее, да вместо того испущает из уст своих смрадную некую воду, чтобы хотя уже в реке ее потопили... Но не оставляет убо сатана церькви озлоблять, но видя, что первым свои вымыслом, то есть, явным гонением ничего не успел, находит еще иной способ к погублению ее, которым назвал я выше ереси, расколы и всякие другие замыслы, от лишенных совести людей на опровержение церькви вымышляемые».[70] Ср. набранные в разрядку слова с донесением синода Елизавете (выше, стр. 210. ср. стр. 214).

Как бы то ни было, «Суд бородам» был написан не человеком, стоявшим вдали от непосредственных столкновений с церковниками, а в самом центре их. Иными словами, это был не Сумароков, как утверждает «Казанский сборник», а сам Ломоносов.

Сложнее обстоит дело со вторым стихотворением, не имеющим особого заглавия. Это стихотворение в «Казанском сборнике» приписано Сумарокову, в сборнике же Л. Б. Модзалевского — Баркову.[71] Вот это стихотворение:

Пронесся слух: хотят кого-то будто сжечь;
Но время то прошло, чтоб наше мясо печь.

Безбожника сего всеместно проклинают,
И беззаконие его все люди знают:
Неизреченный вред закону и беда —
Обругана совсем честная борода!
О лютый еретик! против чего дерзаешь?
Противу бороды, и честь ее терзаешь!
Какой ты сеешь яд?
Покайся, на тебя уже разверзся ад;
Оплакивай свой грех, пролей слез горьких реки,
Когда не хочешь быть ты в тартаре во веки.

* * *

О вы, которых он
Прогневал паче меры,
Восстав противу веры
И повредив закон!
Не думайте, что мы вам отданы на шутки;
Хоть нет у нас бород, однако есть рассудки:
Не боги вить и вы,
А яростью своей не человеки—львы,
Которые страшней разверста адска зева.
Спаси, о боже, нас от зверского их гнева.
Забыли то они, как ближнего любить;
Лишь мыслят, как его удобней погубить,
И именем твоим стремятся только твердо
По прихотям людей разить немилосердо.

* * *

Отрекся миров ты и мира,
Явить себя нам нища, сира;
Но стал богатее купца,
Не бьешься вкруг сухого хлеба,
Ты ищешь достигая неба,
В богатстве райского венца...
Я грош на грош постановляю,
И милионы вображаю.
И в смутной мысли я своей
Толико ж их вношу над оны
И паки паки милионы,
Пещинка то казны твоей.[72]

Если вчитаться в настоящее стихотворение, нельзя не обратить внимание на то, что последние два шестистишия не связаны непосредственно с основным текстом стихотворения. В самом деле, стихи «Спаси, о боже, нас от зверского их гнева» и т. д. обращены к богу и в этом смысле и нужно понимать второе лицо единственного числа: «спаси»... «именем твоим стремятся... разить»; между тем, «ты» последних двух шестистиший это не бог, а

поп, монах, вообще духовное лицо, давшее обет бедности, нестяжательства, а вместо этого ставшее «богатее купца». Таким образом, создается впечатление, что перед читателем не одно произведение, а два (или больше), неправильно сведенные воедино. Это впечатление подтверждается фактами: два последних шестистишия фигурируют в качестве двух самостоятельных произведений Сумарокова в «Полном собрании сочинений» его с незначительными разночтениями.[73] Вероятно, это обстоятельство и заставило составителя «Казанского сборника», знавшего настоящего автора этих двух антиклерикальных шестистиший, приписать все неправильно переписанное стихотворение, оформленное как одно целое, тому же Сумарокову. Акад. Пекарский склонялся к мнению о том, что автором стихотворения «Пронесся слух» был не Сумароков, а Барков.[74] Однако, он ничем не подкрепил своего мнения. Повидимому, основным доводом против авторства Сумарокова является его борьба с Ломоносовым в 1753—1755 гг. Основываясь на показаниях «Казанского сборника», историки литературы, признающие Сумарокова автором стихотворения «Пронесся слух», так и заявляют, что к чести Сумарокова, он, забыв свои раздоры с Ломоносовым, выступил в его защиту. Конечно, и в данном случае отсутствие неоспоримых документальных данных заставляет исследователя воздержаться от окончательного решения. Однако, методологически правильным представляется рассмотреть это стихотворение на общем фоне материалов, характеризующих отношение Сумарокова к духовенству. Отношения эти были сложны. Выше были приведены два шестистишия Сумарокова против церковного имуществовладения. Можно привести и другие, аналогичные материалы, например, притчу «Отрекшаяся мира мышь».[75]

В этой притче, напечатанной в «Трудолюбивой пчеле» в 1759 г. в разгар Семилетней войны, несомненно перед читателем отклик на современные события, и отклик с точки зрения среднедворянских интересов.

С лягушками войну злясь мыши начинали.
За что?
И сами воины тово не знали;
Когда ж не знал никто,
И мне безвестно то.
То знали только в мире,
У коих бороды пошире.

Нельзя, читая эти стихи, не отметить совпадения позиции Сумарокова с позицией среднего дворянства в Семилетнюю войну; о ней М. Н. Покровский писал следующее: «Русское дворянство, тысячами клавшее свои головы в бессмысленной, с точки зрения его классовых интересов, войне против Пруссии, никогда не узнало, кто играл его головами».[76]

Дальше идет самая «притча», совершенно совпадающая с тем четверостишием Ломоносова о «мыши, засевшейся в голанской сыр», которое приведено выше (стр. 204), что наводит на мысль об общем источнике для обоих авторов; таковым и является басня Лафонтена «Le rat qui s'est retiré du monde» (кн. 7, басня 3):

Затворник был у них и жил в Голландском сыре,
Ни что из светского ему на ум не йдет,
Оставил навсегда он роскоши и свет.
Пришли к нему две мышки,
И просят, ежели какие есть излишки
В имении его,
Чтобы подал им хотя немного из тово,
И говорили: мы готовимся ко брани.
Он им ответствовал, поднявши к сердцу длани:
Мне дела нет ни до чего,
Какия от меня друзья вы ждете дани?
И как он то проговорил,
Вздохнул и двери затворил.

Таким образом, и это стихотворение может быть поставлено в тесную связь с сатирическими выпадами Сумарокова против церковного имуществовладения. Можно привести и другие высказывания Сумарокова о религии и духовенстве, но у него, автора песенки в защиту франкмасонов,[77] члена массонской ложи еще до 1756 г.,[78] нельзя найти каких-либо продуманных и вытекающих из общего, пусть и неправильного мировоззрения, нападок на церковь и ее представителей. Все это заставляет склониться к мысли о принадлежности стихотворения «Пронесся слух» не Сумарокову, а Баркову, которому оно приписано в сборнике Л. Б. Модзалевского.

Повидимому, на этом и закончилась полемика вокруг «Гимна бороде». Конечно, эта полемика не была прямо и тесно связана с тогдашней борьбой в области литературы; это видно хотя бы из того, что сумароковская группа, по крайней мере, если судить по изложенным материалам, не приняла участия в пере-

бранке вокруг «Гимна бороде». Эта полемика оказалась, таким образом, борьбой между двумя системами идеологии, стремившихся к тому, чтобы стать господствующими у правящего класса — «религиозной», идущей из феодального прошлого и желавшей приноровиться к новым условиям, не уступая ничего из своего «арсенала», и «научной», продуктом новых, буржуазных отношений на Западе, предлагавшей дворянскому государству компромиссное решение проблемы религии: «вера» без «духовенства». Социальные условия в описываемое время были таковы, что «вельможное» правительство Елизаветы предпочло успокоить духовенство назначением Дмитрия Сеченова архиепископом новгородским и Гедеона Криновского членом синода (в январе 1758 г.), а Ломоносова оставило безнаказанным. Не вполне понятно только, почему в том же 1757 г. была вырезана на раке Дмитрия Ростовского цитированная выше (стр. 202) надпись, приготовленная Ломоносовым. Это тем более непонятно, что вся она, не исключая и последней строчки, может быть истолкована, как обращенная и не к раскольникам, а к членам синода, недавним противникам Ломоносова по полемике, представляя как бы продолжение последней.

Впрочем, вопрос решается очевидно в том смысле, что стихи эти были только выгравированы в 1757 г., а приготовлены они были одновременно с проектом раки, сделанным акад. Я. Штелином, в 1754 г.[79]

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ПОЛЕМИКИ

В самом начале 1744 г. в Кенигсберге «в оберже под знаком города Риги» за «хозяйским столом» сидели три направляющихся из Петербурга в Париж француза: «капитан царицыной гвардии Измайловского полка», шевалье де-Реньяк, купец Торэн и аббат Лефевр. К ним подсел офицер шведской службы, назвавшийся бароном Стакельбергом, и стал беседовать на темы международной политики, и между прочим сообщил, будто «государственные шведские чины довольно известны, что знатные русские господа нынешним правлением весьма недовольны и что вскоре там чрезвычайные дела видимы будут». Когда французы выразили желание более подробно узнать у шведского офицера о подготовляемой в России революции, последний, «сведав от служителей» де-Реньяка, что тот находится на русской службе, больше уже не появлялся. Проездом через Берлин французы уведомили русского посла гр. Чернышева о своей встрече, и в результате этого, по прибытии в Париж, были по указу короля посажены в Бастилию, «для учинения письменного объявления... о некоторых разговорах,... которые разговоры являлися ему [шевалье де-Реньяку] интересовать безопасность царицы государыни его». В отношении первых двух задержанных протокол был очень краток и сдержан; некоторые подробности сообщает протокол о Лефевре.

«Спрашиван о имяни, прозвании и чине.

«Сказал: зовут-де его Этиен Лефевр, родом из Кутанценской эпархии, от роду ему около шестидесяти лет и ведает, что он сан священства в Кутанце получил.

«Спрашиван о том, что он ныне в Париже делает.

«Сказал: тому-де назад лет с пять, как господин Шетардий, королевской посол в Москве, его туда с собою, яко омониера своего, завез, по отъезде же господина Шетардия, остался он там ещё в том же чине, при господине Далионе, а в минувшем... месяце худое его здоровье тако ж

и некоторые дела, кои он во Франции имел, принудили его сюда возвратиться».

Дальнейшие показания аббата Лефевра, совпадающие с сведениями, сообщенными его спутниками, интереса для настоящей работы не представляют.[1]

Арест аббата Лефевра взволновал французского посла в Петербурге, Далиона; в переписке его несколько раз встречаются запросы о судьбе Лефевра.[2] В общем видно, что у французского дипломата были основания заботиться о посольском проповеднике. Повидимому, и купец Торэн, и аббат Лефевр, и, может быть, и шевалье де-Реньяк были не простыми путешественниками, а исполняли и какие-то секретные дипломатические поручения, как и большинство французских купцов в России в это время. Казалось бы, неожиданный арест должен был повлиять на шестидесятилетнего омониера и поселить в нем раз навсегда отчужденность к России. Тем не менее, через пятнадцать лет имя его вновь встречается в петербургских салонах, и на этот раз оно связано с последней полемикой Ломоносова.

После относительно спокойного периода между 1756 и 1758 гг., когда и Сумароков и Ломоносов не выступали открыто друг против друга,[3] в 1759—1760 гг. разыгрался последний этап этой длительной литературной полемики. Но если в начале пятидесятых годов столкновения обоих поэтов имели более литературный характер, то в настоящем случае, при сохранении видимости той же, якобы чисто литературной полемики, она была тесно связана с политической обстановкой момента.

Семилетняя война (1756—1763) втянула Россию в более тесные отношения с Францией и Австрией, приведшие к союзу с ними; с другой стороны, продолжалась закулисная борьба английской дипломатии в Петербурге за отвлечение России от этого союза и за уход ее из числа воюющих держав. Соответственно с этими внешне-политическими обстоятельствами дифференцировалось и русское дворянство, в особенности, в своей столичной, более сознательной части. Высшее придворное дворянство, поддерживавшее Елизавету и создавшее ее политическую линию, оформлявшее и направлявшее эту политику, было настроено франкофильски. Это «вельможество», владевшее перенятыми от правительства заводами, связанное с откупами и поставками в действующую армию, было заинтересовано

в продолжении войны. Наоборот, среднее дворянство, образовывавшее массив командного состава армии и отдававшее в огромном количестве своих крепостных в качестве солдат, с одной стороны, и с другой стороны, начинавшее, благодаря этому" ощущать недостаток в необходимом (Покровский), было против войны и ориентировалось в направлении Англии и тех англофильских группировок, которые имелись и при дворе Елизаветы и возглавлялись Екатериной, в то время еще великой княгиней. Для краткости эти две тенденции в политике дворянства конца 1750-х можно назвать шуваловской (французская ориентация) и екатерининской (английская ориентация).

Политические интересы среднего дворянства, противоположные интересам высшего придворного круга, сделали его более враждебным Елизавете и, наоборот, способствовали популярности Екатерины. Одним из моментов внешнего выражения этой екатерининской ориентации среднего дворянства в эту эпоху явился журнал Сумарокова «Трудолюбивая пчела». Начать с того, что журнал был посвящен Екатерине и в посвятительных стихах Екатерина противопоставлялась Елизавете. Акад. Пекарский, не учитывавший классовых взаимоотношений эпохи и сводивший все к личным и фамильным интересам, писал по этому поводу следующее: «Написать и напечатать такое посвящение было своего рода мужеством со стороны Сумарокова в 1759 году так как тогда великая княгиня была в немилости императрицы Елизаветы и почти в открытом разладе с великим князем; как той, так и другому были известны замыслы графа А. Бестужева-Рюмина предоставить Екатерине участие в правлении Россиею в случае кончины Елизаветы, и попытки самой великой княгини вмешиваться в тогдашние дела внутренней и внешней политики в видах осуществления тех замыслов канцлера. Сумароков, как уже было замечено, принадлежал к партии графов Разумовских — сторонников великой княгини и противников Шуваловых».[4]

Но и кроме посвящения, «Трудолюбивая пчела» представляла любопытное явление. В ряде басен и других стихотворных и прозаических статеек Сумарокова стали проводиться то менее, то более резкие выпады против отдельных сторон тогдашнего «шуваловского» правления, напр., против бюрократизма (подьячих), откупной системы, против насаждения промышленности и т. п.

Для характеристики позиции Сумарокова в «Трудолюбивой пчеле» очень показательно следующее место в «Письме — четыре ответа». «Ежели бы я был великой человек и великой господин, — пишет в этом программном отрывке Сумароков, — я бы неусыпно старался о благополучии моево отечества, о возбуждении добродетели и достоинства, о награждении заслуг, о утолении пороков и о истреблении беззакония, о приращении наук, о умалении цены необходимых жизни человеческой вещей, о наблюдении правосудия, о наказании за взятки, грабительства, разбойничество и воровство, о уменьшении лжи, лести, лицемерия и пьянства, о изгонении суеверия, о уменьшении не надобного обществу великолепия, о уменьшении картежной игры, чтоб она не отъимала у людей полезного времени, о воспитании, о учреждении и порядке училищей, о содержании исправного войска, о презрении буянства, петиметерства и искоренении тунеядства».[5]

Особенно следует подчеркнуть исключительную сдержанность Сумарокова в отношении Семилетней войны, хотя 1759 г. имел очень большое значение в развития внешнеполитических отношений России. Сдержанность эта продиктована была, конечно, непопулярностью этой «шуваловской» войны.

Как одно из звеньев программы Сумарокова должно рассматривать и его борьбу с Ломоносовым в «Трудолюбивой пчеле». Борьба эта шла по двум линиям: непосредственно литературной и личной. Так, в качестве образца последней формы нападок «Трудолюбивой пчелы» на Ломоносова можно указать на помещенную в июньском № журнала статейку Тредиаковского «О мозаике», безобидную по внешности и как-будто трактующую об отвлеченно-академическом вопросе. На самом деле заключительные строки статьи Тредиаковского имели явно провокационный характер, так как были направлены против субсидировавшихся правительством занятий Ломоносова мозаичным искусством. «Живопись, производимая малеванием, — писал Тредиаковский — весьма превосходнее мозаичной живописи, по рассуждению славного в ученом свете автора, ибо невозможно, говорит он, подражать совершенно камешками и стеклышками всем красотам и приятностям, изображаемым от искусныя кисточки на картине из масла, или на стене, так называемою фрескою из воды по сырой извести».[6]

Появление статьи Тредиаковского вызвало взрыв ярости в Ломоносове. Он обратился с жалобой к своему постоянному покровителю И. И. Шувалову, в которой просил оградить его от «комплота», а, с другой стороны, прибег к обычному приему — откликнулся на сотрудничество Тредиаковского в «Трудолюбивой пчеле» Сумарокова, до того времени неизменно глумившегося над Штивелиусом — Тредиаковским, эпиграммой «Злобное примирение».

С Сотином — что за вздор? — Аколаст примирился.
Конечно, третий член к ним леший прилепился,
Дабы три фурии, вместившись на Парнас,
Закрыли криком муз российских чистый глас.
Как много раз театр казал на смех Сотина,
И у Аколаста он слыл всегда скотина.
Аколаст, злобствуя, всем уши раскричал,
Картавил и сипел, качался и мигал,
Сотиновых стихов рассказывая скверность,
А ныне объявил любовь ему и верность,
Дабы Пробиновых хвалу унизить од,
Которы, вознося, российский чтит народ.
Чего не можешь ты начать, о зависть злая.
Но истина стоит недвижима святая.
Коль зол, коль лжив, коль подл Аколаст и Сотин,
Того не знает лишь их гордый нрав один.
Аколаст написал: «Сотин лишь врать способен»,
А ныне доказал, что сам ему подобен.
Кто быть желает нем и слушать наглых врак,
Меж самохвалами с умом прослыть дурак,
Сдружись с ней парочкой: кто хочет с ними знаться,
Тот думай, каково в крапиву испражняться.[7]

Как и все эпиграммы Ломоносова, «Злобное примирение» отличается почти документальной точностью, и буквально каждое слово в нем обладает реальным содержанием. Имя «Сотин» сейчас же напоминало современникам комедию Сумарокова «Тресотиниус», в которой под таким именем, означающим «архи-глупца» (très-sot) выведен был Тредиаковский.

В Аколасте (что по-гречески означает нахальный невежда) дан портрет Сумарокова с подробностями, в роде картавости и мигания последнего, которое неоднократно служило предметом насмешек его противников. Что касается «третьего члена — лешего», то этот намек может быть правильно понят, если вспомнить соответствующее место в упоминавшемся выше письме-

жалобе Ломоносова И. И. Шувалову: «Здесь видеть можно целой комплот: Тредиаковский сочинил, Сумароков принял в Пчелу, Тауберт дал напечатать без моего уведомления в той команде, где я присутствую».[8] Итак, «леший» — это Тауберт, и замысел всех «трех фурий» состоит в том, чтобы «закрыть криком муз российских чистый глас», т. е. помешать литературно-научной деятельности Ломоносова. Участие в этом триумвирате Тауберта, бывшего в то время академическим советником, совместно с Ломоносовым, последний объясняет личным недоброжелательством и враждебностью к нему академика-немца.

Если иметь в виду эту точность указаний Ломоносова в эпиграммах, возникает вопрос, что должны обозначать следующие строки в «Злобном примирении»

А ныне (Аколаст) объявил любовь ему (Сотину) и верность,
Дабы Пробиновых хвалу унизить од,
Которы, вознося, российский чтит народ.

Вопрос этот тем более уместен, что в «Трудолюбивой пчеле» прямых «унижений» Ломоносовских од нет.

Скрытые нападки на Ломоносова почти не прекращаются в «Трудолюбивой пчеле». В январской книжке в статье «О стихотворстве камчадалов» безыскусная, наивная поэзия противопоставляется «стихотворству, которое... больше всего ослеплению искусства подвержено, что ясно доказали старающиеся превзойти Гомера, Софокла, Виргилия и Овидия. Останемся лутче, — предлагает Сумароков, — в границах природы и разума».[9] В апрельской книжке, помимо статейки «О разности между пылким и острым разумом», где можно усмотреть косвенные намеки на Ломоносова, последний подвергается резким нападкам в статье «О неестественности».

При виде «притворно воющей за гробом мужа своево жены посацкого», пишет Сумароков, «пришли мне от сего зрелища на ум те Стихотворцы, которые следуя единым только правилам, а иногда и единому желанию полсти на Геликон ни мало не входя в страсть, и ни чего того, что им предлежит не ощущая, пишут только то, что им скажет умствование или невежество, не спрашиваяся с сердцем, или паче не имея удобства подражать естества простоте, что всево писателю труднее, кто не имеет особливого дарования, хотя простота естества издали и легка кажется. Что более стихотворцы ум-

ствуют, то более притворствуют, что притворствуют, то более завираются...»[10]

Еще более откровенные выпады против Ломоносова содержит четвертый «Разговор мертвых» в майской книже «Трудолюбивой пчелы». Медик спрашивает Стихотворца: Какие ты сны видишь? Из етова медики много заключают. — Стихотворец: Преужасные. — Вижу Стикс, Ахерон, Фурий, Медузу, Сфинкса, Гидру, Титанов, Гигантов и протчее тому подобное... А некогда видел я сон еще и етова страшияе... Приснилося мне, будто я сын Тартара и Земли, и что я лежа под Етною ворочаюсь, и не могу выдраться, и будто мне Юпитер приговаривает: не трогай неба, не трогай неба... ...Медик: Стихотворцы не все на Парнасском ездят коне: не один ты, многие ваши братья на коровах ездят.[11]

Не останавливаясь подробно на прочих произведениях, помещенных в «Трудолюбивой пчеле» — и скрыто касающихся Ломоносова, достаточно просто перечислить их: об остроумном слове» (о многоречии), епиграмма «Котора лутче жизнь...» (о стихах «последуя природе»), «Недостаток изображения» (о стихотворце с холодной кровью), «Дифирамв».[12]

Только в последнем № «Трудолюбивой пчелы» была напечатана статья Сумарокова «К несмысленным рифмотворцам», в которой антагонист Ломоносова более откровенно сводил с ним счеты как с одописцем. Обращаясь к «несмысленным рифмотворцам», Сумарков пишет: «Всего более советую вам в великолепных упражняться одах; ибо многие читатели, да и сами некоторые Лирические стихотворцы рассуждают тако, что никак невозможно, чтоб была ода и великолепна и ясна: по моему пропади такое великолепие, в котором нет ясности. Многие говорили о архиепископе Феофане, что проповеди его не очень хороши, потому что они просты. Что похвальняй естественныя простоты, искусством очищенной, и что глупие сих людей, которые вне естества хитрости ищут? Но когда таких людей много, слагайте, несмысленные виршесплетатели, оды; только темняе пишите».[13]

Однако можно сомневаться, чтобы указанные выше строки из «Злобного примирения» относились к этой статье Сумарокова. Сомнение это тем более законно, что в этой статейке Сумароков уже вновь подтрунивает над Тредиаковским, своим недавним сотрудником и соратником в борьбе с Ломоносовым

в самом начале своего обращения «К несмысленным рифмотворцам» Сумароков пишет: «Я не знаю кратчайшего способа стати стихотворцем, как выучившися грамоте, научиться узнати, что стопа, а это наука самая легкая, и только требует начать писать и отдавати в печать. Сей новый и краткий способ уже несколько воспринят».[14] Эти явные намеки на неудачный «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» Тредиаковского уже относятся, повидимому, ко времени нового охлаждения Сумарокова к автору «Тилемахиды». По содержанию же эпиграммы «Злобное примирение» можно предположить, что она была написана вскоре после появления в «Трудолюбивой пчеле» статьи Тредиаковского «О мозаике». О каких же «унижениях» говорит Ломоносов?

Однако, и в данном случае Ломоносов опирался на факты: хотя в журнале «унижений» как будто не было, все же, попытки подобного рода были Сумароковым сделаны. В одном из первых №№ «Трудолюбивой пчелы» Сумароков намерен был поместить свои «Вздорные оды», представляющие довольно удачные пародии на ломоносовское «громкое парение». Ломоносов использовал свои связи и задержал печатание «Вздорных од»,[15] но одна из них все же была помещена; в рукописном виде все они были, конечно, сейчас же пущены в публику (если не обращались в ней еще раньше).

«Вздорных од» всего сохранилось пять: три собственно оды, затем Дифирамв Пегасу и, наконец, просто Дифирамв. Впрочем, предпоследняя пародия, как доказано Г. А. Гуковским, более позднего происхождения и относится к В. П. Петрову.[16] Характер этих пародий легко может быть усвоен из нескольких образцов — отрывков.

Вот первая строфа первой «Вздорной оды»:

Превыше звезд, луны и солнца,
В восторге возлетаю нынь:
Из горних областей взираю
На полуночный океан;
С волнами волны там воюют,
Там вихри с вихрями дерутся
И пену плещут в облака;
Льды вечные стремятся в тучи,
И их угрюмость раздирают
В безмерной ярости своей.[17]

Ср. ломоносовское «Утреннее размышление о божием величестве», строфа 2 и 3:

. . . со всех открылся стран
Горящий вечно океан.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.[18]

Ср. также следующий отрывок:

Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,
Земля стенала от зыбей,
Что вихри в вихри ударялись
И тучи с тучами спирались
И устремлялся гром на гром,
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады
Сравнять хребты гор с влажным дном.

(Ода Елизавете Петровне 1746 г., строфа 9.)[19]

Или вот восьмая строфа третьей «Вздорной оды»:

Трава зеленою рукою
Покрыла многие места;
Заря багряною ногою
Выводит новые лета.
Вы тучи с тучами спирайтесь,
Во громы, громы, ударяйтесь,
Борей, на воздухе шуми.
Пройду нутр горный и вершину,
В морскую свергнуся пучину:
Возникни, Муза, и греми![20]

Ср. у Ломоносова:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.

(Ода 1748 г.)[21]

Выше было указано, что одну из «Вздорных од» Сумарокову все же удалось напечать в «Трудолюбивой пчеле».

Дифирамв

Позволь, великий Бахус, нынь,
Направити гремящу Лиру,
И во священном мне восторге
Тебе воспеть похвальну песнь!
Внемли, вселенная, мой глас,
Леса, дубровы, горы, реки,
Луга и степь, и тучны нивы,
И ты, пространный Океан.
Тобой стал новый я Орфей.
Сбегайтеся на глас мой, звери,
Слетайтеся ко гласу, птицы,
Сплывайтесь, рыбы, к верьху вод.
Крепчайших вин горю в жару,
Во иступлении пылаю:
В лучах мой ум блистает солнца,
Усугубляя силу их.
Прекрасное светило дня,
От огненныя колесницы
В Рифейски горы мещет искры,
И растопляется металл.
Трепещет яростный Плутон,
Главу во мраке сокрывает:
Из ада серебро лиется,
И золото оттоль течет.
Уже стал таять вечный лед,
Судам дорогу отверзая:
На севере я вижу полдень,
У Колы Флору на лугах.
Богини, кою Актеон,
Узрел нещастливый нагую,
Любезный брат! о сын Латоны!
Любовник Дафны! жгу ефир!
А ты, о Семелеин сын,
Помчи меня к Каспийску морю!
Я Волгу обращу к вершине,
И утомленный лягу спать! [22]

Сумароков не ограничился, однако, только теми образцами борьбы с Ломоносовым, которые были только-что охарактеризованы. Так, в связи с докладом Ломоносова, прочтенным 8 мая 1759 г. в торжественном заседании Академии Наук, «Рассуждение о большей точности морского пути», в августовском

№ «Трудолюбивой пчелы» были помещены три стихотворения Сумарокова «Новые изобретения»:

1

Вскоре
Поправить плаванье удобно в море.
Морские камни, мель в водах перморить,
Все ветры кормщику под область покорить,
А это хбть и чудно,
Хотя немножко трудно:
Но льзя природу претворить;
А ежели никак нельзя того сварить,
Довольно и того, что льзя поговорить.

2

Разбив стакан, точить куски, а по оточке
Во всяком тут кусочке
Поставить аз:
Так будет из стекла алмаз.

3

Скажу не ложно:
Возможно
Так делать золото из молока, как сыр,
И хитростью такой обогатить весь мир,
Лишь только я при том одно напоминаю:
Как делать, я не знаю. [23]

Не останавливаясь на других выпадах против Ломоносова в «Трудолюбивой пчеле», достаточно указать, что и ломоносовская орфография служила несколько раз объектом сумароковской сатиры.

Все эти факты очень раздражали Ломоносова, и он, пользуясь своим положением академического советника, т. е., административного лица, вмешивался в цензурование «Трудолюбивой пчелы» и чинил препятствия изданию журнала, чем и способствовал прекращению его. Конечно, не эти литературные распри были основной причиной прекращения или, точнее, закрытия «Трудолюбивой пчелы». В «Расставании с музами» и в других произведениях Сумароков подчеркивает, что сходит с Парнасса «противу воли» «во время пущего жара» своего. Очевидно, шуваловско-воронцовская группа нашла способы к прекращению неприятного ей журнала.

Однако, Ломоносов не отказывался и от литературных способов борьбы с Сумароковым. Так, напр., несомненно ему принадлежат две эпиграммы на «Трудолюбивую пчелу»; эпиграммы эти находятся в известном Казанском сборнике и, хотя они там анонимны, однако, можно с уверенностью считать их автором Ломоносова. Первая эпиграмма была написана, повидимому, вскоре после возникновения журнала.

Пчела, трудяся в том, чтоб ей составить мед,
С приятных и худых цветов в состав берет.
Желая, чтоб в трудах мы пчелам подражали,
Чужие зришь труды не в радости, в печали.
С печали сам начав твой ныне новый труд,
И позабыл, что ты забавной в свете шут. [24]

Другая эпиграмма озаглавлена «Эпитафия»:

Под сею кочкою оплачь, прохожий, Пчелку,
Что не ленилася по мед летать на стрелку.
Из губ подьяческих там сладости сбирать:
Кутья у них стоит, коль хочешь поминать. [25]

К доказательству авторства Ломоносова придется обратиться в дальнейшем, а сейчас следует отметить, что борьба Сумарокова с Ломоносовым в 1759 г. только служила преддверием более энергичной полемики, имевшей место в следующем году. Впрочем, ни Ломоносов, ни Сумароков непосредственными участниками в этой полемике, по крайней мере в ее литературно-оформленной и отразившейся в печати части, не были.

Полемика 1760 г. тесно связана с франко-русским литературным салоном гр. Андрея Петровича Шувалова. О салоне этом сведений сохранилось очень мало, и, кроме того, они затеряны в старинной французской периодической печати — на русском языке материалов отыскать не удалось.

В пятом томе журнала «L'Année littéraire» за 1760 г., [26] издававшемся известным антагонистом Вольтера, Эли Фрероном (1719—1776), была помещена статья «Lettre d'un jeune seigneur russe à M de ***» («Письмо молодого русского вельможи к г. де ***»). Фрерон, прославившийся яростной борьбой против энциклопедистов и Вольтера в особенности, с 1754 г. приступил к изданию «Литературного Года», издававшегося им до самой смерти. Журнал следил за новостями французской и иностранных литератур, и в появлении статьи «молодого русского вель-

можи», посвященной современному положению русской литературы, не было ничего необычного. Не нужно забывать, что со времени возобновления при Анне Иоанновне дипломатических отношений Франции с Россией, участились поездки русских дворян за-границу, преимущественно во Францию. Особенно сделались они частыми после заключения союза между Россией и Францией в 1756 г. Интерес к России возрастал во Франции как в связи с политическими событиями, так и под влиянием усиления экономических отношений; некоторую роль играло также появление в Париже русских вельмож. В 1760 г. появление такой статьи было особенно понятно.

Среди молодых русских аристократов, посетивших в эти годы западные страны, находился гр. Андрей Петрович Шувалов (1743—1789). Племянник фаворита Елизаветы Петровны, Ивана Ивановича Шувалова, гр. Андрей Петрович отправился за-границу в 1756 г., около этого же времени был за-границей и его старший приятель, барон Александр Сергеевич Строганов. [27]

Путешествие гр. А. П. Шувалова продолжалось три года (с октября 1756 г. по август 1759 г.), причем два года молодой вельможа провел в Париже. Вторично гр. А. П. Шувалов ездил во Францию в 1764 г. и, пробыв в Париже по 1766 г., вращался, как и в первый свой приезд, в аристократических салонах, «писал остроумные стихи на французском языке и удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностью, веселостью и учтивостью, достойною времени Людовика XIV». [28] Ко времени этой второй поездки А. П. Шувалова относится его знакомство с Вольтером, которому очень понравились его стихи на французском языке и который ответил на обращенное к нему «послание» Шувалова рядом стихотворений à M. le comte de Schowalou или Schowalow (к гр. Шувалову). Кроме того, Вольтером было переиздано «Послание к Нинон де Ланкло, сочиненное гр. Шуваловым» («Epître à Ninon de L'Enclos par Monsieur le Comte Schwalo»). Послание это к знаменитой красавице, куртизанке эпохи Людовика XIV и Регентства, было написано столь правильным и изящным языком, что долго приписывалось современниками Вольтеру и Лагарпу.

Упомянутое выше «Письмо молодого русского вельможи» принадлежало именно гр. А. Шувалову. Впрочем, нужно отме-

тить, что название статьи в «L'Année littéraire» было не совсем правильно: дело в том, что самое письмо Шувалова было обрамлено вводной и заключительной частью, написанной издателем журнала Фрероном. Вот эта вступительная часть:

«Один из моих друзей, давно проживающий в Петербурге, на вопрос мой о новинках русской литературы, сообщил мне, что



А. П. Шувалов.

двое молодых русских вельмож, оба камер-юнкеры, из которых наиболее взрослому всего двадцать два года, а у наиболее бедного — четыреста тысяч ливров дохода, возвратились недавно в свое отечество, объездив почти все европейские дворы и привезя с собой одни лишь только добродетели иноземцев, а также любовь к наукам и искусствам, которыми они сами с успехом занимаются. Ученые люди справедливо видят в них своих русских меценатов. Недавно они организовали маленькое литературное общество, для допущения в которое нужно обнаружить таланты, остроумие и любовь к труду. Общество это состоит

только из русских и французов. Громадное пространство, разделяющее оба государства, существует, как будто, только для того, чтобы сблизить гений, остроумие и самое сердце обоих народов. Письмо, которое пересылаю Вам, милостивый государь, касается двух наиболее известных русских поэтов и написано графом А. Ш., одним из тех двух молодых вельмож, о которых я Вам говорю. Оно было прочитано на одном из интимных заседаний этого литературного общества».

Два молодых вельможи это гр. А. П. Шувалов и бар. А. С. Строганов. Последнему, впрочем, было тогда уже не 22, а 27 лет.

Из приведенного отрывка явствует, что самое «Письмо» гр. А. Шувалова представляло лишь один из литературных рефератов, прочитанных на заседаниях этого франко-русского салона. Но в вводной заметке Фрерона нет никаких указаний на причины появления «Письма» Шувалова. А дело обстояло так.

На одном из собраний этого салона был принят в состав его членов известный нам аббат Лефевр, проповедник церкви при французском посольстве в Петербурге. При вступлении своем Лефевр произнес небольшую речь, больше политического, чем литературного содержания и озаглавил ее: «Discours sur le progrés des beaux arts en Russie». (Речь о постепенном развитии изящных наук в России). Речь эта была напечатана без имени автора, претерпела ряд мытарств и все же дошла до нашего времени.

«Позвольте мне, милостивые государи, — начинает свой «Discours» Лефевр, — присоединяясь к вашим литературным трудам, занять вас вопросом о прогрессе изящных искусств в этом государстве. Истина, которая меня вдохновляет, и ваше снисхождение, ободряющее меня, позволяют мне надеяться на мои посредственные дарования. Я позволю себе, милостивые государи, напомнить вам те достопамятные времена, когда творческий гений России уловил тайну счастливых народов, чтобы открыть ее своему народу при помощи побед и преобразований нравов, при помощи торговли и всяческих искусств». [29] В дальнейшем Лефевр произносит панегирик Петру Первому и Елизавете, но попутно напоминает своим слушателям, что обязанность подданных вообще, чтить своих повелителей, а именно — Елизавету, Марию-Терезию и Людовика. Варьируя эту патриотическую тему на разные лады, Лефевр больше подчеркивает

политические моменты в своем выступлении, нежели касается основного предмета — развития изящных искусств в России.

Перейдя, наконец, к непосредственной теме своей речи, аббат Лефевр дает краткую характеристику Елизаветы, которая «ведет своих подданых от изумления к благодарности», и наследника, великого князя Петра, будущего Петра III, который «показывает в своем обучении образец солдата-патриота, обнаруживает



А. С. Строганов.

добродетели мудрецов и способности царей». Особенно любопытна характеристика Екатерины II, тогда еще только великой княгини, привлечь которую на свою сторону очень желала французская дипломатия: «Изящные искусства — пишет Лефевр — увидят в великой княгине вкус к литературе и искусствам, который проявляется в тех дарованиях, в тех знаниях и в том разуме, которые делают постоянным блеск государства». [30]

Но и в этой части своего «Рассуждения» Лефевр довольно скуп на конкретное изображение развития изящных наук в России. Его гораздо больше интересует «единение наших госуда-

рей», чем тема, которой он хотел занять внимание своих слушателей. Собственно характеристику развития изящных искусств в России французский автор ограничил одной страничкой. Вот она:

«Здесь в питомце [музы астрономии] Урании изящные искусства имеют поэта, философа и божественного оратора. Его мужественная душа, отважная, подобно кисти Рафаэля, с трудом снисходит к наивной любви, к изображению наслаждений, грациозного и невинного».

«Они имеют изящного писателя Гофолии [т. е. Расина] в великом человеке, который первый заставил Мельпомену говорить на вашем языке. Монима в слезах трогает нас, Цинна нас изумляет. Прелести трагического, наиболее нежного, украшают вашу сцену, а в вашем Горации заключается все величие Корнеля. Если подобная параллель способна охарактеризовать двух гениев - творцов (Quand un tel parallèle désigne deux génies — créateurs), находящихся среди вас, то, милостивые государи, нам снова остается повторить: изящные искусства обладают здесь всеми своими богатствами». [31]

Не останавливаясь на дальнейшем содержании «Discours'a» Лефевра, следует отметить лишь, что при внимательном чтении явно проступает политическая задача, проводившаяся посольским аббатом. Из рукописных примечаний Лефевра к одному экземпляру «Рассуждения» видно, что членами салона, помимо Андрея Шувалова и бар. А. С. Строганова, были еще маркиз де-Лопиталь, французский посол в Петербурге, И. И. Шувалов, вероятно, канцлер граф М. И. Воронцов и др.

Не нужно думать, что аббат Лефевр был совершенно не в курсе политических планов Шуваловых и Воронцовых. 1759—1760 гг. были самой опасной для прежних вершителей судеб России, Шуваловых и Воронцовых, порой; Елизавета была при смерти; с Петром III, наследником престола, открыто симпатизировавшим Фридриху Прусскому, и Екатериной, незадолго до этого впутавшейся в скандальную историю, походившую на государственную измену, отношения у Шуваловых и Воронцовых были плохие; в их рядах не было единодушия, и М. И. Воронцов выступил даже против гр. П. И. Шувалова; общественное же мнение, то есть мнение столичного среднего дворянства было против них; Сумароков в «Трудолюбивой пчеле» зло издевался над правящей группой, не останавливаясь перед откры-

тыми намеками, вроде эпиграммы на пожалование кому-то из очень высокопоставленных лиц австрийского ордена Золотого Руна:

Не трудно в мудреца безумца превратить,
Он вдруг начнет о всем разумно говорить;
Премудрость вышшая в великом только чине,
Нося его овца, овца в златой овчине;
Когда воздастся честь Златого ей Руна,
Тогда в премудрости прославится она. [32]

Вероятно, в «Трудолюбивой пчеле» есть и другие, недоступные уже современному читателю намеки. Факт только тот, что при подобном обостренном положении Ив. Ив. Шувалов и М. И. Воронцов, не порвавшие друг с другом, предпринимали меры к заключению союза как с Екатериной, так и поддерживавшим ее средним дворянством. Не случайно, что именно на это время приходятся попытки Шувалова примирить Ломоносова с Сумароковым. Это было не потехой знатного барина, как, со слов И. Тимковского, представляется это обычно в истории литературы, а составляло часть программы Шуваловых — Воронцовых. Повидимому, аб. Лефевр, завсегдатай петербургских салонов, был посвящен в этот план и стремился осуществить его в своем «Рассуждении».

Бар. А. С. Строганов, надо полагать, из политических соображений счел нужным напечатать брошюру Лефевра, чтобы дать ей более широкое распространение. Он вошел через акад. Г. Ф. Миллера с представлением в Академию Наук о напечатании на его счет в количестве 300 экземпляров «Речи о происхождении наук в России»; так был назван в официальной бумаге «Discours» Лефевра, имя которого в рапорте Миллера не было вовсе упомянуто. Рапорт Миллера был подан 15 марта 1760 г., [33] а через месяц, 17 апреля, Ломоносов писал И. И. Шувалову письмо, в котором касался некоторых обстоятельств, связанных с печатанием «Discours».

«Вашему высокопревосходительству довольно известно, что Александр Сергеевич весьма жалует Мюллера, который нигде не пропускает случая, чтобы какое нибудь зло против меня всеять. Того ради не удивлялся я Александра Сергеевича издавна холодности, вместо которой ко мне, для любления наук, должен был я ожидать такой горячности, какую вы оказали ко мне и его сиятельство Роман Ларионович, приехав из Москвы. Имея охоту к российским словесным наукам и к минералам, как бы можно было пренебрегать меня, если бы от Мюллера предуверение не

усилилось. К сему присовокупилось еще новое неудовольствие, что я печатать отсоветываю французскую речь не ради того, что она весьма нескладна; но для того, что учиненные в ней похвалы для России тем самым опровергаются, что он, не зная российского языка, разсуждает о российских стихотворцах и ставит тех в параллель, которые в параллеле стоять не могут. Ваше превосходительство праведно разсуждаете по его тихим поступкам, чтобы мог кого изобидить. И я сам вчерась бранным словам его не верил, пока великой перемены в глазах и во всем его лице не увидел. Всю процессию могу с вашего высокопревосходительства позволения при нем в словах представить. Я сожалею сердечно что вас принужден представлением утруждать о моей неповинности, а особливо видя из вашего письма, что вы уже моего обидчика защищаете, едва принимаю смелость послать вам сии строки. И конечно бы не послал, еслиб меня общая польза отечества не побуждала. Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы. И для того ваше высокопревосходительство всеуниженно прошу постараться, чтобы из конференции, при дворе учрежденной, дан был формуляр привилегии по прошению его сиятельства Академии наук г. президента, чего при сем копию сообщаю. Сие будет больше всех благодеяние, которые ваше высокопревосходительство мне в жизнь сделал. По окончании сего, только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низкою моею породою попрекают, видя меня как бельмо на глазе; хотя я своей чести достиг не слепым счастием, но данным мне от бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения. И хотя я от Александра Сергеевича мог бы по справедливости требовать удовольствия за такую публичную обиду; однако я уже оное имею чрез то, что притом постоянные люди сказали, чтобы я причел его молодости, и его приятель тогда же говорил, что я напрасно обижен; а больше всего тем я оправдан, что он, попрекая недворянство, сам поступил не по дворянски. И так все позабывая еще всеуниженно прошу вашим председательством для пользы учащихся россиян способствовать университетской привилегии, которая может быть и для университета несколько послужит». [34]



Титульный лист книги аббата Лефевра «Рассуждения о прогрессе изящных искусств в России».

Из настоящего письма явствует, что в перепалке между бар. А. С. Строгановым, настаивавшим на печатании речи Лефевра, и Ломоносовым, противодействовавшим этому, поэт подвергся оскорблению со стороны молодого вельможи, позволившего себе попрекать Ломоносова его «низкой породой». Совершенно в духе эпохи Ломоносов и отметил в письме к Шувалову, что «мог бы по справедливости требовать удовольствия за такую публичную обиду», иными словами, у него мелькала мысль о дуэли с оскорбителем. Если сам Ломоносов отверг мысль о дуэли, то это не значит, что он остыл к речи Лефевра. Насколько сильно он был уязвлен тем, что Лефевр «ставит тех в параллель, которые в параллеле стоять не могут», видно из сохранившегося в бумагах Ломоносова «примечания», хотя писанного и не его рукой, но имеющего его поправку и несомненно принадлежащего ему.

Примечание. Quand un tel parallèle désigne deux génies créateurs Génie créateur перевел в свои трагедии из французских стихотворцев, что ни есть хорошее, кусками, с великим множеством несносных погрешностей в российском языке, и оные сшивал еще гаже своими мыслями. Génie créateur! Стихотворение принял сперва развращенное от Тредиаковского и на присланные из Фрейберга сродные нашему языку и свойственные написал ругательную эпиграмму. Однако после им же последовал и писал по ним все свои трагедии и другие стихи. Genie créateur! Действиям учил Мелиссино; а он только вздорил и всегда представлял в комедиях комедии. Génie créateur! Директорство российского театра вел так чиновно, что за многие мечтательные его неудовольствия и неистовые наглости лишен полной прежней команды. Génie créateur! Сколько ни жилился летать одами, выбирая из других российских сочинений слова и мысли и хотя их превысить, однако толь же счастлив был как Икар. Génie créateur! Новое изобретение выдумал Пчелку и посылал ее по мед на стрелку, чтобы при том жалила подьячих. Изрядный нашел способ в крапиву испражняться, Génie créateur! Сочинял любовные песни и тем весьма счастлив, для того что вся молодежь, то есть пажи, коллежские юнкера, кадеты и гвардии капралы так ему и следуют, что он перед многими из них сам на ученика их походит. Génie créateur! [35]

«Примечание» это представляет ценный материал для суждений об отношении Ломоносова в начале 60 гг. XVIII в. к Сумарокову, а также для биографии Сумарокова. В частности, одно выражение в этом «Примечании» может служить доказательством принадлежности Ломоносову «Эпитафии Пчелке».

Выше было упомянуто, что Ломоносов любил превращать в сатирические стихи свои прозаические остроты и колкости

по адресу литературных противников. Если всмотреться в строчку: «новое изобретение выдумал Пчелку и посылал ее по мед на стрелку, чтобы притом жалила подьячих», то станет совершенно очевидно, что стихи

Под сею кочкою оплачь, прохожий, Пчелку,
Что не ленилася по мед летать на стрелку,

являются только ритмическим переложением первой. Что именно так обстояло дело, видно еще из того, что «Примечание» Ломоносова дает правильное чтение «по мед на стрелку» вместо «в подлиот летать на стрелку», как встречается в «Казанском сборнике» и сборнике Л. Б. Модзалевского.

«Примечание» было вызвано, как указано в самом его тексте, фразою Лефевра: «Quand un tel parallèle désigne deux génies créateurs...» («Когда подобная параллель обрисовывает двух творческих гениев»). Но самое удивительное, однако, то, что в «Discours sur le progrès des beaux arts en Russie» Лефевра, экземпляры которого имеются в Публичной библиотеке (Ленинград), в Библиотеке Академии Наук и Библиотеке ГАФКЭ (Москва), этой фразы нет. Из сказанного, однако, не следует, что ее не было. Дело обстояло несколько сложнее, чем это могло показаться, и причины исчезновения фатальной фразы могут быть отчасти выяснены из письма аббата Лефевра к Сумарокову, которое в невполне исправной копии сохранилось в «портфелях» Миллера.

Вот это письмо в переводе:

Милостивый государь!

Имею честь представить Вам экземпляр маленького сочинения, которое было продиктовано более чувством, чем красноречием. Великие добродетели вашей августейшей повелительницы, которые я осмеливаюсь начертать здесь, справедливость, которую воздает здесь по достоинству вашему заслуживающему почтения народу иноземец, и похвала, которая произносится здесь в честь вашего просвещения, должны были бы, милостивый государь, снискать мне благосклонность со стороны ваших сограждан, писателей вашей страны, снисхождение, но не происки, внимание, а не интриги. Откровенно говорю, что не преследую никаких целей, что я поклонник Елизаветы. Это естественно должно было бы создать мне соперников, но не врагов.

История не повествует нам о том, что те, кто осмелился приняться за писание портрета Александра, подверглись избиению камнями на том только основании, что портрет, нарисованный Апеллесом, оказался вполне удачным. Несмотря на существование Панегирика Траяну, в Риме не вменялось в вину сердцу, проникнутому желанием счастья отечеству,

изображение, после Плиния, как добродетелей императора, так и признательности подданных. Если художник был римлянин, то труд его представлял исполнение долга и дань почтительного уважения; произведения же иноземцев, еще лучше принятые, становились трофеями во славу государства.

Рим, соперник Афин в делах благопристойности и соревнования, просто предпочел бы картину величайшего мастера, не охуждая опытов доброго гражданина, в особенности, если перо его или кисть имели предметом благость богов, добродетели трона и любовь к роду человеческому.

Мне сообщили, милостивый государь, что у вас есть враг в лице одного писателя, члена вашей Академии, который в приступе исступления, раздосадованный той справедливостью, которую я слишком слабо воздаю Вам в своем посредственном труде, хотел уничтожить произведение, его автора и похвалу, произносимую в нем самой истиной в честь ваших талантов. Я узнал, что он, подобно тому как ваши казаки нападают на отряд пруссаков, обрушась на издание моей книги, с яростью разбил набор (a cassé la planche) и уничтожил гранки.

Увы! Милостивый государь, если бы я мог оказаться нескромным и на мгновение забыться, я сказал бы Вам, что те художники не принадлежат к числу лучших, которые уродовали шедевры Ле Сюэра, но я знаю всю свою недостаточность, и оружие, которое предоставлено было бы ядовитой критике выходками мудреца, который был не прочь считаться очень мудрым, не должно было бы сделать меня надменным, но закрыть мне глаза на настоящее достоинство философа, в самом деле несколько грубоватого (bourru); глаза у меня открыты на прекраснейшего гения, на вас, милостивый государь, чьи бессмертные произведения защищены от разбоя солдатчины (des hussards). Продолжайте прославлять свое отечество интересными произведениями, ведь Вы создатель его театра.

Читая мое рассуждение, если Вы окажете ему эту милость, Вы увидите, что маленькая невежливая выходка вашего лирика не изменяет нисколько моего суждения о его знаниях, о которых я говорю с небольшой гиперболичностью и с большой вежливостью.

Это напомнит Вам милостивый государь, что Помпоний Аттик отзывался хорошо о Помпее, хотя он принадлежал к партии Цезаря, а Цезарь и Помпей не любили один другого. Нынешний Помпей, не осмеливаясь напасть на Цезаря, выместил свою злость на друге диктатора

Имею честь быть и т. д. [36].

Письмо Лефевра свидетельствует о том, что набор «Discours'a» и первые оттиски его были уничтожены Ломоносовым. Едва ли есть основания усомниться в сообщаемом факте. Дело в том, что в том же «портфеле» Миллера сохранился единственный корректурный оттиск речи Лефевра, с собственноручными пометками Миллера и исправлениями и примечаниями Лефевра, и этот корректурный экземпляр резко отличается от обычного издания «Discours'a» [37]:

1) он отпечатан в 4°, а обычное издание в 16°;

2) набран он другим шрифтом;

3) расходится во многих случаях орфография, вольтеровская в корректуре и старинная в обычном тиснении;

4) имеются некоторые редакционные изменения текста;

5) в корректурном экземпляре есть фраза: «Quand un tel parallèle désigne deux génies-créateurs».

Таким образом, явствует из изложенного, что, несмотря на уничтожение Ломоносовым набора и оттисков, «Discours» Лефевра все же был напечатан, к торжеству Сумарокова и к неудовольствию Ломоносова.

В письме своем к И. И. Шувалову от 17 апреля 1760 г. Ломоносов писал по поводу А. С. Строганова, что «его приятель тогда же говорил, что я напрасно обижен».[38] Приятель, Строганова — это гр. А. П. Шувалов. Едва ли входивший во все детали политики своих родственников, стремившихся из тактических соображений помирить Ломоносова с Сумароковым, А. П. Шувалов прочитал в мае 1760 г. в своем салоне, на заседании франко-русского литературного общества, любопытную речь, которая была затем прислана каким-то французом, может быть, воспитателем Шувалова, акад. Ле-Руа,[39] а может быть, жившим в доме его родителей бар. Чуди (шевалье де-Люсси)[40] — Фрерону, издателю L'Année littéraire, где она и была помещена под заглавием «Lettre d'un jeune seigneur russe à M. de ***».

Вот эта речь А. П. Шувалова:

Вы спрашиваете, милостивый государь, мое мнение о двух русских поэтах, украшающих мою родину. Вы хотите знать их дарование и красоты; не легко удовлетворить вас и оценить достоинства Ломоносова и Сумарокова (Somarocof) достойных того, чтобы их знало потомство.

Ломоносов — гений творческий (génie créateur); он отец нашей поэзии; он первый пытался вступить на путь, который до него никто не открывал, и имел смелость слагать рифмы на языке, который, казалось, весьма неблагодарный материал для стихотворства; он первый устранил все препятствия, которые, мнилось, должны были его остановить; он первый испытал торжество над той досадой, которую ощущают писатели-новаторы, и не руководствуемый никем, кроме собственного дарования, преуспел, вопреки нашим ожиданиям. Он открыл нам красоты и богатства нашего языка, дал нам почувствовать его гармонию, обнаружил его прелесть и устранил его грубость.

Избранный им жанр наиболее трудный, требующий поэта совершенного и дарование разностороннее; это — лирика. Нужны были все его

таланты, чтобы в этом отличиться. Почти всегда равен он Руссо [41] и его с полным правом можно назвать соперником последнего. Мысли свои он выражает с захватывающей читателей порывистостью; его пламенное воображение представляет ему объекты, воспроизводимые им с тою же быстротой; живопись его велика, величественна, поражающа, иногда гигантского характера; поэзия его благородна, блестяща, возвышенна, но часто жестка и надута. Иногда он приносит гармонию стиля в жертву силе выражения; он отступает от своего предмета, почти всегда подымается над своей сферой и полагается на пылкость своего воображения.

Он велик, когда нужно изобразить избиение и ужасы сражений, когда нужно описать ярость, отчаяние сражающихся, когда нужно нарисовать гнев богов, их кары, которыми они нас наказывают, и бедствия, разоряющие землю; словом, все, что требует силы и энтузиазма, его гений передает с огнем Ода его о шведской войне — шедевр, который обессмертит его; здесь поэт проявляется во всей своей силе.

Чтобы дать вам понятие о его красотах, я переведу несколько строф недостатки моего перевода вы извините в виду невозможности подражать великолепию поэта; вы не будете судить подлинник по слабости копий, вы хорошо знаете, сколько теряют в переводе даже лучшие произведения. В том месте, где он говорит о победе, одержанной нами над шведами, он выражается в следующей форме:

Всяк мнит, что равен он Алкиду,
И что Немейским львом покрыт,
Или ужасную Егиду
Нося, врагов своих страшит;
Пронзает, рвет и рассекает,
Противных силу презирает.
Смесившись с прахом, кровь кипит;
Здесь шлем с главой, там труп лежит,
Там меч с рукой отбит валится,
Коль злоба жестоко казнится.

В 21-й строфе 4-й оды, говоря об открытии рудников, обогативших наше государство, он обращается к нашей августейшей повелительнице:

И се Минерва ударяет
В верьхи Рифейски копием,
Сребро и злато истекает
Во всем наследии твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что Россам в руки предается
Драгой металл его из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Он мрачный отвращает взор.

В следущей строфе он обращается к своим согражданам:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих.
О ваши дни благословенны,
Дерзайте ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля раждать.

В 24-й строфе он доказывает пользу наук:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В щастливой жизни украшают,
В нещастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха,
И в дальних странствах не помеха,
Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и на едине,
В покое сладки и в труде.

Этот слабый перевод дает нам лишь очень неопределенную идею о красоте нашего поэта; но он показывает вам, по крайней мере, идеи поэта и парение его гения.

К сожалению, к столь разнообразным талантам примешивается недостаток, искажающий порою его стихи и низводящий их с той ступени совершенства, которую они могли бы достичь: это—отсутствие нежности, той стороны поэзии, которая требует вкуса и тонкости и которая в наибольшей степени украшает произведение. Он, кажется, совершенно не признает искусства говорить к сердцу, характеризовать любовь и изображать чувство; способный чертить мужественные штрихи, он слаб при изображении трогательного; оттенки ускользают от него, они, кажется, убегают из-под его кисти, и, желая стать более нежным, он становится холодным, утомительным и однообразным. Но ему должно простить то, чего ему недостает, во имя того, чем он обладает; малейшего из блестящих его свойств довольно, чтобы подтвердить это; и кто же мог бы вообще отличиться во всех родах!

К славе великого поэта он присоединяет звание удачного прозаика; его похвальная речь Петру Великому—бессмертное произведение, приносящее за раз похвалу и герою и автору. Мужественное, возвышенное красноречие в этой речи беспредельно; без труда обнаруживается тут гений возвышенный, всегда стоящий выше того, что он предпринимает.

Что касается Сумарокова, то он отличился в совершенно ином роде, именно, драматическом. Он первый открыл нам красоты этого жанра: лишенный творческого дарования (privé d'un génie créateur), он умеет с ловкостью подражать; неспособный поднятся до Корнеля, он избрал в образец Расина; живость его мысли дополняется сухостью его воображения; все сюжеты его нежны; любовь рассматривает он с несравненной тонкостью;

он выражает это чувство во всей его утонченности; чувство он рисует с такой правдивостью, что поневоле удивляешься, и такими красками, которые кажутся взятыми из самой природы. Его завязки остроумны, характерны, хорошо обработаны, стиль его цветист и изящен; он умеет трогать нашу чувствительность и увлекать наше сердце. Это Рубенс любви. Патетическое господствует во всех его произведениях, в них царит чувство, сладостная гармония их украшает.

Но его можно упрекнуть в копировке недостатков своего образца, в подражании ему даже в слабостях, в том, что любовь он делает центром своих трагедий и портит их мелкими интригами, перегружая излишними эпизодами. Вот, милостивый государь, суждение, которое я дерзаю высказать о двух писателях, наделенных природой редкими дарованиями и делающими честь своему отечеству; произведения их показывают, что эта почва вовсе не враждебна трудам муз и способна производить цветы и плоды поэзии.

Имею честь и прочее.

С-Петербург, 15 мая 1760 г. [42]

Итак, «Письмо молодого русского вельможи» ставило себе целью, во 1) показать что Ломоносов — творческий гений (génie créateur), а Сумароков, — хотя и лишен творческого гения (privé d'un génie créateur), тоже очень крупный писатель; во 2), — и это очень важно отметить, — демонстрировать европейскому читателю, что Россия представляет собой не только физическую силу, но и является вполне достойным союзником культурной Франции, чему доказательством служат Ломоносов и Сумароков, русские Корнель и Расин. То обстоятельство, что «Discours» Лефевра был напечатан на французском языке, определило и язык письма А. П. Шувалова.

Сумароков, узнав об этой статье, был, конечно, разъярен, но истолковал это «письмо» по-своему. Сторонник Разумовских, то-есть, Екатерины, идеолог среднего культурного дворянства, он не пошел на компромисс с Шуваловыми. В «письме» А. П. Шувалова он и видел отместку за свое постоянство Разумовским. Об этом он писал через десять лет Екатерине. Вспомнив по одному поводу Шуваловых, он прибавляет:

«Но я на Шуваловых не ссылался, ибо отец его, мать, брат и он сам мои злодеи; те были за то особливо, что они хотели меня сделать себе противу графа Разумовского злодеем, да и еще за многое, чево я напоминать не хочу, ибо и усердие мое к особе...

Но я то оставляю, а Андрей Петрович предо всею Европою в разных местах меня ругал». [43]

Впрочем, едва ли был прав Сумароков, считая, что А. П. Шувалов «ругал его предо всею Европою» именно за то, что он не хотел сделаться «противу графа Разумовского злодеем». Но в основном он верно указывал Екатерине, что Шуваловы стремились привлечь его на свою сторону.

Отыскать сведения о том, как относились за границей к «Discours'у» Лефевра и «письму» Шувалова, не удалось. Но для истории литературной полемики ломоносовского времени эти ненайденные данные едва ли представят большой интерес, — они явятся материалом боковым, а не основным, к которому исследование должно обращаться в первую очередь.

В то самое время, как Ломоносов волновался из-за речи аббата Лефевра, Сумароков, незадолго перед тем публично прощавшийся с музами и заявлявший:

Прощайте музы на всегда
Я более писать не буду никогда, [44]

вновь возобновил свою литературную деятельность. В журнале «Праздное время в пользу употребленное», в листе от 4 марта, была помещена серия новых произведений Сумарокова, в том числе притча: «Осел во львовой коже».

Осел одетый в кожу львову,
Надев обнову,
Гордиться стал,
И будто Геркулес под онюю блистал.
Да как сокровища такие собирают?
Мне сказано и львы как кошки умирают,
И кожи с них здирают.
Когда преставится свирепый лев;
Не страшен левий зев,
И гнев;
А против смерти нет на свете обороны;
Лишь только не такой по смерти львам обряд·
Нас черви как умрем ядят,
А львов ядят вороны.
Каков стал горд осел, на что о том болтать?
Легохонько то можно испытать,
Когда мы взглянем,
На мужика,
И почитати станем
Мы в нем откупщика,
Который продавал подовые на рынке,
Или у кабака,
И после в скрынке

Богатства у нево великая река,
Или ясней сказать, и Волга и Ока,
Который всем теснит бока,
И плавает как муха в крынке,
В пространном море молока,
Или когда в чести увидишь дурака,
Или в чину урода,
Из сама подла рода,
Которого пахать произвела природа.
Ворчал,
Мычал,
Рычал,
Кричал,
На всех сердился:
Великий Александр только не гордился.
Таков стал наш Осел:
Казалося ему что он судьею сел.
Пошли поклоны лести,
И об Осле везде похвальны вести:
Разнесся страх,
И все перед Ослом земной лишь только прах,
Недели в две, поклоны
Перед Ослом,
Не стали тысячи, да стали миллионы,
Числом:
А все из далека поклоны те творятся,
Прогневавшие льва не скоро помирятся;
Так долг твердит уму:
Не подходи к нему.
Лисица говорит: хоть лев и дюж детина,
Однако вить и он такая же скотина;
Так можно подойти и милости искать:
А я то ведаю как надобно ласкать.
Пришла и милости просила,
До самых до небес тварь подлу возносила,
Но вдруг увидела, все лести те пропев,
Что то Осел не лев:
Лисица зароптала,
Что, вместо льва, Осла всем сердцем почитала. [45]

Акад. Пекарский писал по поводу притчи Сумарокова следующее: «В те времена число писателей было весьма незначительно, а потому не удивительно, что тот из них, который, будучи рожден во крестьянстве, достиг чина коллежского советника и притом не столько отличался миролюбивым нравом, сколько высоким о себе мнением, тот должен был принять на свой счет изображение осла в львиной коже. Под лисою, быть может,

Сумароков разумел самого себя».[46] Хотя не совсем понятно, почему осел оказался именно писателем в комментарии П. П. Пекарского, но несомненно, что Ломоносов принял притчу Сумарокова на свой счет и ответил на нее в свою очередь притчей «Свинья в лисьей коже»:

Надела на себя
Свинья
Лисицы кожу,
Кривляла рожу,
Моргала,
Тащила длинный хвост, и как лиса ступала;
И так во всем она с лисицей сходна стала.
Догадки лишь одной свинье недостает:
Натура смысла всем свиньям не подает.
Но где могла свинья лисицы кожу взять,
Не трудно то сказать.
Лисица всем зверям подобно умирает,
Когда она себе найтить, где есть, не знает.
От глада и людей на свете много мрут,
А паче те, кто врут.
Таким от рока суд бывает,
Он хлеб их отнимает,
И путь их ко вранью тем вечно пресекает.
В наряде сем везде пошла свинья бродить
И стала всех бранить.
Лисицам всем прямым ругаясь говорила:
Натура де меня одну лисой родила,
А вы де все ноги не стоите моей,
Затем что родились от подлых вы свиней.
Теперя в гости я сидеть ко льву сбираюсь,
Лишь с ним я повидаюсь,
Ему я буду друг,
Не делая услуг.
Он будет сам стоять, а я у него лягу.
Неужто он меня так примет как бродягу?
Дорогою свинья вела с собою речь:
«Не думаю, чтоб лев позволил мне там лечь,
Где все пред ним стоят знатнейши света звери;
Однако в те же двери
И я к нему войду.
Я стану перед ним, как знатный зверь, в виду».
Пришла пред льва свинья, и милости просила,
Хоть тварь была подла, но много говорила,
Однако все врала,
И с глупости она ослом льва назвала.
Не вшел тем лев
Во гнев.

С презреньем на нее он глядя, разсмеялся.
И так ей говорил:
«Я мало бы тужил,
Когда б с тобой, свинья, вовек я не видался,
Тотчас узнал то я,
Что ты свинья,
Так тщетно тщилась ты лисою подбегать,
Чтоб врать.
Родился я во свет не для свиных поклонов;
Я не страшуся громов.
Нет в свете сем того, чтоб мой смутило дух.
Была б ты не свинья,
Так знала бы, кто я,
И знала б, обо мне какой свет носит слух».
Свинье не удалось: пред львом не полежала,
Пошла домой с стыдом, но идучи роптала,
Ворчала,
Мычала,
Кричала,
Визжала,
И в ярости себя стократно проклинала;
Потом сказала:
«Зачем меня несло со львами спознаваться,
Когда мне рок велел в грязи всегда валяться». [47]

Ломоносовская притча была, насколько можно судить по сохранившимся данным, последним полемическим произведением поэта. Он, повидимому, не счел даже нужным печатать ее, и она дошла до нашего времени в ряде списков, аттрибутируемая чаще всего не ему, а поэту Мамонову, что, как доказано акад. М. И. Сухомлиновым, совсем не верно. [48] К аргументам Сухомлинова можно прибавить еще, что, поскольку во многих рукописях подписи давались не полностью, то описка в первой букве фамилии Ломоносова, при сокращенном написании первых двух слогов — Момон., вместо Ломон., — могла дать чтение Мамонов.

В конце того же 1760 г. вышла из печати первая песнь поэмы Ломоносова «Петр Великий». В посвящении поэмы И. И. Шувалову Ломоносов писал:

В разборе убежден о правоте твоей,
Пренебрегаю злых роптание людей. [49]

Поэт как бы предчувствовал, что ему не обойтись без нападков своего постоянного антагониста. Действительно, Сумароков не замедлил откликнуться на поэму Ломоносова колкой эпитафией:

Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер,
Который пел, не знав галиматии мер;
Великого воспеть он мужа устремился:
Отважился, дерзнул, запел, а осрамился,
Оставив по себе потомству вечный смех.
Он море обещал, а вылилася лужа.
Прохожий! Возгласи к душе им пета мужа:
Великая душа, прости вралю сей грех. [50]

Но эта «эпитафия» не была почему-то напечатана при жизни Сумарокова. Однако, по не совсем понятным причинам, через два с лишним года он вновь вспомнил Ломоносовскую поэму и поместил в журнале М. М. Хераскова «Свободные часы» притчу «Обезьяна стихотворец», в которой, использовав обыгранную уже однажды Тредиаковским опечатку в первой оде Ломоносова, стал издеваться над «громким лириком»:

Пришла Кастальских вод напиться обезьяна,
Которые она Кастильскими звала,
И мыслила сих вод напившися до пьяна,
Что, вместо Греции, в Ишпании была,
И стала петь Гомеру подражая,
Величество своей души изображая;
Но как ей петь,
Высоки мысли ей удобно ли иметь.
К делам которые она тогда гласила,
Мала сей твари сила:
Нет мыслей; за слова приняться надлежит:
Вселенная дрожит,
Во громы громы бьют, стремятся тучи в тучи,
Гиганты холмиков на небо мечут кучи,
Горам дает она толчки.
Зевес надел очки,
И ноздри раздувает,
Зря пухлого певца,
И хочет истребить до нещадно конца,
Пустых речей творца,
Который дерзостно Героев воспевает;
Однако разсмотрев что то не человек,
Но обезьяна горделива,
Смеяся говорил: не мнил во весь я век:
Сему подобного сыскать на свете дива. [51]

Эта пошлая и неостроумная притча была последней лептой, внесенной Сумароковым в долголетнюю полемику с Ломоносовым.

Как отмечено было выше, Ломоносов отстранялся от дальнейшей полемики с Сумароковым. А. И. И. Шувалов все еще не терял надежды примирить врагов и привлечь на свою сторону Сумарокова, продолжавшего в «Праздном времени с пользою употребленном» и в «Полезном увеселении» литературную борьбу с Шуваловыми. Однажды, после очередной и, вероятно, последней попытки примирить Сумарокова и Ломоносова, Шувалов получил от последнего знаменитое письмо:

«Никто в жизни меня больше не изобидел, как ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня сегодня к себе. Я думал может быть какое нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. [52] Вы меня отозвали и тем поманили. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! т. е. сделай смех и позор! Свяжись с таким человеком, от коего все бегают, и вы сами не ради. Свяжись с тем человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит, и бедное свое рифмичество выше всего человеческого знания ставит. Тауберта и Мюллера для того только бранит, что не печатают его сочинений, а не ради общей пользы. Я забываю все озлобления и мстить не хочу никоим образом, и Бог мне не дал злобного сердца. Только дружиться и обходиться с ним никоим образом не могу, испытав чрез многие случаи и зная, каково в крапиву... Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание, только вас уверяю, что в последний раз. И, ежели, несмотря на мое усердие, будете гневаться, я полагаюсь на помощь всевышнего, который был мне в жизни защитник, и никогда не оставил, когда я пролил перед ним слезы в моей справедливости. Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отчеству спомоществованием в науках, можете лутчие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю. И только у господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Буде он человек знающей, искусной, пускай делает пользу отечеству Я по моему малому таланту также готов стараться. А с таким человеком обхождения иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без всякия страсти ныне вам представляю. Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет. Г. Сумароков, привязавшись ко мне на час, столько всякого вздору наговорил, что на весь мой век станет, и рад, что его бог от меня унес. По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всех компаний, жена и дочь моя привыкли сидеть дома и не желают с комедиянтами обхождения. Я пустой болтни и самохвальства не люблю слышать. И по сие время ужились мы в единодушии. Теперь по вашему миротворству должны мы вступить в новую дурную атмосферу. Ежели вам любезно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти — постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы оте-

чества прошениях, а о примирении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте... [53]

Этим письмом можно завершить рассмотрение полемики ломоносовского времени. Не случайно кончается эта полемика именно к этой поре.

С начала шестидесятых годов Ломоносов и Сумароков, в особенности первый, перестают играть активную роль в современной им литературе. В январской книжке журнала «Полезное увеселение» за 1760 г., издававшегося М. М. Херасковым при Московском университете, была напечатана «Ода господина Русо, Fortune, de qui la main couronne, переведенная Г. Сумароковым и Г. Ломоносовым». «Любители и знающие словесные науки, — гласит редакционный подзаголовок, — могут сами, по разному сих обеих Пиитов свойству, каждого перевод узнать». [54]

Это литературное состязание должно было явиться как бы апелляцией к молодому поколению поэтов. Г. А. Гуковский, исследуя этот вопрос, пришел к выводу, что мнение литературной дворянской молодежи, группировавшейся вокруг Хераскова, было решительно против Ломоносова и не менее решительно в пользу Сумарокова. [55] Однако, не следует упускать из виду того, что в своем «Письме», помещенном в «Полезном увеселении» за декабрь того же 1760 г., Херасков говорит и о Сумарокове и о Ломоносове как о явлении прошлого. Обращаясь к молодому поэту, Херасков пишет:

Ты пением своим невеж увеселишь,
И грубость их сердец как Амфион, смягчишь:
Когда так станеш петь, для утешенья Россов
Как Сумароков пел, и так как Ломоносов,
Великие творцы, отечеству хвала
И праведную честь им слава воздала. [56]

Эти одинаковые комплименты двум представителям старшего поколения, стоявшим на разных флангах дворянской литературы, со стороны более молодого Хераскова могут быть правильно поняты только тогда, когда всмотреться, во-первых, в стих «невеж увеселишь» и, во-вторых, обратить внимание на прошедшее время: «Сумароков пел». Иными словами, не для «невеж», для образованного, культурного, т. е., по тому времени, дворянского читателя нужны уже не Сумароковы и Ломоносовы, а новые поэты, новые темы, новое содержание.

И Ломоносов и Сумароков делались пройденным этапом дворянской литературы.

(1)

Милостивый Государь Иван Иванович

Никто въ жизни меня больше не изобидѣлъ, какъ
ваше высокопревосходительство. Призвали вы
меня сегодня къ себѣ. Я думалъ, может
быть, какое нибудь обрадование будетъ по моимъ
справедливымъ прошениямъ. вы меня отозвали и
тѣмъ поманили. вдругъ слышу: помирись съ
Сумароковымъ! то есть сдѣлай смѣхъ и позоръ,
свяжись съ такимъ человѣкомъ, отъ коего все бѣгаютъ,
и вы сами не ради. Свяжись с тѣмъ человѣкомъ,
которой ничего другова не говоритъ, какъ только
всѣхъ бранитъ, себя хвалитъ, и бедное свое

Письмо Ломоносова к И. И. Шувалову от 19 января 1761 г. (1-я страница).
(Архив Академии Наук СССР)

Рифмачество выше всего человеческого знания ставит.
Тауберта и Миллера для того только бранит,
что не печатают его сочинений; а не ради общей пол[ьзы].
Я забываю все его озлобления и мстить не хочу никоим
образом, и бог мне не дал злобного сердца. Только друж-
иться и обходиться с ним никоим образом не могу, испы-
тав многие случаи, и зная каково в крапиву....
Не хотя вас оскорбить отказом при многих ка-
валерах показал я вам послушание; только
вас уверяю, что в последний раз. И ежели несм-
отря на мое усердие будете гневаться, я по-
лагаюсь на помощь всевышнего, который
мне был в жизни защитник, и никогда
не оставил, когда я пролил пред ним слезы
в моей справедливости. Ваше высокопревосходи-
тельство имея ныне случай служить
отечеству спомоществованием в науках
можете лучше дела производить, нежели
мне вредить с Сумароковым. Зла ему не же[лаю]

2-я страница письма Ломоносова к И. И. Шувалову от 19 января 1761 г.

мстить за обиды и не думаю. И только у Бога прошу,
чтобы мне с ним не знаться. Буде он человек
знающий, искусный, пускай делает пользу отечеству.
Я по моему малому таланту также готов
стараться. А с таким человеком обхождения иметь
не могу и не хочу, который все прочие знания позо-
рит, которых и духу не смыслит. И сие есть
истинное мое мнение, кое без всякия
страсти ныне вам представляю. Не токмо у стола
знатных господ или у каких земных владетелей дураком
быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который
мне дал смысл, пока разве отнимет. Г. Н.
Сумароков, привязавшись ко мне на час,
столько всякого вздору наговорил, что на весь мой
век станет, и рад, что его Бог от меня унес.
По разным наукам у меня столько дела, что я от-
казался от всех компаний; жена и дочь
моя привыкли сидеть дома, и не желают с
комедиантами обхождения. Я пустой болтни и
самохвальства слышать не хочу. И посему

3-я страница письма Ломоносова к И. И. Шувалову от 19 января 1761 г.

время удалился мне от единоборства. Теперь
[illegible]
в новую дорогу [illegible]. Есть ли вам
полезно распространение наук в России,
есть ли мое к ним усердие не исчезло в таких
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
с должным высокопочитанием пребываю

Вашего высокопревосходительства

1761 года
Генваря 19 дня.

Усерднейший и покорнейший слуга
Михайло Ломоносов

4-я страница письма Ломоносова к И. И. Шувалову от 19 января 1761 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ ЛОМОНОСОВА

Царствование Екатерины, ставленницы среднего дворянства, было решительно неблагоприятно для Ломоносова. Он не только не был «взыскан милостями» новой императрицы, но даже испытал явное унижение: в то время, как Сумароков, хотя и не осуществивший своего плана — стать поэтическим выразителем правительственного курса, — был первым поименован в подписанном Екатериной в день коронации указе и пожалован из бригадиров в статские советники, Ломоносов был 2 мая 1763 г. уволен «в вечную от службы отставку», правда, тоже с производством в статские советники. Впрочем, через несколько дней указ этот был аннулирован Екатериной. Тем не менее, песня Ломоносова была спета. Он пишет еще изредка оды, сочиняет «слова» и прочее, но для русской поэзии шестидесятых годов он прошлое, а не настоящее. Он сдает даже свои позиции: в произведениях последних лет жизни Ломоносова отмечается влияние сумароковской практики. [1]

В 1765 г. Ломоносов умирает. Смерть его не вызывает среди тогдашних поэтов почти никакого отклика. Только два малозаметных поэта из разночинцев почтили своего собрата «надгробными» надписями и песнями: это старый последователь Ломоносова — Иван Голеневский и затем молодой лингвист и поэт Лука Сичкарев.

Эпитафия, сочиненная Голеневским, представляет большой интерес, как своего рода критическая оценка деятельности Ломоносова с точки зрения такого же разночинца, каким был он сам:

Здесь Ломоносов спит, но кто его возбудит?
Труба! в последний день, когда на всех вострубит.
Преславный сей пиит, судьбою был нам дан,
И лаврами похвал, прекрасно увенчан.
Россия, римска в нем, Горациа имела
И в красноречии, в нем Цицерона зрела,

Так Муза мнит о нем, взносясь на высоту,
Что будто в наш язык, влиял он красоту.
Когда бы мы его, на свете не имели
Тоб сладких од еще, по ныне бы не пели,
К Российской похвале, в честь лирою гремел
И мысльми с Пиндаром, до облаков летел;
Он первый, может был, да и последний будет
Камена * никогда, его не позабудет.
Науками любим, трудом обогащен
В число писателей, великих есть вмещен.
Отечество свое, украсил он, талантом
Как бисером драгим, или адамантом;
Завистливый от нас, его похитил рок
И заключил на век, в гроб темный и глубок.
С болезнию сердец, тебя воспоминаем,
Гробницу зря твою, слезами орошаем! [2]

Отзыв Голеневского, заурядного поэта—современника Ломоносова, имеет тем большее значение, что автор эпитафии не был фанатическим учеником Ломоносова; наоборот, он не отличался последовательностью в своем творчестве и подражал то Ломоносову, то Сумарокову, после смерти которого тоже составил эпитафию, правда, более риторическую по содержанию. Вспомнил Голеневский Ломоносова еще раз в своей «Оде на день рождения Екатерины» (1766); Голеневский так обращается к мертвому поэту:

Сном вечным мужу восхищенный,
Проснись, и ободри Парнасс!
Похвал что носит лавр зеленый
Подвигни лирою Кавказ;
К сугубой радости сей Россов
Пиит наш сладкий Ломоносов
Взыграй приятностию струн;
В пример последуя Орфею
Плененному шуметь Борею
Претит Юпитеров перун. [3]

«Надгробная песнь» Луки Сичкарева, [4] одного из поздних последователей Ломоносова, представляет небольшую лирическую поэму около 170 стихов. Автор считает себя счастливым тем,

Что промысл мне в твоем (= Ломоносова) смотреньи
быть судил.
Сколь часто ты давал полезный мне совет,

* Муза незабвения.

Каким путем нти в ученой должно свет,
Незрелых лавров ты моих не презирал,
И как спешить в муз храм, ты верно мне сказал.

Переходя затем к изображению печали Парнаса, Феба и Муз по случаю смерти Ломоносова, Сичкарев расчленяет рефреном

Воспой печальные стихи, моя свирель

отдельные самостоятельные отрывки поэмы. Парнас весь покрылся горестью, прекрасный зеленый лавр увядает по холмам, журчащих чистых струй остановился ток.

Воспой печальные стихи, моя свирель.

Аполлон горько сетует о смерти Ломоносова, он воссылает Зевсу жалобы и упреки.

Я чаял чрез его мою здесь славу зреть,
Но се плачевная его постигла смерть.
И так когда идет во гроб мой Соломон,
Пущай и я во век не буду Аполлон.

Он отказывается от поэзии, от искусств и хочет удалиться в Елисейские поля, чтобы «стократно лобызать тень» Ломоносова.

Воспой печальные стихи, моя свирель.

Муза лирической поэзии, Полигимния, говорит: бодрый Гомер уснул на веки; высокой мыслию парящий вверх Пиндар сражен смертным ударом;

Я чаяла тобой слог Россов в слове зреть,
Но есть ли смертной уж тебя постигнул час
Умолкнет и моей на век свирели глас...
Воспой печальные стихи, моя свирель.

Муза истории Клио, или, как пишет Сичкарев, Клиона рекла:

Как ты увял! Марон любезный мой,
Я Россов действия зреть чаяла тобой.

Я надеялась, — говорит она,

Что в слоге все красы мои узрю твоем...
Воспой печальные стихи, моя свирель.

Сама богиня мудрости Паллада в отчаянии от смерти Ломоносова. С упреками обращается она к Зевсу: Того ли я ждала от тебя, родитель мой? Любимый мой герой лежит здесь повержен.

Я чаяла мою им славу показать
И в свете чрез его Россиян оправдать,
Сколь превосходные сияют в них умы,
Когда Кастальские омоют их струи.

Паллада укоряет Зевса:

Зачем так с смертными изволишь ты играть?
Таких бы ты мужей, иль в свет уж не давал
Иль давши с оного их никогда небрал.

Далее Сичкарев продолжает «Надгробную песнь» от своего имени. Он сравнивает Ломоносова с Соломоном, Орфеем, Цицероном, Невтоном и заканчивает поэму стихом:

Прости навеки ты, Российский Соломон! [5]

Как ни беспомощна, неуклюжа и просто жалка поэма Сичкарева, ей нельзя отказать в неподдельной искренности и, тем самым, отнять от нее значение свидетельства об отношении известной части русского общества, — разночинцев, обслуживавших дворянское государство, — к своему великому собрату.

Не случайно, конечно, и то обстоятельство, что в «Трутне», журнале молодого Н. И. Новикова, считавшего себя в те годы (конец 1760 — начало 1770 гг.) выразителем интересов «среднего рода людей», была помещена «присланная от неизвестной особы»

Надгробная

Под камнем сим лежит певец преславный Россов
Гомеру, Пиндару подобный Ломоносов:
Епическим стихом прехвально возгремел
Великого Петра число великих дел,
И к удивлению всего пространна света,
Воспета лирою его Елисавета:
Но к сожаленью смерть тогда ево взяла
Когдаб свидетелем он был гремящей славы
Премудрой матери Российския державы,
И воспевал ея божественны дела. [6]

Все приведенные факты говорят об отношении к смерти Ломоносова со стороны разночинцев. Откликнулась на смерть поэта и та «вельможная» верхушка русского дворянства, идеологическим выразителем которой был при своей жизни Ломоносов. Гр. М. И. Воронцов на свой счет построил надгробный памятник со следующей надписью: В память славному мужу

Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах в 1711 году, бывшему, статскому советнику, императорской Санктпетербургской Академии Наук профессору, Стокгольмской и Бононской члену, разумом и науками превосходному, знатным украшением отечеству служившему, Красноречия, стихотворства и Истории Российской учителю, Муссии первому в России без руководства изобретателю, преждевременною смертию от Муз и Отечества на днях святыя пасхи 1765 года похищенному, воздвиг сию гробницу граф Михайло Воронцов, славя Отечество с таковым гражданином, и горестно соболезнуя о его кончине. [7]

Еще более «публицистический» характер, чем надгробная надпись Воронцова, имеет французская «Ode sur la mort de Monsieur Lomonosof de l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg» полуопального гр. А. П. Шувалова, старого панегириста Ломоносова, находившегося в путешествии, едва ли не вынужденном, за границей. Написана и напечатана она была, повидимому, в июле—августе 1765 г. На титульном листе, кроме заглавия, есть эпиграф: «Mon admiration me tient lieu de génie» (Восхищение заменяет мне дарование). [8]

Начинается брошюра гр. А. П. Шувалова любопытным «Предисловием», которое ни разу на русский язык не переводилось, но которое интересно как образчик оценки Ломоносова высшим придворным кругом елизаветинского времени. Особенно следует отметить своеобразную «стилизацию» происхождения Ломоносова — указание, что родители его были торговцами, а не крестьянами. Вот это «Предисловие».

«Господин Ломоносов родился в Архангельске от родителей, занимавшихся торговлей, но не особенно зажиточных. Еще в раннем возрасте проявилась его любовь к науке. Первые его учебные занятия протекли в Москве, где дарованиями он обратил на себя внимание. Затем правительство отправило его в Германию, именно в Фрейберг в Саксонии, для изучения там горного дела. Во время пребывания своего в этой стране, он имел возможность изучить много нового, а также счастье слушать знаменитого Вольфа.

По возвращении на родину, адресованная им императрице Анне ода на победу при Хотине приобрела ему славу превосходного поэта. В самом деле, это первое произведение его исполнено энергии, новых идей и возвышенных образов. Его талант был вознагражден и с тех пор возрастал и укреплялся.

Все наши государи последовательно покровительствовали и ободряли этого великого человека (первого ученого в России). Императрица Елизавета сделала его профессором химии в императорской Санктпетербург-

ской Академии Наук и осыпала его благодеяниями. Царствующая сейчас императрица делала то же еще в большем размере; она допустила в отношении его такую фамильярность, черты которой были видны только в век Августа, фамильярность которая никогда не превращалась для ученого в горечь.

Наконец, окруженный славой и всеобщим удивлением своих соотечественников, любимый монархами, г. Ломоносов скончался несколько месяцев назад, в возрасте около пятидесяти пяти лет.

Оставленные им произведения почти все считаются шедеврами. Они заключают том од, достойных быть поставленными в параллель одам Руссо; различные другие стихотворения, как послания, надписи и т. д.; Летописи России,* два похвальных слова, одно Петру Великому, другое Елизавете; речи о пользе химии, о цветах и т. д., произнесенные на заседаниях Академии. Наконец трактат по риторике и русская грамматика. Таким образом, от исопа до кедра, все обнял он и во всем успел.

Мало удовлетворенный своей известностью в столь разнообразных жанрах, г. Ломоносов начал под конец своей жизни писать эпическую поэму в честь Петра Великого. Эта поэма должна была состоять из двадцати четырех песен;** три первые песни, появившиеся в свет, прекрасны и заставляют бесконечно жалеть об остальном.

Здесь не место распространяться о его произведениях и разбирать их. Тот, кто займется этим, сделает очень полезное дело. Достаточно сказать, что все прочие его стихотворения столь же хороши, как и оды. Среди них следует отметить Письмо о пользе стекла, произведение столь же необыкновенное, сколь и философское. Это Гамлет, говорящий стихами, и Свифт, тонко забавляющий. Благочестивые невежды, некогда оспаривавшие систему вселенной, ловко осмеяны в этом Письме, и представляемая автором картина разграбления Америки из-за алчности испанцев выше всяких похвал.

Проникнутой искренним уважением и благодарностью к этому необыкновенному человеку, я осмеливаюсь, в следующей за сим оде, воздвигнуть слабый памятник его славе. Должно надеяться, что более ловкая рука когда-нибудь познакомит с ним с более выгодной стороны.

Его Похвальное слово Петру Великому справедливо рассматривается как достойная параллель (pendant) Панегирику Траяна. Жаль, что это·

---

* Я обхожу молчанием его «Российскую историю», предисловие и первые главы которой я видел напечатанными шестнадцать месяцев назад. Так как с тех пор я нахожусь за пределами своей родины, я не знаю, закончен ли этот нужный труд.

** В первой песни Петриады г. Ломоносов подражает г. Вольтеру, но как ученик достойный столь великого учителя. Джерсейский отшельник снабдил его интересным эпизодом и красотами изумительных подробностей. Это единственный кажется, раз, когда наш поэт подражает кому-либо; во всех других местах он творит. Я чрезвычайно рад указать эту подробность, она доказывает, как бессмертная поэма о Генрихе IV чтима у северного полюса.

произведение обезображено иностранцем, не знавшим ни слова по-русски и плохо писавшим на своем родном языке. [9]

Грамматика Ломоносова свидетельствует, в каком состоянии застал он нас; все, что было бы сказано по тому же поводу, было бы излишним.

Правда, до Ломоносова у нас было несколько рифмачей, вроде князя Кантемира, Тредиаковского и др., но они находятся к Ломоносову в таком же отношении, как трубадуры к Малербу». [10]

Самая ода, как большая часть подобных произведений, написана «высоким» условным языком и представляет интерес, главным образом, в строфах 10—12, где идет речь о врагах Ломоносова.

«О, кто сможет когда-либо сравняться с ним дарованием? Напрасно мерзкие соперники, воспаленные завистью, поносят его талант, ищут у него недостатков. Их презренное занятие покрывает их позором и усугубляет нашу горесть. Один — неразумный копировщик недостатков Расина, ненавидит божественную музу северного Гомера; другие извергают желчь на его имя и характер (moeurs). Презренные насекомые, их преступные интриги вызывают омерзение. Бегите прочь; неблагодарные чудовища, сердца, исполненные ненависти! Преступления — вот ваши утехи; ваше поприще — преисподняя. Никогда бог поэзии не вдохновит ваших песен. Из бездны Тартара толпы варваров рукоплещут вашим голосам».

К слову «копировщик» сделано примечание: «Г. Сумарков (Somarkof), автор нескольких трагедий, в которых наблюдается рабское подражание Расину и мания копировать этого великого человека, деже в тех его слабостях, за которые его упрекают. Этот г. Сумарков постоянно позорил прославленного поэта, исключительно из-за превосходства талантов последнего». К слову «другие» примечание гласит: «да будет мне позволено вовсе не называть их». [11]

За «Одой» следует прозаический перевод «Утреннего размышления о божьем величестве», предшествуемый и сопровождаемый небольшими замечаниями, не представляющими особого интереса.

По поводу этой «Оды» А. А. Волков в своем «Nachricht'е» писал: «Желающие иметь более полное понятие об этом великом человеке [= Ломоносове] могут обратиться к изданному графом Андреем Шуваловым весьма изрядному сочинению на французском языке, которое заключает в себе жизнеописание Ломоносова, оду в честь его и перевод двух пиес его: Утреннего и Вечернего размышления о божием величестве, так же как

письмо к Вольтеру и ответом на него. Сколько признательны мы графу Шувалову за эти прекрасные образцы его таланта, столько же сожалеем о жестокости, с которой написана им горькая сатира против Сумарокова; общество полагает, что она обличает более личной ненависти, чем справедливости. Уже одно то обвинение будто Сумароков есть только переписчик недостатков Расина, вооружило против автора знатоков, которые судят Расина по правилам искусства, но в то же время отдают справедливость и г. Сумарокову». [12]

Замечания автора «Nachricht'a» представляют значительный интерес как отклики современника, подчеркивающего, что произведение Шувалова «вооружило против автора знатоков, которые... отдают справедливость г. Сумарокову». Вместе с тем, как уже отметил в свое время акад. А. А. Куник, переиздавший в 1865 г. «Оду» Шувалова, описание книжечки Шувалова в «Nachricht'e» не соответствует единственному известному экземпляру «Ode sur la mort de M. Lomonosof». Акад. Куник высказал предположение о том, что у автора «Nachricht'a» было в руках, повидимому, второе издание «Оды» Шувалова. [13]

Однако, до сих пор известен только один экземпляр «Оды» 1765 г. из библиотеки Вольтера, хранящейся в настоящее время в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде.

«Ода» Шувалова прошла на Западе незамеченной; по крайней мере, в ряде наиболее значительных французских литературных журналов того времени — L'Année littéraire, Journal étranger, рецензий на нее не было. Письмо Вольтера, повидимому, относящееся к Оде Шувалова, о котором упоминает А. А. Волков, тоже неизвестно. [14] Зато больше сведений сохранилось об отношении к произведению Шувалова со стороны русских читателей. Кроме приведенного выше отзыва А. А. Волкова, известно еще сообщение акад. Я. Штелина о том же. Тот же акад. Штелин отметил в своих материалах для биографии Ломоносова, что, «г. Сумароков, разъяренный оскорблениями, нанесенными ему автором оды, отомстил эпиграммой на г. Шувалова, в которой он изобразил последнего сумасшедшим, недостойным ответа, а его оду галиматьей, полной противоречий, невежества, преувеличения и глупостей». [15] К сожалению, в изданных Новиковым сочинениях А. П. Сумарокова и в рукописных сборниках XVIII в. нет ни одной эпиграммы, которую можно было бы идентифицировать с упомянутой в материалах

ODE
SUR LA MORT
DE
MONSIEUR
LOMONOSOF.
De l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg.

Mon admiration me tient lieu de génie.



MDCCLXV.

Обложка «Оды на смерть Ломоносова», сочиненной А. П. Шуваловым (1765 г.).

Штелина. Но что Сумароков был взбешен одой Шувалова известно из его письма к Екатерине II от 25 февраля 1770 г. Указав, что гр. А. П. Шувалов неоднократно ругал его «перед всей Европой», Сумароков прибавляет: «Написал [он] наконец обо мне: Un copiste insensé des defauts de Racine, а внизу в примечаниях и имя мое включил в оде, которую он и России изрядно подчивал: но я все терпеть должен, когда судьбина так хочет».[16] В другом письме он пишет, что «Шувалов... явственно, меня, отходя от правил критики, по Парнассу ругал, а я еще молчу, хотя и не должен» (письмо от 4 марта).[17]

Штелин записал в своих материалах еще один отзыв Сумарокова о Ломоносове, относящийся к первым дням после смерти поэта. Во время похорон Ломоносова Сумароков, указывая на покойника, лежавшего в гробу, сказал: «угомонился дурак и не может более шуметь». Штелин прибавляет, что ответил ему на эту бестактность: «не советывал бы я вам сказать ему это при жизни».[18]

Как ни скудны эти сведения об отношении к Ломоносову поэтов из среднего дворянства, в частности Сумарокова, они являются последними штрихами в длительной литературной борьбе между Ломоносовым и его антагонистами.

Дальнейшая судьба произведений Ломоносова в формировании русской литературы второй половины XVIII в. в частности изменение отношений к нему среднего дворянства в конце шестидесятых и начале семидесятых годов, со времени появления В. П. Петрова,— не входит в рамки настоящего исследования. Но невозможно удержаться от того, чтобы не привести исключительно любопытную характеристику Ломоносова больше как историка, но, отчасти, и как поэта, относящуюся к концу 80-х — началу 90-х гг. XVIII в.

Был у нас наконец муж, всеми дарованиями природы и учения одаренный. Господин статский советник Ломоносов был беспрекословно тот муж, который обладал всеми способностями прямого Повествователя. В нем находилась обширного Тита Ливия соображения природа, великое тонкого Тацита политики проницание, и краткого Салюстиева красноречия острота; словом, в нем видно и глубокое наук знание, и мыслей изобилие, и витийства богатство. Его несравненным пером оставленная нам первая часть Русского повествования свидетельствует, коль отменным и в предложении приключений обладад он искусством; и хотя в исследовании времен и народов прехождения малую показал он прилежность, и инде погрешил небрежением, но то без сомнения мог бы, осмотревшись

во втором издании исправить. И так не взирая на сие примечание, достойно слез и печали, что завистная смерть, безвременно его похитившая, лишила нас сего любимца и наперсника Муз, и зловредно отняла у отечества нашего продолжение прекрасного его творения; я не говорю повествования бесстрастного и совершенного; ибо первою частию не достиг еще он до тех времен, когда лесть и лицеприимство, яко исчадия страха и награды, сердце и характер Писателев обнажают; не мог он одною первоначальною частью доказать и совершенство Повествователя, весьма продолжительного повествования от него требующего, в котором единообразность приключений тмочисленные к предложению их разности взыскуют. В первом случае не без причины удобь возможно и в его чистосердечии сомневаться, когда представим себе, сколь бесстыдно Стихотворцы и витии закрывают баснословием пороки Государей. К стыду и укоризне французов, знаем мы многие примеры, находя в их Стихотворцах, которые вместо истинных жития и деяний Людовика XIV, короля их, сочинили ему прекрасные похвальные слова, которых по смерти его никто не читает. И нашего великого проповедника, Феофана Прокоповича, сочинение под имянем жизни императора Петра I, содержит не жизнь героя, но похвалу сему Герою, которую с важнейшим красноречием сказал он в слове на годичное по смерти сего государя поминование. Феофан велик был в красноречии, превосходен в учении, но мал в повествовании явился. Обращаясь к Ломоносову, признаться однакожь подобает, что трудно как в красоте и приятности слога, так и в важности мыслей, с ним сравняться, и заступить по нем Повествователя место. Великие люди редко раждаются. Демосфен был отменного учения муж и превеликий вития, но не Повествователь; сие дарование уступает он изящному Фукидиту; а Ломоносов наш был вкупе и Демосфен и Фукидит. Вступая отважно на путь, с толикою удачею им проложенный, кому возможно без робости подобным ласкаться успехом? Разве найдется между нами с таким же к повествованию дарованием, с какою к стихотворству способностию произвела Природа господина Хераскова? Сей равно любимец Аполлона и Муз наперсник вступил по нем в претрудное Эпических Поэм творение; воспел Российских Героев дела, и благоуспешным пением учинился Гомеру и Виргилию подражателем, Вольтеру, Тассу и самому Ломоносову соперником в сочинениях, в славе и в почтении.

Соперничество сих двух наших Стихотворцев затруднит потомство в отдании справедливого преимущества, когда разберет оно, что Ломоносов как повествование, так и Поэму его о Петре начал, но не окончил, а Херасков две целые Героические Поэмы трудным шествием привел к развязке и окончанию; ибо кто не ведает, что начало всяческого великого сочинения не столь трудно, как приведение к концу совершенному? [19]

Автором приведенного отрывка был прежний антагонист Ломоносова, а в это время один из «вельмож» Екатерининского царствования, порвавший с выдвинувшим его средним дворянством, — Иван Перфильевич Елагин.

* * *

Перед нами прошла почти четвертивековая борьба Ломоносова с его литературными противниками. Привлеченные материалы показали, что борьба эта имела не личный характер, а вытекала из социальных позиций и определявшихся ими эстетических и специальных теоретико-литературных взглядов участников ее.

Не все нам окончательно ясно в отдельных моментах литературной жизни 1730—1760 г.

Во всяком случае, можно констатировать, что мнение об оригинальности, продуманности и цельности теоретических взглядов Тредиаковского преувеличено, чтобы не сказать, вовсе неверно: к концу своей деятельности он почти полностью отказался от положений, с которыми выступил в начале ее; сохранил же он либо совершенно бесспорное, либо несущественные мелочи.

Затем должно отметить, что молодой Ломоносов, во время своего пребывания за границей, был в литературных и, главное, языковых вопросах (борьба с славянизмами) значительно левее чем впоследствии, когда его теория представляла известный компромисс. Повидимому, причиной этого было то, что до возвращения в Россию Ломоносов не чувствовал себя цеховым ученым, обслуживающим дворянское государство, к идеологии руководителей которого он должен приноровить свою собственную; в молодом студенте явственно ощущались те элементы буржуазности, свойственной тогда промышленному поморскому крестьянству, от которых позднее Ломоносову приходилось, если не отказываться, то, во всяком случае, значительно их модифицировать.

Наконец, Сумароков в своей теоретической и практической деятельности был более стихиен, более зависел от социальной среды, чем Тредиаковский и Ломоносов, выходцы из других общественных группировок. Едва ли преувеличено положение, что теорию Сумарокова больше подсказали ему его соратники и ученики, чем он «выдумал» ее сам.

Эпоха, в которую действовали Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков, отделена от нас почти двумя веками; те страсти, те идеалы, те интересы, которые двигали участников тогдашних литературных боев, бесконечно далеки от нас. Все это имеет сейчас значение чисто историческое. Но литературная полемика ломоносовского времени является еще одним — и, думается,

далеко не лишним, — подтверждением слов Энгельса: «Маркс впервые открыл великий закон исторического движения, — закон, по которому всякая историческая борьба, — совершается ли она в политической, религиозной, философской или в какой-либо другой идеологической области, — в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов.»[20]

Показать эту подспудную борьбу за видимостью персональной полемики являлось основной задачей настоящей работы.

Вместе с тем, автору казалось нужным для более правильного понимания развития русской литературы второй половины XVIII и начала XIX в., вплоть до Пушкина, пересмотреть материалы, относящиеся к литературной борьбе Ломоносова и его современников, не в плане биографии этих писателей, а в увязке с литературной средой, на которую обычно старая история литературы внимания не обращала. Этим объясняется утомительное, может быть, иногда исчисление мелких и малоинтересных писателей 30-х — 60-х гг. XVIII века; но, думается, работа эта не бесполезна.

В работах, подобных настоящей, где делается упор на привлечение, систематизацию и интерпретацию частью известных, частью забытых, частью вовсе новых фактов, неизбежна опасность биографического уклона. Стараясь все время избежать греха биографизма, автор не может не признаться, что ни Ломоносов, ни Тредиаковский, ни Сумароков не были для него отвлеченными схемами, а представляли живые, реальные фигуры. И как ни чужд нашей эпохе Ломоносов с его рационализмом, с его культом просвещенного абсолютизма, с ограниченностью его классового миропонимания, но все же он понятнее и ближе нам, чем «диковатый» Тредиаковский и нервный, издерганный Сумароков. И совсем понятно звучит для нас тезис Ломоносова, заимствованный им у Цицерона: «В безделицах я Стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу, перстом измеряющего людские пороки».

6 февраля 1935 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Перетц, В. Н. Очерки по истории поэтического стиля в России (Эпоха Петра Великого и начало XVIII ст.).—Журнал мин. нар. просв., 1905 г., ч. CCCLXI, № 10, отд. 2, стр. 375 и сл.

2. Там же, стр. 375.

3. Там же, стр. 382. Орфография модернизирована.

4. Там же, стр. 396.

5. Финдейзен, Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.—Л., 1929, вып. VI, стр. 202.

6. Перетц. Цит. соч., стр. 396.

7. Там же, стр. 380.

8. Там же, стр. 402-403.

9. Автор повести Поль Тальман (Paul Tallemant) (1642-1712) написал ее в возрасте 19 лет; впервые она была напечатана в 1663 г. под названием «Voyage à l'isle d'Amour, ou la Clef des coeurs» («Путешествие на остров любви, или ключ сердец»). «Это аллегорическое произведение,—говорит биограф Тальмана, Дону (Daunou),—ставило себе целью описать прелести, а также указать соблазны и опасности нежных чувствований: его было достаточно, чтобы открыть автору в 1666 г. двери академии (Académie Française), куда не были еще избраны ни Кино (Quinault), ни Лафонтен, ни Расин, создавший уже к этому времени Андромаху, ни Буало, закончивший к тому моменту семь своих Сатир» (Biographie universelle ancienne et moderne, éd. Michaud, Paris, 1826, t. 44, p. 426; ср. Галахов, А. Д. Историко-литературная хрестоматия нового периода русской словесности, Изд. 10-е, М., 1898, т. I, стр. 134, примеч. 1). В продолжение дальнейшей своей литературной деятельности Тальман не создал ничего значительного—он сочинил множество академических речей, панегириков, похвальных слов в честь Людовика XIV и своих коллег по академиям, французской и медалей.

10. Езда в остров любви. Переведена с Французского на Руской. Через Студента Василья Тредиаковского и приписана его сиятельству князю Александру Борисовичу Куракину. Напечатана 1730. Стр. 9. Последний стих куплета в оргинале: «Sans amour, il n'est point de solide plaisir» (p. 239). Французский текст здесь и в дальнейшем указывается по изданию «Voyages imaginaires, songes, visions et romans cabalistiques ornés de figures». Amsterdam, 1788, T. 26, pp. 233-306. Voyage de l'isle d'Amour. A Licidas. Par l'abbé Tallemant.

11. Там же, стр. 7.
12. Там же, стр. 11.
13. Там же, стр. 13-14.
14. Там же, стр. 15-18.
15. Там же, стр. 19-20.
16. Там же, стр. 21-23.
17. Там же, стр. 24-32.—«Очесливость»—Modestie (р. 248)—Скромность
18. Там же, стр. 33-35.
19. Там же, стр. 36-52.
20. Там же, стр. 53-69.
21. Там же, стр. 70-78.
22. Там же, стр. 79—100.
23. Там же, стр. 101—103 —„Глазолюбность"—Coquetterie (р. 285)—Кокетство.
24. Там же, стр. 148.
25. Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., 1890, т. I, стр. 278. Инаморат (inamorato)—влюблен; Медреса (maîtresse)—любовница; коштовать—стоить; amor—любовь; мемория—память; персона—портрет.
26. «Езда в остров любви», стр. 12-13 ненум. (К читателю).
27. Там же, стр. 13 ненум.
28. Там же, стр. 29, 50, 56, 103.
29. В «Езде» встречаются следующие иностранные слова, ставшие употребительными со времени Петра: флот (стр. 8), концерт (стр. 9), инструмент (там же), музыка (стр. 17 и 99), персона (стр. 25), физиономия (там же), губернатор (стр. 28), подземный глоб (стр. 42), фортуна (стр. 73), гистория (стр. 81).
30. «Езда», стр. 98 (283), 124 (296). В скобках соответствующие страницы французского текста.
31. Там же, стр. 29 («менше самои маленкои калитки»), 53 («из тои пустыни»), 56 («от самои малои причины»), 58 («из всеи моеи души»), 93 («после своеи измены»), 110 («болше половины целои»), 123 («утешаться о отсутствии другои»); в стихах—стр. 41, 52, 60, 65, 105, 120.
32. Там же, стр. 20, 41, 100.
33. Там же, стр. 129. («Отходящему от них встретилася мне одна жена весма пригожа»).
34. Имеется в виду «Грамматика французская и русская нынешнего языка сообщена с малым лексиконом ради удобности сообщества. В Санкт-Петербурге. 1730». Ср. Булич, С. К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904, т. I, стр. 323.
35. Пекарский, П. П. История императорской Академии Наук, т. II, стр. 19, прим. I.
36. Подлинные письма Тредиаковского к Шумахеру (на французском языке) хранятся в Архиве АН. Частично они использованы в статье А. И. Малеина «Новые данные для биографии В. К. Тредиаковского» (Сборник ОРЯС, Том CI, № 3, стр. 430-432). Более подробная публикация этих писем, препарированная Л. Б. Модзалевским, появится во втором сборнике «XVIII век», подготовляемом Институтом русской литературы под ред. акад. А. С. Орлова.

37. Архив АН, фонд 121, Письма Тредиаковского к И. Д. Шумахеру

38. Малеин, А. И. Цит. соч., стр. 431—432.

39. Французский текст в указ. статье А. И. Малеина, стр. 432 примеч. 1. Показания Тредиаковского подтверждаются письмом книгопродавца В. В. Киприянова Шумахеру от 21 января 1731 г.; прося о высылке книг, в том числе и «господина студента Тредиаковского книгу», Киприанов сообщает, что ее «приняли изрядно» (Цитируется по статье А. В. Бородина «Московская Гражданская Типография и библиотекари Киприановы», печатающейся в «Трудах ИКДП», вып. V.

40. По вопросу о немецких и иных иностранных опытах в области тонической версификации см. мою статью в сборнике ИРЛИ «XVIII век», под ред. акад. А. С. Орлова: «К истории русского тонического стихосложения».

41. Савельев, Ал. Ив. Первые кадетские смотры 1734—1737 гг. (Русская старина, 1890, май, стр. 352).

42. Мне известны два тиснения этой оды: одно в Архиве АН—в лист другое в библиотеке Института книги, документа, письма—в малое кварто

43. Подробнее об одах кадетов, см. мою статью «У истоков дворянской поэзии XVIII века. Поэт Михаил Собакин» (Литературное наследство. XVIII век. №№ 9—10, стр. 421—432).

44. Материалы для истории Академии Наук. СПб., 1890, т. VI, стр. 231—232. (Миллер, Г. Ф. История Академии Наук.)

45. Пекарский, П. П. Ист. АН, т. II, стр. 43.

46. Подлинник этой работы Тредиаковского в Государственной публичной библиотеке (Ленинград). (См. отчет Публичной библиотеки за 1852 год. СПб., 1853, стр. 41.) Впервые напечатана она в «Избранны сочинениях» Тредиаковского под ред. П. Перевлесского (СПб ; 1849, стр. 104—110); неполный перевод ее у Пекарского, Ист. АН, т. II, стр. 54—57; полный перевод, сделанный З. В. Гуковской, см. Стихотвор. В. К. Тредиаковского, под ред. акад. А. С. Орлова в серии «Библиотека поэта», Л., 1935, стр. 354—357.

47. «Материалы для истории Академии Наук», СПб., 1886, т. II, стр. 633 и 696—698.

48. «Речь», Спб., 1735, стр. 14.

49. «Новою достойно украшенному честию... барону Корфу». Ср. Куник, А. А. Сборник материалов для истории Академии Наук. СПб., 1865, ч. I, стр. 4—5.

50. «Езда в остров любви», (СПб.), 1730, стр. 150.

51. «Новый и краткий способ», СПб., 1735, стр. 1 ненум.

52. Там же, стр. 7 (Ссылка на «употребление от всех наших старых стихотворцов принятое»), 23 (о «древнем, но весьма основательном употреблении»).

53. Там же, стр. 20.

54. См. выше примеч. 43

55. Лит. наследство, №№ 9—10, стр. 429—430 и 432.

56. ИОРЯС, 1901, т. VI, кн. 2, стр. 109—124; отд. оттиск, стр. 57—72.

57. Цит. соч.. оттиск, стр. 59. Впрочем, в т. III «Историко-литературных исследований и материалов» (СПб., 1902, стр. 28, прим. 2), В. Н

Перетц писал: «Разобрав состав этого стихотворения и сопоставив его с современными ему одами, не сомневаемся теперь приписать его тому же автору, что и первое», т. е., Тредиаковскому.

58. Шифр: 3348. Текст на лл. 249 об.—252 об. См. также Отчет Московских Публичного и Румянцовского музеев за 1903 год, стр. 13—14.

59. Там же, л. 249 об.; Перетц, В. Н. Заметки и материалы для истории песни в России, стр. 64.

60. Совет добродетелей, стр. 8 ненум.

61. Перетц, В. Н. Цит. соч., стр. 71.

62. Перетц, В. Н. Цит. соч., стр. 58.

63. Отрывки этих од печатались у Н. Н. Булича (Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854, стр. 18) и А. А. Куника (Сборник материалов для истории Академии Наук, ч. I, стр. XXI); полное название издания таково: «Ея императорскому величеству всемилостивейшей государыне императрице Анне Иоанновне самодержице всероссийской поздравительные оды в первый день нового года 1740. От кадетского корпуса сочиненные чрез Александра Сумарокова. В Санктпетербурге. Печатано при императорской Академии Наук» (в лист.), 8 ненум. стр. На первых четырех страницах русский текст, последние четыре заняты французским прозаическим переводом. Особенно интересна первая ода. В строфе VI Сумароков отмечает заслуги царицы в военном, административном и других отношениях. «Взглянем же когда мы и на Науки», говорит Сумароков, то и здесь «их ширятся границы».

«Спросим от кого? от императрицы.

VII

Милость ли мала? малыль той приметы?
Надоволноль той кажут и Кадеты?
Вопят те всегда воздевая руки,
Анна мы тобой видим свет Науки,
Анна нам и впредь матерь буди буди,
Мы из ничего становимся люди,
Тыж бы здесь когда матерь не владала,
Жизнь бы наших лет даром пропадала.

VIII

Ты! нам Анна мать, мать всего подданства,
Милостью же к нам мать всего дворянства,
Чрез сие так нам можноль же сдержаться,
Чтоб тебе детьми трижды не назваться,
Трижды мы когда ставимся сынами,
Трижды воскричим громко голосами:
Здравствуй в новый год матерь и избранна,
И владей, владей, ты три века Анна.

Таким образом, идеологически эта ода совершенно повторяет мотивы дворянской поэзии Олсуфьева и Собакина.

64. Куник, А. А. Цит. соч., ч. I, стр. XX. Вслед за Куником это утверждение прочно вошло в научный оборот и держится и до наших дней.

65. «Новый и краткий способ», стр. 59.

66. «Поздравительные оды», стр. 1 ненум.

67. Там же, стр. 3 ненум.

68. Пекарский, П. П. Ист. АН, т. II, стр. 686, примеч. 1; ср. Летописи русской литературы и древностей, изд. Н. С. Тихонравовым. М., 1859, т. II, отд. III, стр. 105.

69. Куник, А. А., цит. соч., ч. I, стр. 85; экземпляр этого «Эпиникиона» с корректурными исправлениями Тредиаковского хранится в Архиве АН; другой — обычного тиснения — в ИКДП.

70. «Эпиникион», стр. 1 ненум.

71. Кантемир, А. Д., кн. Сочинения, письма и избранные переводы. Под ред. П. А. Ефремова. Спб., 1868, т. II, стр. 440.

72. О Витынском, кроме указанного, см. еще Пекарский, П. П. Ист. АН, т. II, 76, 83, 974, и С.....в, П. Очерк истории Харьковского коллегиума. Харьков, 1881, стр. 11—12 (примеч.), 14, 15 (примеч.). Последняя брошюра — оттиск из Харьк. епарх. вед. за 1880 г.

73. Полное название произведения Суворова таково: «Песнь торжественная о состоявшейся оружия тишине с кратким изъяснением Хотинской баталии в прославлении преславного имени всепресветлейшия державнейшия великия государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссийския и прочая, и прочая, и прочая. Сочиненная чрез лейб-гвардии Измайловского полку каптенармуса Петра Суворова. В Санктпетербурге. 1740». В лист, 8 ненум. стр. (См. Отчет публичной библиотеки за 1863 год. СПб., 1864, стр. 80). В настоящее время экземпляр в Гос. публ. библиотеке утрачен. О Суворове см. Руммель, В. и Голубцов, В. Родословный сборник дворянских фамилий. СПб, 1887, т. II, стр. 447. (Суворов, Петр Иванович, р. 1721, ум. после 1795 г., гвардии сержант и т. д.)

74. ИРЯС, 1928, т. I, кн. 2, стр. 335—357.

75. Там же, стр. 341.

76. Там же, стр. 346.

77. П., Н. (Петров, Н. И.). Рукописи Иркутской духовной семинарии южно-русского происхождения. (Труды Киевской духовной академии, 1892, № 10, стр. 311-312) Стихи эти находятся в курсе, читанном Гедеоном Сломинским (о нем см. Аскоченский, В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. Киев, 1856, ч. II, стр. 140—141); из статьи Петрова неясно, принадлежат ли стихи Сломинскому, или только вписаны в рукопись его курса.

78. ИРЯС, 1928, т. I, кн. 2, стр. 352.

79. «Описание краткими стихами иллюминации на всерадостное ея императорского величества, благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни нашея императрицы Елисаветы Петровны Всея России, и его императорского высочества благоверного государя и великого князя Петра Феодоровича в Троицкую Сергиеву обитель пришествие в той же обители зажженныя высокия высокомонаршия души добродетели и оными рожденное всевожделенного вечно заключенного мира торжество присеняющия. Печатано в Санктпетербурге 1744 года». (В четвертую долю листа, 27 стр.) Есть московское издание того же года церковно-славянским

шрифтом, в лист. Приведенный в тексте отрывок в петербургском издании на стр. 3. Ср. также Тукалевский, В. Н. Издания гражданской печати времени императрицы Елисаветы Петровны 1741—1761. Часть первая: 1741—1755. Под ред. П. Н. Беркова. Л., 1935, стр. 102—103 №№ 189 и 190.

80. Там же, стр. 6.

81. Там же, стр. 9.

82. О Лпшевецком см. Венгеров, С. А. Источники для словаря русских писателей. Пгр., 1917, т. IV, стр. 70; кроме того, Смирнов, С. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867, стр. 92; Сумароков, А. П. Сочинения, 1781, т. VI, стр. 281—282.

83. Цит. соч., стр. 20.

84. Полное название этого издания таково: «Стихи и канты к высочайшему ея императорского величества благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни нашея императрицы Елисаветы Петровны Всея России, и его императорского высочества благоверного государя и великого князя Петра Феодоровича в Троицкую Сергиеву Лавру пришествию сложенные» (б. о. м. и г.), стр. 21—52 Вероятно, это часть какого-то издания. Ср. Тукалевский. Назв. соч., стр. 103 (№ 191), 106 (№ 198). 107—108 (№ 201).

85. О Михайле Козачинском см. Венгеров, С. А. Источники, СПб., 1914, т. III, стр. 126; Аскоченский, В. И. Киев с его древнейшим училищем Академиею. Киев, 1856, ч. II, стр. 54—57; Филарет. Обзор духовной литературы. СПб., 1884, стр. 331—332; акад. Соболевский, А. И.: Неизвестная драма М. Козачинского. [Трагедиа... о смерти последнего царя сербского, Уроша Пятого...]. Текст с предисловием А. И. Соболевского. (Чтения Исторического общества Нестора-летописца, книга XVI; также отд. оттиск, Киев, 1901, 74 стр.) Это произведение Козачинского относится к 1733—1738 гг. и написано силлабическим размером.

86. Очерки из истории украинской литературы XVIII века. 1880, стр. 29.

87. Проблемы стиховедения. М., 1931, стр. 149—151.

88. Словарь писателей духовного чина. Изд. 2. М., 1827, ч. II, стр. 75. Указание Филарета (Обзор, изд. 3, стр. 331) о выходе «Философии Аристотелевой» во Львове в 1755 г. — неправильно.

89. Сопиков. Опыт, ч. I, № 1587 (изд. 2, под ред. В. Н. Рогожина, ч. I, стр. 79).

90. Ежемесячные сочинения, 1755, июнь, стр. 478.

91. Философия Аристотелева, стр. 3—4 ненум.

92. Там же, стр. 6 ненум.

93. Там же, стр. 49 ненум.

94. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. СПб., 1735, стр. 13: «...веселые бандуристы, и не стройный полк Песнописцов».

95. Чулков, М. Д. Сочинения, под ред. П. К. Симони. СПб., 1913, т. I, стр. 134.

96. Пушкин. Полн. собр. соч., под ред. Ю. Г. Оксмана, М.—Л., 1933, т. 5, стр. 597—598: «Тредьяковский был конечно почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о Русском стихосложении обширнейшее понятие нежели

Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха, доказывают необыкновенное чувство изящного. Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредьяковского». Следует отметить что идея перевести «Похождения Телемака» гекзаметром, за которую хвалит Пушкин Тредиаковского, не является изобретением последнего в XVIII в. существовали переводы «Похождений Телемака» на латинский язык гекзаметром.

97. Пекарский, назв. соч., т. II, стр. 104, примеч.

98. Речь. СПб., 1735, стр. 8.

99. Там же, стр. 13. Здесь уместно вспомнить загадочную цитату Пушкина из Тредиаковского. В примечании к статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». Пушкин, говоря о славянизмах Ломоносова, пишет: «Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над *славянщизнами* Ломоносова, как важно советует он ему перенимать *легкость и щеголеватость речений изрядной компании*!» Соч. Пушкина под ред. Ю. Г. Оксмана, ГИХЛ, 1933, т. 5, стр. 63, примеч.

100. Речь, стр. 11.

101. Там же, стр. 14.

102. Там же, стр. 15.

103. О кружке Волынского см. Корсаков, Д. А. Артемий Петрович Волынский и его «Конфиденты». (Русская старина, 1885, октябрь, стр. 17—54 и в книге Корсакова Из жизни русских деятелей XVIII в., Казань, 1891, стр. 183—220).

104. Морозов, П. О. Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880 стр. 276—277. Порфирьев, И. Я. История русской словесности. Изд. 4, Казань, 1901, ч. II, отд. I, стр. 54—55.

105. Сочинения и переводы, СПб., 1752, ч. II, стр. 16.

106. Избранные сочинения В. К. Тредиаковского, под ред. П. Перевлесского. СПб., 1849, стр. 105; Соч. Т-го, под ред. акад. А. С. Орлова, Л. 1935, стр. 354; ср. выше прим. 99.

107. Куник, назв. соч., ч. II, стр 435—500.

108. Там же, стр. 469—470.

109. Там же, стр. 477.

110. Там же, стр. 495—496.

111. Ср. Виноградов, В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1934, стр. 73—74.

112. Езда в остров любви, стр. 10 ненум.

113. Речь. СПб., 1735, стр. 15.

114. Аргенида. Предуведомление, стр. CIII.

115. Сочинения и переводы. СПб., 1752, ч. I, стр. XI.

116. Там же, стр. XI—XII.

117. Там же, ч. II, стр. 236—315.

118. Езда в остров любви. СПб., 1730, стр. 150.

119. Новый способ, стр. 2 ненум.

120. Там же, стр. 2 ненум.

121. Там же, стр. 12, 23 и 70.

122. Аргенида. Предуведомление, стр. LXVI—LXVII; ср. Соч. и перев., ч. I, стр. 140.
123. См. ниже стр. 96.
124. Аргенида. Предуведомление, стр. LXVIII.
125. Там же, стр. LXXI.
126. Там же, стр. LXXXIX.
127. Соч. и перев., ч. I, стр. 156—157, 159.
128. Там же, стр. 157, 159.
129. Там же, стр. 161—162.
130. Там же, стр. 166—167.
131. Там же, ч. II, стр. 196—197.
132. Там же, стр. 197.
133. Там же, ч. I, стр. 180.
134. Там же, стр. 181.
135. Там же, стр. 181.
136. Там же, стр. 181—182.
137. Там же, стр. 182.
138. Аргенида, Предуведомление, стр. XC.
139. Там же, стр. LXXXIX.
140. Там же, стр. XCVI—XCVII.
141. Там же, стр. XCIV—XCV.
142. Сочинения и переводы, ч. I, стр. 157.
143. Там же, стр. 157.
144. Там же, стр. 157.
145. Там же, стр. 158.
146. Куник, назв. соч., ч. I, стр. 445.
147. Ломоносов. Соч., под ред. М. И. Сухомлинова, СПб., 1893, т. II, стр. 142.
148. Пекарский, назв. соч., т. II, стр. 30.
149. Три оды парафрастические псалма 143. СПб., 1744, стр. 3; ср. Куник. Цит. соч., ч. II, стр. 421.
150. Соч. и перев., ч. I, стр. XIX; ср. также «О древнем, среднем и новом стихотворении российском», Ежемесячные сочинения, 1755, июнь, стр. 497—498, 508.
151. Ежем. соч., 1755, июнь, стр. 473.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Сведения об этом экземпляре «Нового способа» впервые были сообщены в протоколе Отделения Русского языка и словесности Академии наук (Сборник ОРЯС, 1886, т. 38, протоколы за 1885 г., стр. II; с не совсем точными данными). В третьем томе Сочинений Ломоносова под ред. М. И. Сухомлинова, последний в «Примечаниях» (стр. 6—11) привел без комментариев отдельные наиболее обстоятельные пометки Ломоносова.

2. Слово «цосно» отсутствует во всех известных мне словарях XVIII—XX вв. В печатной литературе оно встретилось мне лишь один раз: в «Новом способе» Тредиаковского (1735, стр. 82) в «Эпиграмме на человека само-

хвала, которой бы угощевал призванных к себе бездельным питьем, подпося то за самое лучшее вино»:

Вишневой морс сколько раз ты мне ни подносишь,
Рюмку досуха всегда выпить меня просишь.
Эх! нудишь напрасно,
Пить все поило красно:
Правда, что это вино (меж тем пива пошáрь)
Цóсно, да благослови выплюнуть то, сударь.

Несомненно слово «цосно» одна из форм слова — «честный», в твердом цокающем произношении. По мнению акад. А. С. Орлова, слово «цосно» могло быть семинарским выражением (типа гимназического «здóрово!») в смысле «великолепно!». Не следует забывать, что и Тредиаковский и Ломоносов были учениками славяно-греко-латинской Академии, где это слово могло употребляться в специфическом смысле.

3. Письмо о правилах российского стихотворства. Собр. соч. покойного М. В. Ломоносова. СПб., 1778, кн. II, стр. 14—15; Ломоносов. Соч., под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1891, т. I, стр. 22—23.

4. Краткое руководство к красноречию. Книга первая. Риторика. Спб., 1748, стр. 59 (§ 62). Акад. М. И. Сухомлинов отыскал в рукописном сборнике Гос. публ. библиотеки (Ленинград) (шифр; Q. XIV. № 124) песню под № 33 — «Молчите, струйки чисты...», отрывок из которой помещен Ломоносовым в «Риторике». Сам Сухомлинов не счел возможным признать данное стихотворение ломоносовским и поместил его лишь в примечаниях (Соч., т. I, прим., стр. 104—105). Между тем, Ломоносов приводил в «Риторике» примеры только из своих произведений. Таким образом, в песне «Молчите, струйки чисты...» сохранился полностью образец сентиментальной лирики молодого Ломоносова. Следует отметить, что песенка «Молчите, струйки чисты...» встречается у Чулкова (Соч., СПб., 1913, стр. 91—93) с более исправным текстом, чем приведенный Сухомлиновым.

5. Собр. соч., Спб., 1778, кн. II, стр. 15; Соч., под ред. Сухомлинова, т. I, стр. 22.

6. Краткое руководство к риторике. Соч., т. III, стр. 43 (§ 76).

7. Собр. соч., 1778, кн. II, стр. 11; Соч., т. III, стр. 7.

8. Собр. соч., кн. II, стр. 10; Соч., т. III, стр. 6.

9. Собр. соч., кн. II, стр. 10; Соч., т. III, стр. 7.

10. Собр. соч., кн. II, стр. 10; Соч., т. II, стр. 7.

11. Собр. соч., кн. II, стр. 7; Соч., т. II, стр. 3.

12. Собр. соч., кн. III, стр. 15; Соч., т. II, стр. 10.

13. Соч., т. I, стр. 1—12; в «Примечаниях» к данному тому (стр. 18—19) сообщены сведения о предшествующих публикациях этого ломоносовского перевода.

14. Собр. соч., 1778, кн. II, стр. 3—16; Соч., т. III, стр. 1—11.

15. Собр. соч., 1778, кн. II, стр. 4; Соч., т. III, стр. 1.

16. Новый способ, 1735, стр. 4; Собр. соч., 1778, кн. II, стр. 5.

17. Новый способ, стр. 23.

18. Собр. соч., кн. II, стр. 8.
19. Новый способ, стр. 7.
20. Собр. соч., кн. II, стр. 12.
21. Новый способ, стр. 20.
22. Собр. соч., кн. II, стр. 13.
23. Там же, стр. 9.
24. Новый способ, стр. 82; Собр. соч., кн. II, стр 14.
25. Новый способ, стр. 23—24.
26. Собр. соч., кн. II, стр. 14.
27. Билярский, П. П. Материалы для биографии Ломоносова. СПб, 1865, стр. 8—9.
28. Печатный подлинник оды Сумарокова неизвестен. Полностью она приведена в «Письме в котором содержится рассуждение о стихотворении и т. д.» Тредиаковского (Куник, цит соч., ч. I, стр. 454—465); не указывая этой публикации сумароковской оды, В. И. Резанов в статье «Рукописные тексты сочинений А. П. Сумарокова» (Изв. ОРЯС, 1904, т. XI, кн. 3, стр. 37—50) перепечатал это произведение по дефектной рукописи из собрания Публичной библиотеки (Ленинград) (Шифр: Q. XIV. № 2, лл. 187 об. — 190). См. об этом статью Р. М. Тонковой «Из материалов Архива Академии Наук по литературе и журналистике XVIII в. I. А. П. Сумароков и Канцелярия Академии Наук в 1762 г.» (печатается в сб. «XVIII в.», издаваемом Институтом русской литературы под. ред. акад. А. С. Орлова).
29. Полн. собр. соч., изд. 2, М., 1787, ч. IX, стр. 220.
30. Там же, стр 219.
31. Там же, ч. X, стр. 51—52.
32. Там же, стр. 25.
33. Краткое руководство, Соч., т. III, стр. 67 (§ 123).
34. Полн. собр. соч., изд. 2, М., 1787, ч. I, стр. 333.
35. Риторика, 1748, стр. 5 ненум.; Соч., т. III, стр. 82.
36. Полн. собр. соч., ч. I, стр. 334.
37. Там же, стр. 348.
38. Там же, стр. 334.
39. Там же, стр. 334—335.
40. Краткое руководство, Соч., т. III, стр. 67—68 (§ 123).
41. Полн. собр. соч., ч. I, стр. 339.
42. Там же, стр. 347.
43. Пекарский, Ист. АН, т. II, стр. 533—534. Об отношении Шувалова к Ломоносову см. стр. 101 настоящей работы.
44. «В мае 1754 г. гр. П. И. Шувалов выхлопотал указ Берг-коллегии которым велено гороблагодатские заводы: Туринский, Кушвинский, Баранчинский и строившийся на Туре завод, с приписанными к тем заводам крестьянами, выделанными чугуном и железом, отдать ему, «яко к тому содержанию и размножению оных заводов надежной особе». Уплата денег на заводы рассрочена на 10 лет, а на действие заводов тотчас же полностью выдана годичная сумма (с 3.105 д. до 33 т. в 5 л.). По следам Шувалова пошли другие вельможи: Юговские заводы отданы графу Чернышеву, Алапаевский, Синячихинский и Сукcунский лейб-гвардии Измай-

ловского полка секунд-майору А. Гурьеву. Сылвинский и Уткинский камергеру Ягужинскому, Пыскорский, Висимский и Мотовилихинский графу М. Л. Воронцову, Верх-Исетский брату его Р. Л. и, наконец, три завода: Сысертский, Полевский и Северский, по какой-то случайности попали в руки Соликамскому солепромышленнику Турчанинову. В руках казны остались только два завода» (Белов, В. Исторический очерк уральских горных заводов. СПб., 1896, стр. 36—38).

45. Полн. собр. соч., ч. X, стр. 161.

46. Архив кн. Воронцова, М., 1875, кн. VII, стр. 460—461 (письмо от 30|19 декабря 1748 г.).

47. Голеневский, Ив. Собрание сочинений с переводами. СПб., 1777, стр. 45. О Голеневском см. статью Р. М. Топковой «Из материалов Архива Академии Наук по литературе и журналистике XVIII в. II. Иван Голеневский» (печатается в сб. «XVIII в.» издаваемом ИРЛИ под ред. акад. А. С. Орлова).

48. Голеневский, Ив. Сочинения, стр. 50.

49. «Описание фейэрверка». СПб., 1743.

50. О Елагине — Венгеров, С. А. Источники. СПб., 1910, стр. 353—354; Гуковский, Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927, стр. 32—34.

51. Пекарский, П. П. Ист. АН, т. II, стр. 536.

52. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772, стр. 64; Ефремов, П. А. Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867, стр. 36.

53. Nachricht von einigen russischen Schriftstellern, nebst einem kurzen Berichte vom russischen Theater.—«Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste». 1768, B. VII, I. Stück, S. 196—197; Ефремов, назв. соч., стр. 136 и 151—152.

54. Библиографические записки, 1859, № 15, стр. 451.

55. Об Иване Шишкине сохранились незначительные сведения. О нем — Новиков. Опыт, стр. 246—247 (или Ефремов, назв. соч., стр. 120 и 201; Билярский, П., назв. соч., стр. 777; Пекарский, П. Ист. АН., т. II. стр. 156—157 и 485—487; Соч. Ломоносова, под ред. М. И. Сухомлинова, т. II, Примечания, стр. 410—414. Известна эпиграмма Ломоносова на Шишкина.

Смеется и поет, о звездах он толкует,
То нюхает табак, то карт игру тасует,
То слушает у всех, со всеми говорит,
И делает стихи наш друг архипиит.
Увенчан лаврами Марон за стихотворство,
Нам чем его (свово) почтить за таково проворство?
Уж подлы для него лавровые венки,
Так чем же увенчать толь мудрые виски?
О чем я так тужу? Он будет увенчан:
За грош один купить капусты лишь кочан.

Совершенно очевидно, что Ломоносов высмеивал те стороны литературной деятельности Шишкина, которые представлялись ему, цеховому

ученому и поэту, смешными прихотями дилетанта — дворянина. «Смеется», — вероятно, намек на сатирические или юмористические произведения Шишкина, «поет», на его песни, «о звездах он толкует», вероятно, о каком-то «научном» произведении или переводе Шишкина. М. И. Сухомлинов не нашел данных для датировки эпиграммы на Шишкина. Можно предположить, что она была написана в конце 1740-х гг. и не позже 1750 г., так как в начале 1751 г. Шишкин умер: едва ли стал бы Ломоносов писать эпиграмму на умершего писателя. Впрочем, это могло быть эпиграммой на Семена Мордвинова. Ср. Тукалевский. Цит. соч. стр. 90 (№ 181). Тогда ее нужно отодвинуть к 1744.

56. О песнях П. С. Свистунова упоминает Новиков, Опыт, стр. 205 (или Ефремов, Материалы, стр. 101). Ср. Волков в Nachricht'е (Ефремов, стр. 146 и 152); Алекс. Палицын писал в 1807 г. гр. Д. И. Хвостову: «Одна песня П. С. Свистунова полюбилась так А. П. Сумарокову, что он ее присвоил» (Библиограф. зап., 1859, № 8, стр. 250). Ср. также «Послание к Привете» Палицына («Литературный архив» П. А. Картавова. СПб. 1902, стр. 8 и 37—38 особой пагинации).

57. О песнях Муравьева см. указание Новикова, Опыт, стр. 143 (или Ефремов, назв. соч., стр. 73).

58. О Н. А. Бекетове см. Венгеров, С. А. Источники. СПб., 1900, т. I, стр. 204. О песнях Бекетова см. в настоящей работе стр. 104—105.

59. О Поповском см. Венгеров, С. А. Русская поэзия. СПб., 1897, стр. 815—818, и Примечания, стр. 332—333.

60. Дубровский, Адриан. О нем: Венгеров, С. А. Русская поэзия. 1897, Примечания, стр. 141—142.

61. О Баркове — Венгеров, С. А. Русская поэзия. СПб., 1897, стр. 710—711, и Примечания, стр. 2—6. Пресловутые особенности творчества Баркова сделали неудобным рассмотрение его произведений в общих работах по русской литературе XVIII в. Между тем, современники ценили его высоко. «Его фривольные стихотворения обличают веселую и дорую голову, особенно в шуточном роде, в каковом жанре он написал множество стихотворений. Жаль только, что местами оскорбляется чувство приличия» (Волков. Nachricht. — Neue Bibliothek etc., 1768, B. VII, II.St., S 383, или Ефремов, назв. соч., стр. 140 и 156). М. М. Херасков пишет о Баркове в своем «Рассуждении о российском стихотворстве» (1771) следующее: «Язык наш равно удобен для слога важного, возвышенного, нежного, печального, забавного и шутливого. Покойный г. Барков наипаче в сем последнем роде отличался» (Литературное наследство 1933, № 9—10, стр. 294). Новиков (1772) отмечает: «Также писал (Барков)... множество целых и мелких стихотворений в честь Вакха и Афродиты, к чему веселый его нрав и беспечность много способствовали. Все сии стихотворения не напечатаны, но у многих хранятся рукописными... Вообще, слог его чист и приятен, а стихотворные и прозаические сочинении весьма много похваляются за остроту». (Опыт, стр. 15, или Ефремов, назв. соч., стр. 13). Обычно же о Баркове принято говорить, как о пошлейшем порнографе; при этом забывают, что во французской поэзии XVII и XVIII вв. было множество поэтов, действовавших на аналогичном поприще, и что в России в те же годы подвизались в том же

роде И. П. Елагин, устроивший с Барковым состязание в переводе Пироновой оды к Приапу (ср. Лонгинов, М. Н. И. П. Елагин. Русская старина, 1870, август, стр. 197—198 или Венгеров, С. А. Русская поэзия. СПб., 1897, стр. 719. Г. А. Гуковский в статье «К вопросу о русском классицизме. Состязания и переводы» в сб. «Поэтика. IV», стр. 126—148, почему-то не счел возможным упомянуть об этом состязании), Ф. Дмитриев-Мамонов и др. Следует указать, что большая часть «фривольных» стихотворений Баркова представляет пародии на произведения Сумарокова — трагедии, песни, притчи, «любовную гадательную книжку», загадки и т. д. В рукописном сборнике Л. Б. Модзалевского (л. 95 об.) есть анонимная эпиграмма на Баркова, несомненно, принадлежащая Сумарокову.

На сочинение трагедии Дураков.

Латынска языка источник и знаток,
Российской грамоты исправный молоток,
С изрядным знанием студент наук словесных,
Составщик сатир злых, писец стихов бесчестных,
Неблагодарный дух, язвительный злодей,
Не могши[й] никогда сего порока стерти,
Предатель истинный и пьяница до смерти
[Вот] кто был сей творец трагедии таков.
Узнал? В ответ скажу: конечно, то Барков.

Повидимому, в заглавии ошибка, должно быть на сочинение трагедии Дурносов и Фарносов, а не Дураков. Одно из наиболее фривольных стихотворений Баркова («Ode ad vulvam») было эвфемизировано В. Г. Рубаном и напечатано под названием «Ода в похвалу любви» в «Старине и новизне» (1772, ч. II, стр. 190—192).

62. Полн. собр. соч., ч. IX, стр. 221.

63. О Петрове, как продолжателе линии Ломоносова, см. Гуковский, Г. А. Из истории русской оды XVIII века. (Опыт истолкования пародии) в сб. «Поэтика, III», стр. 129—147.

64. Впервые серьезно проблема изучения «борьбы с Ломоносовым» была поставлена Г. А. Гуковским в диссертации «Русская поэзия XVIII века», Л., 1927, стр. 14—42; однако, она была разрешена в плане чисто-внешнем, фактическом, в соответствии с тогдашней методологической позицией автора, именно формалистической. По иному освещены те же вопросы Г. А. Гуковским в его печатающейся книге «Дворянская фронда средины XVIII века в литературе».

65. Соч., т. IV, стр. 194 (§ 472).

66. Краткое руководство к красноречию, 1748, стр. 5; Соч., т. III, стр. 87—88 (Вступление, § 10).

67. Впервые был опубликован П. П. Пекарским в «Дополнительных известиях для биографии Ломоносова». СПб., 1865, стр. 90—91; Соч., т. IV, стр. 247—248.

68. Первоначально в качестве предисловия к книге первой Собр. разн соч. Ломоносова, 1757, стр. 3—10; Соч., т. IV, стр 225—232.

69. Латинский оригинал не сохранился; впервые напечатано во французском переводе в Nouvelle Bibliothèque germanique ou Histoire littéraire de l'Allemagne, de la Suisse, et des Pays du Nord. 1755, t. XVI, II partie, pp. 343—366. Воспроизведен французский текст у Куника, цит. соч., ч. II, стр. 519—530. Сокращенный перевод, приготовленный акад. Я. К. Гротом (см. там же, стр. 510), был напечатан в том же куниковском сборнике, стр 515—519. Полностью «Диссертация о должности журналистов» по переводу Грота и с дополнениями, сделанными З. В. Гуковской, напечатана, в «Стихотворениях Ломоносова», под ред. акад. А. С. Орлова. Л., 1935, стр. 293—306.

70. Ежемесячные сочинения, 1755, май, стр. 371—398.

71. Первоначально опубликовано А. С. Будиловичем в книге «Ломоносов как писатель». СПб, 1871, стр. 303—311; Соч., т. V, стр. 139—148; М. И. Сухомлиновым не отмечено первое место публикации «Слова на освещение Академии Художеств».

72. Соч, т. II, стр. 177.

73. Билярский, П. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865 стр. 502.

74. Ежемесячные сочинения, 1755, май, стр. 398.

75. Соч. и перев., ч. I, стр. 182; Трудолюбивая пчела, 1759, январь, стр. 63, или Полн. собр. соч., ч. IX, стр. 248.

76. Полн. собр. соч., ч. I, стр. 348.

77. Литературное наследство, 1933, № 9—10, стр. 294.

78. Собр. соч., 1778, кн. II, стр. 9—10; Соч., т. III, стр. 6.

79 Соч., т. IV, стр. 10—11.

80. Собр. разн. соч., 1757, кн. 1, стр. 3—4; Соч., т. IV, стр. 225—226.

81. Краткое руководство к красноречию, Соч., т. III, стр. 67 (§ 123); стр. § 165 в «Риторике» 1748 г.

82. Риторика, 1748, стр. 6; Соч., т. III, стр. 88—89.

83. Риторика, стр. 7; Соч., т. III, стр. 89 (§ 3).

84. Риторика, стр. 17; Соч., т. III, стр. 97 (§ 23),

85. Риторика, стр. 17; Соч., т. III, стр. 97 (§ 24).

86. Риторика, стр. 17; Соч., т. III, стр. 97 (§ 24).

87. Риторика, стр. 25; Соч., т. III, стр. 104 (§ 32).

88. Риторика, стр. 26; Соч., т. III, стр. 104 (§ 32).

89. Риторика, стр. 7; Соч., т. III, стр. 89 (§ 3).

90. Риторика, стр. 86; Соч., т. III, стр. 153 (§ 94).

91. Риторика, стр. 86—87; Соч, т. III, стр. 153 (§ 95).

92. Риторика, стр. 87; Соч., т. III, стр. 154 (§ 96).

93. Риторика, стр. 169; Соч., т. III, стр. 222 (§ 170).

94. Риторика, стр. 169—170; Соч., т. III, стр. 222 (§ 170).

95. Риторика, стр. 170; Соч., т. III, стр 222 (§ 170).

96. Риторика, стр. 170—171; Соч., т. III, стр. 223 (§ 172); ср. стихотворение; «Искусные певцы всегда в напевах тщатся» и т. д., Соч., т. II, стр. 132.

97. Риторика, стр. 176; Соч., т. III, стр. 227 (§ 180).

98. Риторика, стр. 4; Соч., т. III, стр. 86 (Вступление, § 7).

99. Риторика, стр. 4; Соч., т. III, стр. 86 (Вступление, § 7).

100. Риторика, стр. 1; Соч., т. III, стр. 84 (Вступление, § 2).
101. Ежемесячные сочинения, 1755, май, стр. 374.
102. Там же, стр. 374.
103. Там же, стр. 378.
104. Там же, стр. 382—383
105. Там же, стр. 383.
106. Там же, стр. 383—384.
107. Там же, стр. 384.
108. Там же, стр. 384.
109. Там же, стр. 384—385.
110. Там же, стр. 385.
111. Там же, стр. 385.
112. Там же, стр. 385.
113. Там же, стр. 397.
114. Там же, стр. 398.
115. Там же, стр. 398.

116. Проблема национализма у Ломоносова заслуживает специального изучения. Она несомненно находится в связи с элементами буржуазности в его мировоззрении. Как известно, в национальном движении «буржуазия — главное действующее лицо. Основной вопрос для молодой буржуазии — рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности — такова ее цель. Отсюда ее желание — обеспечить себе «свой», «родной» рынок. Рынок — первая школа, где буржуазия учится национализму». (Сталин, И. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник статей и речей, М., 1934, стр. 11.) С другой стороны, Ленин характеризует новую историю России как процесс складывания национального рынка: «О национальных связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то время [в средние века]: государство распадалось на отдельные земли, частью даже княжества... Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями..., и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было ничем иным, как созданием связей буржуазных» (Ленин. Соч., изд. 2, т. I, стр. 73). Создание национального рынка протекало в условиях политического господства дворянства. Но поскольку процесс создания рынка, т. е. национальных связей, порождал «национальную идею», буржуазную по своей природе, постольку объясним факт возникновения национализма у Ломоносова и других выходцев из буржуазных или примыкающих к буржуазии группировок; с другой стороны, «дворянский» национализм в XVIII в. в России может быть понят, как известное отражение буржуазной идеологии. «Дело обыкновенно не ограничивается рынком. В борьбу вмешивается полуфеодальная-полубуржуазная бюрократия господствующей нации...» (Сталин, там же, стр. 11).

См. мою статью «Анонимная статья М. М. Хераскова» в сб. «XVIII век», издаваемом Институтом русской литературы под ред. акад. А. С. Орлова (печатается).

117. Ср. примеч. 44 к настоящей главе. Кроме того, Покровский, М. Н. Русская история с древнейших времен. Москва, 1933, т. III, стр. 48, прим. 2.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Эпиграмму «Я мужа доброго из давных лет имела» (Соч. Ломоносова, т. II, стр. 287) обычно относят к началу сороковых годов XVIII в. Впрочем, Сухомлинов поместил ее в отдел недатированных. Полагаю, что скорее она относится к более позднему времени, именно к началу пятидесятых. См. стр. 96 настоящей работы.

2. Пекарский, П. П. Ист. АН, т. II, стр. 130.

3. Там же, стр. 131.

4. Там же, стр. 132.

5. Полн. собр. соч., ч. I, стр. 331—332.

6. Там же, стр. 347.

7. Куник. Цит. соч., ч. II, стр. 442; ср. также стр. 441 и 485.

8. Там же, стр. 436.

9. Там же, стр. 437—500.

10. Полн. собр. соч., М., 1781, ч. II, стр. 105—119.

11. Соч. и переводы, ч. I, стр. 190.

12. Там же, стр. 215.

13. См. примеч. 1 к настоящей главе.

14. Новый способ, стр. 37.

15. Письмо Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам. СПб., 1753, стр. 19.

16. Соч. и перев., ч. I, стр. 226.

17. Куник. Назв. соч., ч. I, стр. XLII—XLIV; Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр. 159—160.

18. Первое упоминание об этой «Сатире на Самохвала» в статье А. Н. Афанасьева «Образцы литературной полемики прошлого века» (Библиографические записки, 1859, № 15, стр. 449); напечатана она была Е. А. Бобровым в статье «Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. 1. Сатира И. С. Баркова на Самохвала» (Известия ОРЯС, 1906, т. XI, кн. 4, стр. 318—320 и отд. оттиск, стр. 1—3). Объект «Сатиры» остался Е. А. Боброву неизвестен.

19. Покровский, М. Н. Русская история с древнейших времен. М. 1933, т. III, стр. 5 и сл.

20. Там же, стр. 30.

21. Корсаков, Д. А. Артемий Петрович Волынский и его «конфиденты» (Русская старина, 1885, октябрь, стр. 44 и 46).

22. Там же, стр. 46.

23. Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр. 497—498 и 511—512; Бартенев, П. И. Биография И. И. Шувалова, М., 1857, стр. 21.

24. Грот, Я. К. Очерк академической деятельности Ломоносова, СПб. 1865, стр. 29—30 (или труды Я. К. Грота, СПб., 1901, III. Очерки из истории русской литературы, стр. 14—15). О поэтической деятельности И. И. Шувалова известно очень мало. С большей или меньшей степенью достоверности ему приписывается «Надпись к портрету Ломоносова» («Московской здесь Парнасс изобразил витию...») Впрочем, указание Новикова (Опыт, стр. 249, или Ефремов, Материалы, стр. 121), что «стихи к портрету Ломоносова сочинены г. графом Шуваловым», заставило предположить, что автором был не И. И., а гр. А. П. Шувалов (Кобеко, Д. Ф. Ученик Вольтера, гр. А. П. Шувалов.— Русский архив, 1881, кн. III, стр. 257—258). Повидимому, И. И. Шувалову принадлежит «Епистола к Г***» («Скажи, доволен ли ты частию своею»... См. Ежемесячные сочинения, 1755, апрель, стр. 299—306). Основанием для данного предположения является следующее место в протоколе Конференции Академии Наук от 29 марта 1755 г. «Mullerus produxit epistolam ab ignoto auctore versibus Russicis scriptam et a Consiliario Status Schumachero schedula comitatam, qua nuntiatum est quendam magnae dignitatis Virum misisse epistolam istam in Cancellaria, ut mensi Aprili Observationum menstruarum inseratur». («Миллер прочитал эпистолу, написанную неизвестным автором в русских стихах и сообщенную статск. советн. Шумахером при записке, в которой тот извещал, что эта эпистола была прислана в канцелярию Академии от некоего высокопоставленного лица для помещения в апрельскую книжку Ежемесячных обозрений»). «Протоколы заседаний конф. Академии Наук», СПб., 1899, т. III, стр. 326.

О возможном участии И. И. Шувалова в полемике вокруг «Сатиры на петиметра и кокеток» И. П. Елагина—см. стр. 127—128 настоящей работы.

25. Резанов, В. И. Трагедии Ломоносова.— Ломоносовский сборник, издание Академии Наук. СПб., 1911, стр. 235—238.

26. См. стр. 133—134 настоящей работы.

27. Соч. Ломоносова, под ред. М. И. Сухомлинова, т. II, примечания, стр. 435; о том, что данная афиша и есть елагинская пародия на «Тамиру и Селима», указал В. Н. Соловьев в статье «М. В. Ломоносов, как драматург (Историческая справка)» в журнале «Студия», 1911, № 6, стр. 4.

28. Курганов, Н. Российская универсальная грамматика. СПб., 1769, стр. 324—325; ср. также Титов, А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву, М., 1892, вып. II, стр. 341 (№ 46).

29. Гуковский, Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927, стр. 19 и сл

30. Полн. собр. соч., ч. I, стр. 329.

31. Новое и полное собрание российских песен. М., 1781, ч. VI, стр. 173—175 (№ 177); ср. Титов, А. А. Рукописи И. А. Вахрамеева, вып. II, стр. 340 (№ 28) и 362. Подлинной рукописи № 555 из собрания Вахрамеева отыскать мне не удалось. В Ярославле, где она находилась, ее в настоящее время нет, так как все собрание Вахрамеева передано было в Госуд. Исторический музей (Москва). Однако рукописи № 555 в ГИМ'е, как мне сообщили, нет. (Впрочем, см. «Литературное наследство», 1935, № 19—21, стр. 6—7). Исходя из предположения, что данная песня, как и следующая, принадлежащая Свистунову, могут оказаться

и в других собраниях, я обратился к В. И. Чернышеву, у которого имеется исключительная по точности и полноте картотека русского песенного репертуара. По указазаниям В. И. Чернышева и были отысканы в печатных и рукописных песенниках песни Бекетова и Свистунова, где они были помещены анонимно. Если всмотреться в данную песню Бекетова, заметно, что последние четыре куплета не связаны с первой частью, имеющей рефрен «Сжалься, не мучь меня». Возможно, что это две песни разных авторов. Но также можно думать, что это две песни Бекетова. Не имея данных для окончательного решения вопроса, я предпочел привести песню Бекетова по тексту «Нового и полного собрания российских песен».

32. Гос. Публичн. библиотека им. Салтыкова - Щедрина (Ленинград), рукописн. отделение,—рукопись под шифром O. XIV. № 11, л. 106, № 142, ср. Титов, назв. соч., стр. 340 (№ 27) и 362. Данная песня также производит впечатление составленной из двух.

33. О Теплове и его сборнике романсов см.: Булич, С. К. «Прадедушка» русского романса. — Музыкальный современник, 1916, № 1 (сентябрь), стр. 11—16; Римский-Корсаков, А. Н. Теплов Г. Н. и его музыкальный сборник «Между делом безделье» (Первый русский песенник XVIII в.) в сб. «Музыка и музыкальный быт в старой России», Л., 1927, стр. 30 - 57 Финдейзен, Ник. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М., 1929, вып. VI, стр. 282—287; Юферов, Д. В Музыкальная и нотно-издательская деятельность Академии Наук и ее типографий в XVIII в. (Вестник Академии Наук СССР, 1934, № 4, стр. 41—42); об издании «Между делом безделье» 1776 г. см. также Семенников, В. П. Материалы для истории русской литературы и для словаря русских писателей эпохи Екатерины II. Пгр., 1915, стр. 144. Очень возможно, что первое издание романсов Теплова не носило названия «Между делом безделье», появившегося лишь в 1759 г. Против этого названия и помещения там своих песен протестовал А. П. Сумароков (Трудолюбивая пчела, 1759, ноябрь, стр. 678 и сл.) и перепечатал текст шести песен. Вместе с тем, в объявлении о сборнике Теплова в «СПб. ведомостях» (1759, августе, № 68 и 69) и в «журнале» Академии он назван «Дело между бездельем». Попутно отмечу, что С. К. Булич в указанной выше статье установил принадлежность текста шести песен данного сборника Сумарокову (№№ 10, 11, 12, 13, 15 и 17). Между тем, в «Полном собрании сочинений» Сумарокова есть еще одна песня, напечатанная и у Теплова; это песня «Уж прошел мой век драгой...» (у Теплова № 16, стр. 33—34; у Сумарокова — ч. VIII, стр. 216, № 31). С другой стороны сам Сумароков в «Трудолюбивой пчеле» (см. выше) не перепечатал песни № 10 («К тому ли я тобой, к тому ли я пленилась», стр. 21—22) А. Н. Римский-Корсаков (указ. соч., стр. 36) ошибочно указывает расхождения текстов Теплова и Сумарокова.

34. Nachrichten über die Musik in Russland.—Haigold's Beylagen zum Neuveränderten Russland. Leipzig und Riga, 1771, B. II, SS. 100—101.—Ср. Якоб фон-Штелин. Известия о музыке в России. Пер. с нем. М. Штерн под редакцией, с предисловием и примечаниями Т. Ливановой. (Сб. «Музыкальное наследство», Музгиз. М., 1935, стр. 128 и 182).

35. О количестве песен Сумарокова см. выше прим. 33 к наст. главе.

36. Опыт, стр. 19 (или Ефремов, цит. соч., стр. 15)

37. Опыт, стр. 246 (или Ефремов, цит. соч., стр. 120).

38. См. выше примечание 31 к настоящей главе.

39. Сумарокову принадлежат песни под №№ 2(64), 9(80), 11(66), 14(60), 18(63), 19(115), 25(107), 51(110), 53(54), 59(36), 69(68), 76(108), 77 и 117(77), 83(62), 84(106), 85(47), 86(69), 87(112), 89(124), 90(67), 91(42), 95(43), 97(111), 98(45), 112(101), 132(56). В скобках №№ по VIII части сочинений Сумарокова.

40. Песня № 74 («Чистый источник! Ты цветов прекрасней ..») обычно приписывается имп. Елизавете Петровне. См. Венгеров, С. А. Русская поэзия. СПб., 1897, примечания, стр. 143—144. Хотя С. А. Венгеров полагал, что устанавливаемая преданием принадлежность данной песни Елизавете «едва ли может быть подвергнута сомнению» (цит. соч., стр. 144), однако, тот факт, что в 1755 г., т. е. еще при Елизавете, эта песня была включена в сборник «академических пастушек», «сочиненных через студентов российской академии», показывает что «предание», которое С. А. Венгеров называет «всеобщим», основано на недостаточно прочной базе. Может быть, наоборот, эта песня относилась к Елизавете и принадлежала Бекетову?

41. Российская универсальная грамматика, СПб., 1769, стр. 317—318; по указанию Г. А. Гуковского, эта песня принадлежит М. Попову. Ср. Венгеров. Р. поэзия, Примечания, стр. 334.

42. Буало, Поэтическое искусство. Перевод С. С Нестеровой. СПб 1914, стр. 36.

43. Сумароков, Полное собр. соч, ч. I, стр. 345—346.

44 Там же, стр. 338.

45 Там же, стр. 345.

46. Там же, стр. 339.

47. Там же, стр. 341.

48. Там же, стр. 348.

49. Там же, стр. 348.

50. Там же, стр. 348.

51. Там же, стр. 341.

52. Стихотворение это без имени автора было впервые напечатано в статье А. Н. Афанасьева «Образцы литературной полемики прошлого века» (Библиограф. записки, 1859, № 17, стр. 523—524). О принадлежности этого стихотворения Елагину см. в настоящей работе стр. 116.

53. Сопиков, ч. III, № 3746.

54 Библиограф. зап., 1859, № 15, стр. 449 О библиофиле Актове нет никаких сведений ни у У. Г. Иваска (Частные библиотеки в России), ни в «Историографии» В. С. Иконникова. Беглые замечания о библиотеке Актова см. у Н. П. Барсукова, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. VI, стр. 364 и т. VII, стр. 175, 246, 247.

55. Самые первые сведения об этом сборнике см. в статье А. И. Артемьева «Библиотека императорского Казанского университета. Статья вторая» (Журнал мин. нар. просв., 1851, ч. 72, № 11, отд. III, стр. 16). О предполагаемом владельце (?) или составителе (?) сборника В. И. Полян-

ском — см. Артемьев, А. И. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке императорского Казанского университета. СПб., 1882, стр. V; см. также «Истинное повествование или жизнь Гаврилы Добрынина», СПб., 1872, стр. 216—231.

56. Булич, Н. Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854, стр. 53, примеч.; ср. также стр. 52—54

57. О шевыревской копии см. Петухов, Е. В. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-филологического института кн. Безбородко Киев, 1895, стр. 23; о тихонравовской копии см. Протоколы Отделения Русского языка и словесности (Сборник ОРЯС, 1891, т. 46, протоколы за 1889 г., стр. II); однако, в собрании Н. С. Тихонравова, поступившем во Всесоюзную библиотеку им. Ленина (б. Румянцовская) этой копии нет. См. Отчет Московских публичного и румянцовского музеев за 1912 г. М., 1913

58. Афанасьевская копия находится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина. Шифр ее: 3332 (см. Отчет Московск. публичн. и румянцов. музеев за 1902 г., стр. 31, № 9).

59. Ср. также Артемьев, А. И. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке императорского Казанского университета. СПб., 1882, стр. 193 (№ 131); ср. Гуковский, Г. А. Русская поэзия XVIII века, Л., 1927, стр. 32 и 203—204. Данное стихотворение имеется также в тихонравовском собрании — сб. № 131, л.л. 244 об.—255

60. Библиогр. зап., 1859, № 17, стр. 514.

61. Отчет императорской Публичной библиотеки за 1885 г. СПб., 1888, стр. 66. Майковская копия, по моим наблюдениям, не вполне исправна

62. Казанск. сборник, № 77; ср. также Соч. Ломоносова, под ред. Сухомлинова М. И., т. II, примечания, стр. 411, где оно было опубликовано по рукописному сборнику, принадлежавшему А. Ф. Бычкову, а в настоящее время находящемуся у И. А. Бычкова; в последнем сборнике за ней идет ломоносовская эпиграмма на Шишкина, в качестве продолжения. См. примечание 55 к главе второй, где приведены соображения о датировке.

63. Рулин, П. И. К хронологии и библиографии комедий А. П. Сумарокова. Изв. ОРЯС, 1923, стр. 133—135

64. Сиповский, В. В. Очерки из истории русского романа. СПб., 1909, т. I, вып. I (XVIII век), стр. 204.

65. Болтин, И. Примечания на историю древния и новыя России г. Леклерка. СПб., 1788, т. II, стр. 31.

66. Щербатов, М. М. Сочинения. СПб., 1898, т. II, стр. 204—205

67. Куник, цит. соч. II, стр. 495.

68. Haumant, E. La culture française en Russie, P. 1910, pp. 71—72. Второе издание этой книги осталось мне недоступно.

69. Сумароков, Полн. собр. соч., ч. V, стр. 278.

70. Казанский сборник; Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 451—454; Венгеров, Русская поэзия. СПб., 1897, стр. 721—722.

71. Жоликер — по контексту — парикмахер. Не есть ли это фамилия модного парикмахера?

72. Не есть ли это в свою очередь имя парикмахера, пользовавшегося успехом до появления Жоликера?

73. Поп, Александр (1688—1744) — английский поэт классического направления.

74. Поэма «Отрезанные власы» или «Похищенный локон» (Rape of the Lock) была написана в 1712 г.; сюжетом ей послужил скандал в великосветском кругу Лондона; некий лорд Питр отрезал публично локон волос у своей возлюбленной мисс Арабеллы Фермор, — Белинды Попа; этот поступок послужил поводом к ссоре между обоими семействами Желая примирить враждовавших, Поп написал комическую поэму «Похищенный локон», которая принесла славу автору, но не примирила Ферморов с Питрами. Русский, прозаический перевод этой поэмы, сделанный в 1748 г. с французского, был напечатан в 1761 г.

75. В Казанском сборнике только начальная буква М. Конъектура «Маркизов» делается на основании эпиграммы Сумарокова (59), очевидно, относящейся к П. И. Шувалову:

Хотя, Маркизов, ты и грешен;
Еще, однако, не повешен,
Но болен ты лежа при смерти;
Так видно не палач возьмет тебя, да черти.

(Соч. ч. IX, стр. 125). Следует указать, что в тексте Полн. собр соч. вместо «Маркизов», дано явно испорченное чтение «Марназов».

76. Стих, искаженный в Казанском сборнике и читавшийся:

Которые держат, для бедности списал

был опущен в публикации А. Н. Афанасьева; здесь же он дается с моей конъектурой.

77. В тексте отчетливо написано «Фряска». По предположению А. П. Маленна, должно быть «Фуска» Фуск, однако, известен как друг Горация.

78. Библиогр. записки, 1859, № 15, стр 454—455; ср также Булич, Н. Н., Сумароков и современная ему критика СПб. 1854, стр. 52.

79 Рифма эта была употреблена Ломоносовым в Оде 1747 г. (Царей и царств земных отрада). Соч., т. I, стр. 150.

80 Казанский сборн. № 4 (Епиграмма на сатиру Ел чрез Л.); Библиогр зап, 1859, № 15, стр. 455—456; Венгеров, С. А. Русская поэзия, прилож. к стр 150, стр. 8—9; Соч. Л-ва, т. II, стр. 134 и примеч., стр. 142

81. Круглый, А. О. И. П. Елагин. Спб, 1895, стр. 2 (Оттиск из «Ежегодника императорских театров» сезона 1893—1894 гг.).

82. Сумароков, Полн. собр. соч., ч. IX, стр. 90—91.

83. См стр 14 наст. работы.

84. Записки императрицы Екатерины Второй, изд. А. С. Суворина, Спб, 1907, стр. 311—312.

85 Афросин — дурак (Ἀφροσύνη — неразумие, глупость).

86. Казанск. сборн, № 2; Библиогр. зап, 1859, № 15, стр. 457—458 Венгеров. Русск. поэзия, стр. 723—724.

87. Каз. сб, № 5 (Сатира на Ел.); Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 458; Венгеров, Р. поэзия, стр. 724

88. См. выше примеч. 24 к настоящей главе.

89. Каз. сб., № 49. (На Телелюя Ел. ответ неизвестной; я понимаю «неизвестной», как родит. пад. женского рода, а не как именит. мужск. рода); Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 456; Венгеров, Р. поэз., стр. 723.

90. Каз. сб., № 9 (Стихи на епистол И. П. Е.); Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 460; Венгеров, Р. поэз., стр. 724.

91. Полн. собр. соч., ч. V, стр. 388—390.

92. Каз. сб., № 6 (Епиграмма на Ел. писм. Ф. С.); Библ. зап., 1859, № 15, стр. 459; Венгеров, Р. поэз., стр. 724.

93 Каз. сб. № 8 (ответ на Сук.); Библ. зап., 1859, № 15, стр. 459; Венгеров, Р. поэзия, стр. 724.

94. Грибовский, В. Процесс братьев Пушкиных и вице-президента мануфактур-коллегии Сукина о подделке екатерининских ассигнаций (Из старых сенатских дел). (Вестник всемирной истории, 1899, № 1, стр. 146—155).

95. Каз. сб., № 130; Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 457; Венгеров, Р. поэзия, стр. 723.

96. Булич, Н. Сумароков и совр. ему критика, стр. 54.

97. Билярский, П. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 220—222; ср. Гуковский, Г. А. Русская поэзия XVIII века, Л., 1927, стр. 33 и 203—204

98. Библ. зап., 1859, № 15, стр. 455; Венгеров, Р. поэзия, стр. 723.

99. Пекарский, Ист. АН, т. II, стр. 536—538.

100. Каз. сб., № 5; Библ. зап., 1859, № 15, стр. 459; Венгеров, Р. поэзия, стр. 724.

101. Первое стихотворение (Что бешенство ввелось у нас...) А. Н. Афанасьев отнес к другой полемике Тредиаковского с Ломоносовым и поместил в Библ. зап. 1859, № 17, стр. 513. Сатира поручика Бра... или, как расшифровывает А. И. Артемьев (Описание рукописей Казанского ун-та, стр. 179), Брайко, — не была полностью напечатана. Упоминание и отрывок из нее у Н. Н. Булича цит. соч., стр. 531. Не был ли этот Брайко впоследствии редактором «Санктпетербургского вестника» в 1778—79 гг.?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Мезиер, А. В. Словарный указатель по книговедению, Л., 1924, стр. 242—243.

2. Библиогр. зап., 1859, № 17, стр. 516.

3. Билярский, Материалы, стр. 250.

4. Там же, стр. 277; см. также Пекарский, П. Ист. АН., т. II стр. 560.

5. Ежем. соч., 1755, январь, Предуведомление, стр. 1—12.

6. Там же, стр. 68.

7. Там же, февраль, стр. 139—140; Протоколы заседаний Конференции Академии Наук, СПб., 1899, т. II, стр. 322.

8. Ежемесячные сочинения, 1755, март, стр. 230—231 и 232.

9. Протоколы заседаний Конференции Академии Наук. СПб, 1899, т. II, стр 328. Подлинник по-латыни. в тексте дан перевод.

10. Куник, Сборник, ч. II, стр. 476.

11. Собр. разн. соч., 1757, кн. I, стр. 6; соч. IV, стр. 228.

12. Ломоносов как писатель. СПб., 1871, стр. 139—140.

13. Протоколы, т. II, стр. 328.

14. Ежем. соч., 1755, август, стр. 167—176 («Речь, говоренная в начатии философических лекций при Московском университете гимназии ректором Н. Поповским»).

15. Письмо Горация Флакка. Спб., 1753, стр. 20.

16. Самый диплом хранится в рукоп. отд. Всесоюзной публичной библиотеки им. Ленина. См. Отчет Москевских публичного и румянцевского музеев за 1901 г., стр. 33 (№ 2).

17. Ежем. соч., 1755, июль, стр. 1—14. Принадлежность статьи Теплову устанавливается «Протоколами заседаний Конференции Академии Наук». СПб, ,1899, т. II, стр. 331. Вот перевод соответствующей записи: «Советником Тепловым прислано в Конференцию рассуждение о начале поэзии; постановлено напечатать в Ежемесячных сочинениях».

18. Ежем. соч., 1755, июль, стр. 83—94; август, стр. 177—190; сентябрь, стр. 272—284; октябрь, стр. 354—371; ноябрь, стр. 453—466; декабрь, стр. 541—556.

19. Belustigungen des Verstandes und des Witzes, 1743, B. V (2 Aufl.); SS. 148—157, 210—224, 300—315, 408—426, 497—517. Шестая глава мне была недоступна.

20. Ежем. соч., 1755, июль, стр. 90—91.

21. Там же, стр. 93; декабрь, стр. 549.

22. Там же, стр. 93—94.

23. Там же, сентябрь, стр 279. О Тенеброзусе (декабрь, стр. 545) есть такая вставка: «Всех, на кого он в жизни своей гневался, которые или явно невежество его доказывали, или тем только пред ним преступили, что об нем никогда не думали, называл он безбожниками, и сумазбродно из сочинений их извлекая самовымышленные ереси, вопиял, что вера православная погибает; а когда и то ему не удавалось, и просвещенные люди к блядословию его не приклоняли своего слуха, тогда он, пылая яростным отмщением, гнусными и честь убивающими мстил пасквилями». Повидимому, эта вставка явилась ответом на известный донос Тредиаковского (от 13 октября 1755 г.) по поводу сумароковского перевода 106-го псалма. Ср. Пекарский, П. П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 годов. СПб. 1867, стр. 42—43; ср. также Христианское чтение, 1901, № 7, стр. 114—118.

24. Там же, август, стр 147—148.

25. Собр. разн. соч., 1757, кн. I, стр. 5—6; Соч., т. IV, стр. 227—228.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland. Bd. I, S. 500.

2. Москвитянин, 1854, № 1, отд IV, стр. 3.

3. Библиогр. записка, 1859, № 15, стр. 461—476.
4. Ломоносовский сборник. СПб, 1911, стр. 85—103.
5. Библиогр. зап., 1859, стр. 463.
6. Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр 205—207.
7. Соч. Лом-ва, т. II, Примечания, стр. 158—182 и 191.
8. Сиповский, В. В. История русской словесности, изд. 2, СПб, 1908, стр. 59.
9. Ломоносовский сборник, стр. 85—86.
10. «М. В. Ломоносов», сборник статей под ред. В. В. Сиповского, СПб., 1911, стр. 4—5, 9 (примеч.), 11.
11. Там же, стр. 14, 19.
12. Там же, стр. 20.
13. Соч., т. I, стр. 109—111.
14. Там же, стр. 150.
15. Там же, стр. 218—219.
16. Там же, т. II, стр. 255.
17. Там же, стр. 199—100.
18. Там же, стр. 143.
19. Там же, Примечания, стр. 191.
20. Там же, т. II, стр. 281.
21. Собрание разных поучительных слов, СПб., 1759, т. IV, стр. 79 и 81.
22. Соч., т. V, стр. 123.
23. Там же, стр. 121.
24. Там же, стр. 122.
25. Летописи русской литературы и древностей, издаваемые Н. С. Тихонравовым, М., 1859, т. I, отд. III, стр. 197—198.
26. Пекарский, П. Дополнительные известия для биографии, СПб. 1865, стр. 92. Ср. стр. 237—238 наст. книги.
27. Собр. разных поучительных слов, СПб., 1755, т. I, стр 105; 1756, т. II, стр. 3.
28. Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр. 671.
29. «М. В. Ломоносов», сборник статей под ред. В. В. Сиповского, СПб., 1911, стр. 22.
30. В виду отсутствия подлинной рукописи Ломоносова, текст дан в сводной редакции по публикациям А. Н. Афанасьева (Библ. зап., 1859, № 15, стр. 461—463), М. И. Сухомлинова (Соч Л-ва, т. II, стр. 137—140), А. С. Пушкина («Рукою Пушкина», неопубликованные и несобранные тексты, сост. М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский и Т. Г. Зенгер, Academia, 1935, стр. 561—564), по копиям Казанского сб., по сборн. Л. Б. Модзалевского и по рукоп. сборн. ИКДП «Сочинения Баркова» (стр. 95—98).
31. Соч. Л-ва, т. II, примечания, стр. 160.
32. О Сильвестре Кулябке см. Русский биографич. словарь («Сабанеев—Смыслов»), СПб., 1904, стр. 445; Модзалевский, В. Л. Малороссийский родословник. Киев, 1910, т. II, стр. 612. Ср. также Аскоченский, В. И., «Киев с его древнейшим училищем Академиею», Киев, 1856, ч II, стр. 63—64; Филарет, Обзор духовной лит-ры, изд. 3. СПб, 1884, стр. 329—331. Ср. также ниже примеч. 56.

33. Словарь писателей духовного чина, изд. 2, М., 1827, ч. II, стр. 206–207.

34. В печати известны только его проповеди сороковых годов XVIII в., Другие в рукописях были в Александро-Невской Лавре.

35. Доклад синода Елизавете был напечатан дважды: В. И. Ламанским в «Чтениях в императорском Обществе истории и древностей российских», 1865, кн. I, Отд. V, стр. 59–61 («Ломоносов и Петербургская Академия Наук». 3. Доклад синода государыне на Ломоносова) и М. И. Сухомлиновым в примечаниях во II т. сочинений Ломоносова (стр. 165—167) Текст в настоящей работе дан по публикации Сухомлинова; в квадратных скобках дополнения по публикации Ламанского.

36. Библиогр. зап., 1859, № 15, стр 471, прим. 3; Соч. Л-ва, т. II, стр. 141.

37. Соч. Пушкина, ГИХЛ, Л, 1933, т. 5, под ред Ю. Г. Оксмана. стр. 597.

38. Соч. Л-ва, т. II, примечания, стр. 165.

39. О Дмитрии Сеченове — см. Русский биографич. словарь («Дабелов—Дядьковский»), СПб, 1905, стр. 394—395.

40. Соч Л-ва, т. II, приложения, стр. 167.

41. Пантеон российских авторов, издание Платона Бекетова, М., 1801, ч. I [табл. 41]. Ср. также «Портреты именитых мужей российской церкви», М, 1843, табл 17.

42. Там же, [табл. 33].

43. Строев, П. Списки российских иерархов. М, 1877, стр. 37.

44. Ломоносовский сборник, стр. 89—99.

45. Там же, стр. 90—96; текст воспроизведен без сохранения орфографии, явно не принадлежавшей автору письма.

46. Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 468—470; см. выше примеч. 30.

47. Ломоносовский сборник, стр. 103.

48. Билярский, П. Материалы для биографии Ломоносова, СПб., 1865, стр. 324; Пекарский, П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 гг, СПб., 1867, стр. 10.

49. Ломоносовск. сб, стр. 96—97; см. выше прим 45.

50. Там же, стр 98—99.

51. Соч. Л-ва, т. II, примеч, стр. 173.

52. Ломон. сборн, стр. 99.

53. Там же, стр. 99.

54. Там же, стр. 100—101.

55. Там же, стр. 89.

56. Архангельский, Мих. Член свят. правит. синода, пр. Сильвестр Кулябка (Странник, 1875, № 1, стр. 4).

57. «Рукою Пушкина», стр. 564—567.

58. Москвитянин, 1854. № 1—2, стр. 3; Соч. Л-ва, т. II, стр. 142.

59. Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 474—476; Соч. Л-ва, т. II, стр. 179—182; «Рукою Пушкина», стр. 570—573. Г. А. Гуковский любезно указал мне возможный—в строфическом плане—прототип данного стихотворения Ломоносова. Это Studenten-Lied И. Х. Гюнтера. Вот первая строфа этой студенческой песни, несомненно известной Ломоносову по Германии:

Müdes Hertz,
Laß den Schmertz!
Mit dem Athem fahren!
Lebst du doch
Jetzo noch
In den besten Jahren.
Thoren dencken vor der Zeit
An die Nacht der Eitelkeit;
Gnug! wenn uns das Alter zwingt,
Und den Kummer mit sich bringt.

(Sammlung von J. Ch. Günthers bis anhero herausgegebenen Gedichten Fünfte Auflage, Breslau und Leipzig, 1751, SS. 930—932).

Четвертая строфа стихотворения Гюнтера связана и в смысловом отношении с ломоносовским:

Glaube nur,
Epikur
Macht die klügsten Weisen!
Die Vernunft
Seiner Zunft
Sprengt die Folter-Eisen,
Die der Aberglaube stählt,
Wenn er schlechte Seelen quält,
Und des Pöbels blöden Geist
In die Nacht des Irrthums rreisst.

Ср. с последним стихом—у Ломоносова

День наук затмит как ночь.

60 Соч., т. II, стр. 91.

61. Собр. разн. соч., 1751, кн. I, стр. 158; Соч. Л-ва, т. I, стр. 12.

62. Библиогр., зап., 1859, № 17, стр. 514—515.

63. Артемьев, Описание рукописей Казанского ун-та, стр. 184.

64. Библиогр. зап., 1859, № 17, стр. 515.

65. Артемьев, назв. соч., стр. 184—185 (№№ 27—28).

66. «Рукою Пушкина», стр. 567—570.

67. Назв. сборн., стр. 22—23; такое же название имеет данное стихотворение в рукописном сборнике ИКДП «Сочинения Баркова», стр. 103—106.

68 Библиогр. записки, 1859, № 15, стр. 471—473.

69. См. выше примеч. 42.

70. Собр. разн. поучит. слов, т. III, стр. 246—247, в подлиннике проповедь не датирована; но так как в III т. вошли слова Гедеона, произнесенные в 1757—1758 г. (предшествующий вышел в 1756 г.), то оно может быть ориентировочно датировано 29 июня 1757 г.

71. Казанский сборник, № 13 (Артемьев, стр. 180); Библиогр. записки, 1859, № 15, стр. 470—471; Пекарский, И. Ист. АН, т. II, стр. 205—206; Сборник Л. Б. Модзалевского, лл. 85 об.—86.

72. В публикации А. Н. Афанасьева (Библиогр. зап., 1859, № 15, стр. 471) последние шесть стихов не приведены.

73. Полн. собр. соч., ч. IX, стр. 133—134. Кстати, отмечу, что эпиграмма 23 («Я грош на грош постановляю») представляет переделку четвертой строфы Оды Сумарокова о «О величестве божием» («Я свет на свет постановляю», Соч., т. I, стр. 222) Это обстоятельство набрасывает некоторое подозрение на принадлежность Сумарокову эпиграммы 236.

74. См. примеч 71.

75. Трудолюбивая пчела. 1759; Полн. собр. соч., ч. VII, стр. 319.

76. Русск. ист., т. II, стр. 42.

77. Полн. собр. соч., ч. VIII, стр. 308.

78. Пыпин, А. Н. Русское масонство, II. 1916, стр. 92.

79. Пекарский, П. Ист. АН, т. I, стр. 565; Соч. Л-ва, т. II, примеч., стр. 190.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Архив кн. Воронцова, М., 1870, т. I, стр. 589—591; ср. также стр. 585—588.

2. Сборник Русского историч. Об-ва, т. 105, стр. 122, 189—192, 231, 236.

3. В «Материалах» Билярского приведена справка (стр. 322—323) о том, что Ломоносов протестовал против помещения в «Ежемесячных сочинениях» 1757 г. недошедшей до нас сумароковской эпиграммы «Ты туфли обругал...» Трудно судить, была ли она направлена против Ломоносова. У него нет ни одного стихотворения, к которому могли бы относиться слова «Ты туфли обругал».

4. Ист. АН, т. II, стр. 656.

5. Труд. пч., 1759, июнь, стр. 368; Полн. собр. соч, ч. IV, стр. 347—348.

6. Труд. пч., 1759, июнь, стр. 359—360.

7. Каз. сб., № 23 (Артемьев, стр. 184); Соч. Л-ва, т. II, стр. 158.

8. Билярский, Материалы, стр. 389—390. В публикации Билярского фамилии не раскрыты, даны только начальные буквы.

9. Труд. пч., 1759, январь, стр. 63.

10. Там же, апрель, стр. 239—240.

11. Там же, май, стр. 303—305.

12. Там же, июнь, стр. 373—375; июль, стр. 416; август, стр. 482; октябрь, стр. 635—637.

13. Там же, декабрь, стр. 764.

14. Там же, стр. 763.

15. Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр. 653.

16. Гуковский, Г. А. Из истории русской оды (Опыт истолкования пародии).—(Поэтика, III, стр. 131 и след.).

17. Полн. собр. соч., ч. II, стр. 205

18. Соч. Л-ва, т. I, стр. 111.

19 Там же, стр. 124.

20 Полн. собр. соч. ч. II, стр. 209.

21. Соч. Л-ва, т. I, стр. 181.

22. Труд. пч., 1759, октябрь, стр. 635—637.

23. Там же, август, стр. 483.

24. Казан. сб., № 47 (Артемьев, стр. 189).

25. Там же, № 45 (Артемьев, стр. 188); последняя эпиграмма в сб. Л. Б. Модзалевского помещена дважды, причем раз (л. 87) приписана Баркову, что едва ли верно; см. об этом стр. 259—260 наст. работы.

26. L'Année Littéraire, 1760, t. V.

27. Кобеко, Д. Ф. Ученик Вольтера, гр. А. П. Шувалов (Русский архив, 1881, т. III, стр. 245); Сербов, Н. Строгановы. СПб., 1908, стр. 44.

28. Батюшков, К. Н. Соч., 1885, т. II, стр. 178. Впрочем, в мемуарах П. В. Долгорукова сообщается, будто стихи Шувалова писаны были не им, а каким-то бедным французским поэтом, продававшим русскому вельможе свои произведения. («Петербургские очерки», 1935, стр. 187).

29. Discours sur le progrès des beaux arts en Russie, 1760, p. 4.

30. Там же, стр. 13—14.

31. Там же, стр. 20—21. О редакционных изменениях текста этих страниц, см. стр. 260 настоящей работы.

32. Трудолюб. пч., 1749, май, стр. 311; Полн. собр. соч., ч. IX, стр. 118.

33. Архив АН. Шифр: Архив Конференции АН, кн. 253 (л. 130, № 204).

34. Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр. 685—687; у Билярского (Матер. стр. 431—433) текст неисправен; ошибочны также приводимые им данные об авторстве А. С. Строганова.

35. Пекарский, там же, стр. 686; ср. Летописи русской лит-ры и древностей, т. II, Отд. III, стр. 105—106.

36. ГАФКЭ (Шифр: Портф. Миллера, № 409, № 3); ср. Голицын, Н. В. Портфели Г. Ф. Миллера. М., 1899, стр. 112.

37. Голицын, назв. соч., стр. 112—113.

38. Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр. 687.

39. Там же, т. I. стр. 569—572.

40. Попова, М. Н. Теодор Генрих Чуди и основанный им в 1755 г. журнал «Le Caméléon Littéraire». (Изв. АН по ОГН, 1929, № 1, стр. 17—48).

41. Руссо, Ж.-Б. (1670—1741) — французский лирик, считавшийся в XVIII и нач. XIX в. звездой первой величины.

42. L'Année, Littéraire, 1760, t. V, подробнее о «Письме» А. П. Шувалова см. в моей статье «Письмо молодого русского вельможи» в сб. «XVIII век», издаваемом ИРЛИ под ред. акад. А. С. Орлова (печатается). Текст Ломоносова в переводе восстановлен.

43. Библиогр. зап., 1858, № 15, стр. 453.

44. Трудолюб. пч., 1759, декабрь, стр. 768.

45. Праздное время, 1760, лист от 4 марта, стр. 146—148.

46. Пекарский П. Ист. АН, т. II, стр. 715

47. Он же. Пародия-памфлет на притчу Сумарокова (Библиогр. зап., 1858, № 16, стр. 485—488); ср. также соч. Л-ва, т. II, стр. 174—176.

48. Соч. Л-ва, т. II, Примеч., стр. 264—265.

49. Петр Великий. СПб., 1760, стр. 2 нен; Соч. Л-ва, т. II, стр. 183.

50. Полн. собр. соч., ч. IX, стр. 139.

51. Свободные часы, 1763, апрель, стр. 244; Полн. собр. соч., ч. IX. стр. 169—170.

52. Ломоносов просил о повышении его чином и о назначении вице президентом Академии Наук.

53 Пекарский, П. Ист. АН, т. II, стр. 718—719.

54. Полезное увеселение. 1760, январь, стр. 17—28.

55. Гуковский, Г. А. Русская поэзия XVIII века, стр. 41; сравн., впрочем, его же статью «К вопросу о русском классицизме. Состязания, и переводы». (Поэтика, IV, стр. 129—130.)

56. Полезное увеселение, 1760, декабрь, стр. 196.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Гуковский, Г. А. Русская поэзия XVIII века, стр. 42.

2. Голеневский, И. Дар обществу. СПб., 1779, стр. 37—38.

3. Собр. сочинений с переводами. СПб., 1777, стр. 20.

4. Надгробная песнь в бозе вечно почившему ученому российскому мужу Михайле Васильевичу Ломоносову. От усерднейшего имени его почитателя Луки Сичкарева. 1765 году апреля 15 дня. В Санктпетербурге (s. a.), 4, 6 нен. стр.

5. Там же, стр. 1 ненум—6 ненум.

6. Трутень, 1769, сентября 8, лист XX, стр. 160.

7. Новиков, Н. И. Опыт, стр. 123—126 (или Ефремов, Материалы, стр. 63—65); ср. Голеневский, Дар обществу, стр. 37. Латинский текст был приготовлен Штелином (Куник, цит. соч., ч. II, стр. 404).

8. Куник, цит. соч., ч. I, стр. 203—223; были отд. оттиски, без изменения пагинации.

9. Перевод сделан был Т. Г. Чуди; см. указанную в прим. 40 к шестой главе работу Поповой, стр. 40. П. П. Пекарский (Ист. АН, т. II, стр. 579, примеч.) приводит отзыв Ломоносова об этом переводе: «mais traduit fort mal et contre les protestations de l'auteur».

10. Куник, цит. соч., ч. I, стр. 203—205.

11. Там же, стр. 208.

12. Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften, 1768, Bd. VII, I, St., SS. 191—192; Ефремов, Материалы, стр. 132—133 и 148.

13. Куник, цит. соч., стр. 216

14. Ничего о нем не упоминает и М. П. Алексеев в брошюре «Voltaire et Schouvaloff. Fragments inédits d'une correspondance franco-russe au XVIII s.». Odessa, 1928.

15. Москвитянин, 1853, февраль № 3, отд. IV, стр. 21; Тихонравов, Н. С. Сочинения. М., 1898, т. III, ч. 2, стр. 27.

16. Библиогр. зап., 1858, № 15, стр. 453.

17. Русская беседа, 1860, II, кн. XX, Науки, стр. 246.

18. Куник, цит. соч., ч. II, стр. 403—404; Москвитянин, № 1, отд. III, стр. 13.

19. Елагин, И. П. Опыт повествования о России, М., 1803, кн. стр. XXVII—XXX.

20. Энгельс Ф. Предисловие к третьему немецкому изданию «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта»—в брошюре Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», изд. 3, М., 1932, стр. 7.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ[1]

Курсивом набраны имена героев литературных произведений, упомянутые в тексте.

---

[1] Составлен С. М. Берковой.

Цена 11 руб.